



СЕРИЯ

700

Основана в 1993 году



«ФІТА»

Київ 1995

Patrick
Süskind

Das Parfum

Die Taube

Der Kontrabaß

Die Geschichte

von Herrn Sommer



ИЗБРАННОЕ

Патрик
ЗЮСКИНД

Перевод с немецкого

Аромат
Голубь
Контрабас
История господина
Зоммера

Ψ

ББК 84.4Г
З 98

Перевод *О. Дрождина, Н. Кушнира*

Художественное оформление
В. А. Сердюкова, Н. Н. Вакуленко, О. В. Гашенко

Восхитительно, достойно изумления – именно так можно оценить произведения известного немецкого прозаика и драматурга Патрика Зюскинда. Особый интерес представляет остросюжетный романтический детектив «Аромат». Лежащая в основе замысла метафора запаха как универсальной подсознательной, всеохватной связи между людьми позволяет предположить бесконечное количество интерпретаций.

Повести «Голубь», «Контрабас», «История господина Зоммера» наполнены тонким психологизмом, юмором и отражают своеобразный взгляд писателя на окружающую действительность.

З $\frac{4703010100}{95}$ Без оголош.

ISBN 5-7101-0073-0

© Художне оформлення. В.О.Сердюков,
М.М.Вакуленко, О.В.Гашенко, 1995

© Назва серії. Марка серії. Оформлення
серії. М.М.Вакуленко, О.В.Гашенко, 1993

The image is a black and white artistic illustration. The top portion shows a sky with dark, horizontal, brush-stroke-like clouds. Below the sky is a jagged, irregular line that separates the sky from the landscape below. The landscape features a path or road that recedes into the distance, flanked by trees and foliage. In the foreground, a large, rounded, textured rock formation or mound is prominent, with a bright, white, rectangular area on its side. The overall style is expressive and somewhat abstract, with heavy use of black ink and white space.

Аромат

История одного убийцы



часть первая

1

В восемнадцатом веке во Франции жил человек, которого можно отнести к самым гениальным и самым ужасным фигурам этой далеко не бедной на гениальные и ужасные фигуры эпохи. Его историю я и хочу здесь рассказать. Звали его Жан-Батист Гренуй, и если имя его, в отличие от имен других гениальных извергов, как де Сад, Сен-Жюст, Фуше, Бонапарт и так далее, было предано забвению, то уж наверняка не потому, что Гренуй уступал этим величайшим героям тьмы в высокомерии, презрении к людям, аморальности, даже в безбожии, а потому, что его тщеславие ограничивалось одной единственной областью, которая не оставляет в истории никаких следов: эфемерным миром запахов.

В то время, о котором мы ведем речь, в городах господствовала едва представляемая для современного человека вонь. Улицы провонялись дерьмом, задние дворы воняли мочой, лестничные клетки воняли гниющим деревом и крысиным пометом, кухни — порченым углем и бараньим жиром; непроветриваемые комнаты воняли затхлой пылью, спальни — жирными простынями, сырыми пружинными матрасами и едким сладковатым запахом ночных горшков. Из каминов воняло серой, из кожевенных мастерских воняло едкой щелочью, из боен воняла свернувшаяся кровь. Люди воняли потом и нестиранной

ПАТРИК ЗЮСКИНД

одеждой; изо рта воняло гнилыми зубами, из их животов — луковым соком, а от тел, если они уже не были достаточно молоды, — старым сыром, и кислым молоком, и онкологическими болезнями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворах. Крестьянин вонял, как и священник, ученик ремесленника — как жена мастера, воняло все дворянство, и даже король вонял, он вонял, как дикое животное, — королева, как старая коза, и летом, и зимой. Ибо не был еще в восемнадцатом веке поставлен заслон вредной активности бактерий, и посему не существовало ни единого вида человеческой деятельности, ни созидательной, ни разрушительной, ни единого выражения зарождающейся или гнивающей жизни, которую бы постоянно не сопровождала вонь.

И конечно же в Париже вонь была самой сильной, ибо Париж был крупнейшим городом Франции. И в самом Париже опять-таки было одно место, в котором вонь господствовала с особой inferнальностью, между улицами О-Фер и Ферронри, а именно Кладбище Невинных. На протяжении восьмисот лет сюда свозили покойников из больницы Отель-Дье и окрестных приходов, на протяжении восьмисот лет, изо дня в день, сюда привозили десятки трупов и сбрасывали в длинные ямы, на протяжении восьмисот лет в могилах и хранилищах для костей они рядами ложились, косточка к косточке. И лишь позднее, накануне Французской революции, после того, как некоторые ямы, полные трупов, опасно провалились и вонь переполненного кладбища вынуждала жителей не просто к протестам, а к восстаниям, оно наконец было закрыто и заброшено, миллионы костей и черепов сгребли в катакомбы Монмартра, а на его месте был сооружен рынок съестных товаров.

И вот здесь, в самом вонючем месте всего королевства, 17 июля 1738 года родился Жан-Батист Гренуй. Тот

день выдался одним из самых жарких в году. Жара, словно свинец, висела над кладбищем, вытесняя источающие смесь ароматов гниющих арбузов и жженных костей тленные испарения в прилегающие переулки. Когда начались схватки, мать Гренуя стояла возле рыбной лавки на улице О-Фер и чистила уклеек, которых предварительно выпотрошила. Рыба, якобы выловленная из Сены лишь утром, воняла уже так сильно, что ее запах забивал трупный запах. Но мать Гренуя не воспринимала ни рыбный, ни трупный запах, потому что обоняние ее по отношению ко всяким запахам в высшей мере притупилось; к тому же у нее болела утроба, и эта боль убивала всю восприимчивость ко внешним раздражителям. Она желала лишь того, чтобы боль эта утихла, она хотела, чтобы эти неприятные роды закончились как можно скорее. Для нее они были уже пятыми. Все предыдущие прошли у нее здесь же, возле рыбной лавки, и все они закончились мертворожденными или полумертворожденными, ибо кровавое мясо, выходящее из нее при этом, не многим отличалось от рыбных потрохов, лежавших тут же и тоже уже более не живых, которые вечером все вместе сгребались и вывозились на кладбище или вниз, к реке. Так должно было случиться и в этот день, и мать Гренуя, которая была еще молодой женщиной, двадцати пяти лет, которая выглядела еще очень мило и у которой во рту были еще почти все зубы, а на голове еще почти все волосы, и кроме подагры, сифилиса и легкой чахотки ничем серьезным не болела, которая надеялась еще жить долго, быть может пять, а может и десять лет, а может быть даже еще и выйти замуж, и действительно родить детей, будучи достойной уважения супругой какого-нибудь овдовевшего ремесленника или так... Мать Гренуя желала, чтобы все поскорее закончилось. И когда начались схватки, она присела под своим разделочным столом и родила там, как делала до этого уже четыре раза, и ножом, которым разделывала

рыбу, обрезала пуповину новорожденному существу. Но затем из-за жары и вони, которую она не воспринимала как таковую, а лишь как что-то невыносимое и дурманящее — как поле, полное лилий, или как тесную комнату, в которой стоит слишком много нарциссов, она потеряла сознание, опрокинулась на бок, выкатилась из-под стола прямо на улицу и так и осталась лежать, с ножом в руках.

Крики, топот, стоящая плотным кольцом орущая толпа, зовут полицию. Женщина с ножом в руке все еще лежит на улице, медленно приходя в себя.

Что с вами случилось?

— Ничего.

Что вы делали с ножом?

— Ничего.

Откуда на вашей одежде кровь?

— От рыбы.

Она встает, бросает нож в сторону и уходит, чтобы помыться.

И тут вопреки ожиданиям плод под разделочным столом принялся кричать. Кто-то туда заглянул, обнаружил среди роя мух, среди потрохов и отрезанных рыбных голов новорожденного, вытащил его наружу. По указанию властей его передали кормилице, а мать арестовали. И потому что она полностью созналась и безоговорочно призналась, что она наверняка оставила бы существо подыхать, как она это уже, кстати, сделала с четырьмя предыдущими, ее судили, осудили в связи с многократным убийством детей и через несколько недель на Гревской площади отрубили ей голову.

К этому времени у ребенка сменилась уже третья кормилица. Ни одна не хотела оставлять его больше, чем на несколько дней. Он слишком жадный, говорили они, сосет молоко за двоих, отнимает у других вскармливаемых детей молоко и этим самым у них, кормилиц, средства к

существованию, ибо выгодное вскармливание при одном единственном ребенке невозможно. Ответственному за это офицеру полиции, некоему Лафоссу, это вскоре надоело, и он уже собирался приказать отнести ребенка в приемник для подкидышей и сирот на улице Сент-Антуан, откуда ежедневно детей отправляли в государственный детский приют в Руан. Но поскольку транспортировка эта осуществлялась при помощи плетеных корзин, в которые из соображений рационализации засовывали одновременно по четыре младенца, поскольку поэтому процент смертности при транспортировке был чрезвычайно высок, и по этой причине перевозка в корзинах была прекращена, было предписано перевозить только крещеных младенцев и лишь таких, у которых имелись надлежащие сопроводительные документы, которые должны были быть отмечены в Руане; но поскольку ребенок Гренуй не был крещен, вообще не имел какого-либо имени, которое надлежащим образом могло быть внесено в сопроводительные документы, поскольку со стороны полиции было недопустимым анонимно подбросить ребенка под дверь приюта, что само по себе сократило бы выполнение всех остальных формальностей... то есть принимая во внимание целый ряд трудностей бюрократического и технического характера, которые казалось, возникнут при отправке маленького ребенка, а к тому же еще давило и время, полицейский офицер Лафосс изменил свое первоначальное решение и распорядился сдать мальчика под расписку в какое-нибудь церковное заведение, чтобы его там окрестили и позаботились о его дальнейшей судьбе. Его сдали в монастырь Сен-Мерри на улице Сен-Мартен. Он получил крещение и имя Жан-Батист. И потому, что у настоятеля в этот день было хорошее настроение и что его милосердный фонд еще не был исчерпан, ребенка не отправили в

Руан, а оставили воспитываться за счет монастыря. Его передали кормилице по имени Жанна Бюсси на улице Сен-Дени, которая получала за свое усердие по три франка в неделю.

2

Через несколько недель кормилица Жанна Бюсси, держа в руках корзину, стояла у ворот монастыря Сен-Мерри. Открывшему ей отцу Террье, лысому, слегка пахнущему уксусом монаху лет пятидесяти она сказала:

— Вот! — и поставила корзину на порог.

— Что это? — спросил Террье, склонился над корзиной и обнюхал ее, ибо он подумал, что в ней лежит что-то съестное.

— Выродок детоубийцы с улицы О-Фер!

Отец запустил пальцы в корзину, порылся в ней, пока там не показалось лицо спящего младенца.

— Он хорошо выглядит. Розовый и накормленный.

— Потому что он у меня отожрался. Потому что он высосал из меня все до самых костей. Но теперь хватит. Теперь вы сами можете продолжать его кормить козьим молоком, кашей, свекольным соком. Он жрет все, этот ублюдок.

Отец Террье был добродушным человеком. В его обязанности входило управление монастырским милосердным фондом, раздача денег бедным и нуждающимся. И он надеялся, что ему за это скажут спасибо и больше ничем нагружать не будут. Технические подробности были ему весьма неприятны, ибо подробности всегда означали трудности, а трудности означали нарушение его душевного покоя, чего он не выносил совершенно. Он рассердился на себя, что он вообще открыл ворота. Он хотел лишь того, чтобы эта личность взяла свою корзину и отправил-

лась домой, и оставила его в покое со своими младенческими проблемами. Он медленно выпрямился и втянул носом запах молока и кисловатой овечьей шерсти, исходивший от кормилицы. Это был приятный запах.

— Я не понимаю, чего ты хочешь. Я действительно не понимаю, к чему ты клонишь. Единственное, что мне кажется, так это то, что этому младенцу совершенно не повредит, если он еще какое-то время не лишится твоей груди.

— Ему нет, — проворчала кормилица в ответ, — а мне да. Я похудела на десять фунтов, а он при этом ел за троих. И за что? За три франка в неделю!

— А, я понимаю, — почти с облегчением произнес Террье, — я в курсе дела. Значит, речь идет снова о деньгах.

— Нет! — сказала кормилица.

— Как же! Речь всегда идет о деньгах. Когда кто-то стучит в эти ворота — речь идет о деньгах. Когда-то я мечтал о том, чтобы я однажды открыл, а там стоял человек, которому нужно было бы что-нибудь другое. Кто-нибудь, кто бы принес, например, небольшой знак внимания. Например, немного фруктов или несколько орехов. Ведь осенью есть масса вещей, которые можно было бы принести. Может быть цветы. Или даже пусть кто-то просто пришел бы и сказал: Да не забудет вас Бог, отец Террье, я желаю вам доброго дня! Но я, наверное, никогда такого не увижу. Если это не попрошайка, то это торговец, а если это не торговец, то это ремесленник, и если он не хочет получить подавание, то он приносит счет. Я уже просто не могу выйти на улицу. Если я выхожу на улицу, то уже через три шага меня кольцом окружают индивидуумы, которые хотят получить деньги!

— Не я, — сказала кормилица.

— Но я могу сказать тебе только одно: ты не единственная кормилица в епархии. Есть сотни первоклас-

сных приемных матерей, которые будут рваться, чтобы приложить к груди этого восхитительного младенца за три франка в неделю или вливать ему в рот кашу, или соки, или другую пищу...

— Тогда отдайте его одной из них!

—...С другой же стороны — нехорошо передавать ребенка из рук в руки. Кто знает, будет ли он на другом молоке так же хорошо развиваться, как на твоём. Он привык к запаху твоей груди, да будет тебе это известно, и к биению твоего сердца.

И он снова втянул носом воздух от теплого испарения, исходившего от кормилицы, и, заметив, что слова его не произвели на нее никакого впечатления, сказал:

— Теперь заведи ребенка домой! Я обговорю этот вопрос с настоятелем. Я предложу ему платить тебе в будущем четыре франка в неделю.

— Нет,— сказала кормилица.

— Ну хорошо, пять!

— Нет.

— Сколько же ты тогда хочешь? — крикнул ей Террье. — Пять франков — это целая куча денег за несложную задачу кормить маленького ребенка!

— Я вообще не хочу денег,— сказала кормилица.— Я хочу избавиться от этого ублюдка.

— Но почему же, милостивая госпожа? — спросил Террье и снова запустил пальцы в корзину.— Ведь это же милейший ребенок. У него розовая кожа, он не кричит, он хорошо спит, и он крещеный.

— Он одержим дьяволом.

Террье поспешно забрал руку из корзины.

— Невозможно! Совершенно невозможно, чтобы младенец был одержим дьяволом. Младенец — еще не человек, а получеловек и еще не имеет полностью развитой души. Следовательно, для дьявола он не интересен. Мо-

жет он уже умеет говорить? Он вздрагивает? Он двигает предметы в доме? Он источает тошнотворный запах?

— Он вообще не пахнет,— сказала кормилица.

— Вот видишь! Это однозначный признак. Если бы он был одержим дьяволом, он должен был бы вонять.

И чтобы успокоить кормилицу и проявить свое мужество, Террье поднял корзину и поднес ее к своему носу.

— Я не чувствую ничего странного,— сказал он после того, как некоторое время повтягивал в себя воздух.— Действительно, ничего странного. Правда, мне кажется, что чем-то пахнет из пеленок.— И в доказательство своих подозрений он протянул ей корзину.

— Я не это имела в виду,— грубо сказала кормилица и оттолкнула корзину от себя.— Я не имею в виду то, что находится в пеленках. Его экскременты конечно же пахнут. Но сам он, сам выродок, не пахнет.

— Потому что он здоров,— крикнул Террье,— потому что он здоров и поэтому не пахнет! Пахнут только больные дети, ведь это же известно всем. Известно, что ребенок, у которого оспа, пахнет лошадиными удобрениями, а тот, у которого скарлатина, старыми яблоками, а чахоточный ребенок, тот пахнет луком. Он здоров, и только запаха ему не хватает. Почему же он должен вонять? А твои собственные дети воняют?

— Нет,— сказала кормилица.— Мои дети пахнут так, как и должны пахнуть человеческие дети.

Террье осторожно поставил корзину обратно на землю, потому что почувствовал, как в нем поднимается волна ярости, вызванная строптивостью этой персоны. Нельзя было исключить того, что в дальнейшей дискуссии ему понадобятся обе руки для свободной жестикуляции, и он не хотел, чтобы младенец от этого пострадал. Затем он заложил руки за спину, выставил перед кормилицей свой острый живот и резко спросил:

ПАТРИК ЗЮСКИНД

— Так значит, ты утверждаешь, что тебе известно, как должен пахнуть человеческий ребенок, который в то же время — я хочу напомнить это, поскольку он уже окрещен — является Божьим ребенком?

— Да,— сказала кормилица.

— И ты продолжаешь утверждать, что, если он не пахнет так, как ты полагаешь он должен пахнуть,— ты, кормилица Жанна Бюсси с улицы Сен-Дени! — то тогда он является дитем дьявола?

Его левая рука выскользнула из-за спины и угрожающе поднялась с согнутым, словно вопросительный знак, указательным пальцем к ее лицу. Кормилица задумалась. Ей не нравилось, что разговор как-то перешел в теологический допрос, в котором она могла лишь уступить.

— Этого я сказать не хотела,— стараясь выкрутиться сказала она.— Связано это дело с дьяволом или нет, это должны решать вы сами, отец Террье, это не моего ума дело. Я знаю лишь одно: что этот младенец меня пугает, ибо он не пахнет так, как должны пахнуть дети.

— Ага,— удовлетворенно произнес Террье, и рука его снова опустилась вниз за спину.— Отставим дьявола в сторону. Хорошо. Но скажи мне тогда любезно: как же пахнет младенец, когда он пахнет так, как ты считаешь, что он пахнет правильно? Ну?

— Хорошо пахнет,— сказала кормилица.

— Что значит «хорошо»? — закричал ей Террье.— Хорошо пахнет многое. Хорошо пахнет букет лаванд. Хорошо пахнет мясо в супе. Хорошо пахнут сады Аравии. И я хочу знать, как же пахнет младенец?

Кормилица колебалась. Ей было хорошо известно, как пахнут младенцы, она это прекрасно знала, ведь она уже десятки их выкормила, выходила, она их качала, целовала... она могла их ночью найти по запаху, даже сейчас запах младенца стоял у нее в носу. Но она еще никогда не выражала его словами.

— Ну? — рявкнул Террье, нетерпеливо барабанил пальцами.

— Значит так, — начала кормилица, — это не так уж просто сказать, потому что... потому что, они не везде пахнут одинаково, хотя они везде пахнут хорошо, отче, понимаете ли, значит у ножек, например, там они пахнут, как гладкий теплый камень — нет, скорее как творог... или как масло, как свежее масло, да, правильно: они пахнут, как свежее масло. А тельце их пахнет, как... как галета, которую положили в молоко. А на голове, на самом верху, сзади на голове, где волосы закручиваются в макушку, там, посмотрите, отче, там, где у вас уже больше ничего нет... — и она пальцем постучала по лысине Террье, который на какое-то время онемел от этого потока детализированной глупости и послушно наклонил голову, — ...здесь, именно здесь, здесь они пахнут лучше всего. Здесь они пахнут карамелью, пахнут так сладко, так прекрасно, отче, вы даже представить себе этого не можете! Когда они так пахнут, то их любят, все равно, свои они или чужие. И именно так и никак иначе должны пахнуть маленькие дети. И если они пахнут не так, если они здесь вверху вообще не пахнут или пахнут даже меньше, чем холодный воздух, так, как этот выродок, тогда... Вы можете объяснить это, как вы хотите, отче, но я — и она решительно скрестила руки на груди и бросила на корзину у своих ног полный отвращения взгляд, словно в ней были жабы, — я, Жанна Бюсси, больше это к себе не возьму!

Отец Террье медленно поднял опущенную голову и несколько раз провел рукой по лысине, как будто хотел там привести в порядок волосы, будто случайно положил палец под свой нос и задумчиво втянул воздух.

— Как карамель?.. — спросил он и попытался снова перейти на строгий тон... — Карамель! Что ты знаешь о карамели? Ты хоть когда-нибудь ее пробовала?

— Не совсем, — сказала кормилица. — Но однажды я

была в большой гостинице на улице Сент-Оноре и видела, как ее делают из растопленного сахара и сливок. Она пахла так хорошо, что я не смогу этого забыть никогда.

— Да-да. Согласен, — сказал Террье и убрал палец из-под носа. — Теперь, пожалуйста, замолчи! Мне очень сложно продолжать с тобой разговор на этом уровне. Я понял, что ты отказываешься, все равно по какой причине, кормить дальше доверенного тебе младенца Жан-Батиста Гренуя и возвращаешь его временному опекуну, монашью Сен-Мерри. Я нахожу это очень печальным, но изменить ничего не могу. Ты уволена.

С этими словами он взял корзину, еще раз втянул носом исходящий от нее теплый, шерстяной, молочный запах и задвинул на воротах засов. После этого он направился в свою конторку.

3

Отец Террье был образованным человеком. Он не только изучал теологию, но и читал философов, и занимался кроме того ботаникой и алхимией. И он почерпнул кое-что для силы своего критического духа. Правда, он не зашел так далеко, как некоторые, ставящие под вопрос чудеса оракулов или правдивость текстов Священного писания, даже если, строго говоря, их нельзя было объяснить с точки зрения здравого смысла и даже если они ему зачастую противоречили. От таких проблем он предпочитал держаться подальше, они казались ему слишком неприятными и могли бы его лишь столкнуть в зыбкую неуверенность и беспокойство, где все-таки именно для того, чтобы позаботиться о своем рассудке, нужны были надежность и спокойствие. Против чего же он боролся самым решительным образом, так это против суеверных представлений простого народа: колдовство и гадание на

картах, ношение амулетов, нечистый взгляд, заклинания, мощенничество с полнолунием и все остальное, чем они там еще занимались. Было чрезвычайно удручающе видеть, что эти языческие обычаи после более чем тысячетлетнего господства христианской религии все еще не были искоренены! Даже в большинстве случаев так называемые одержимость дьяволом и сговор с сатаной оказывались при ближайшем рассмотрении ни чем иным, как суеверным шумом. Правда, отрицать существование сатаны как такового или подвергать сомнению его силу, — столь далеко Террье бы не пошел; решать проблемы, которые затрагивали основы всей теологии, были призваны другие инстанции, а не маленький простой монах. С другой же стороны, было ясно как Божий день, что если какая-то наивная персона, как эта кормилица, утверждает, что она обнаружила след дьявола, то это значит, что здесь дьявол никак и никогда присутствовать не мог. Именно то, что она думала, что обнаружила его, было надежным доказательством, что там не было вскрыто ничего дьявольского, ибо дьявол не стал бы опять-таки вести себя так глупо, чтобы быть разоблаченным кормилицей Жанной Бюсси. К тому же еще и с помощью носа! Примитивного органа обоняния, самого низкого органа чувств! Как ад пах бы серой, а рай — фимиамом и миррой! Самое отвратительное суеверие, как в самые темные языческие времена, когда люди жили, словно звери, когда у них еще не было зорких глаз, когда они еще не знали цветов, но считали, что могут унюхать кровь, думали, что отличат по запаху друга от врага, что могут быть учуяны великанами-каннибалами и оборотнями и унюханы Эринией, и приносили своим дурацким божествам вонючие и закопченные на кострах жертвы. Ужасно! «Дурак видит носом» больше, чем глазами, и, может быть, свет Божественного разума должен будет гореть еще следующую тысячу лет,

ПАТРИК ЗЮСКИНД

пока исчезнут последние остатки примитивных верований.

— Ах, бедный маленький ребенок! Невинное существо! Лежит в своей корзине и спит, ничего не подозревая об ужасном подозрении, выдвинутом против него. Ты не пахнешь так, как должны пахнуть человеческие дети, осмеливается утверждать эта бессовестная особа. Да, что же мы можем к этому добавить? У-тю-тю-тю-тю!

И он качал корзину, осторожно держа ее на коленях, гладил младенца пальцем по голове и время от времени повторял: у-тю-тю-тю-тю,— считая это выражение самым ласковым и успокаивающе действующим на маленьких детей.

— Ты должен пахнуть карамелью, такая вот глупость, у-тю-тю-тю-тю!

Через некоторое время он забрал палец, поднес его к себе под нос, втянул воздух, но не унюхал ничего, кроме запаха кислой капусты, которую ел в обед.

Поколебавшись мгновение, он посмотрел по сторонам, никто ли его не видит, поднял корзину вверх и поднес к ней свой толстый нос. Совсем близко, так, что тонкие, рыжеватые волосы ребенка щекотали его ноздри, обнюхал голову младенца, ожидая учуять носом какой-то запах. Он не очень-то себе представлял, как должна пахнуть голова младенца. Конечно же не карамелью, поскольку было ясно, что карамель — это всего лишь растопленный сахар, а как мог младенец, который пил до этого времени одно только молоко, пахнуть растопленным сахаром. Он мог пахнуть молоком, молоком кормилицы. Но молоком он не пах. Скорее он пах волосами, кожей и волосами и, может быть, еще чуть-чуть детским потом. И Террье сделал вывод, что чувствует запах волос, кожи и едва ощутимый — детского пота. Но он не унюхал ничего. При всем желании — ничего. Может быть, младенец не пахнет, думал он, так тому и быть. Младенец, если его

содержат в чистоте, не пахнут, точно так же, как он и не говорит, не ходит или не пишет. Эти вещи приходят только с возрастом. Строго говоря, от человека запах начинает исходить лишь тогда, когда наступает половое созревание. Это так и никак иначе. Разве не писал еще Гораций: Смердит юноша, и пахнет в цвету дева, словно белый нарцисс... — а римляне в этом кое-что понимали! Человеческий запах — это всегда плотский запах, то есть запах греховный. Как же тогда должен пахнуть младенец, который даже в мыслях никогда не знал плотского греха? Как он должен пахнуть? У-тю-тю-тю-тю? Совсем никак!

Он снова поставил корзину на колени и осторожно стал ее покачивать. Ребенок по-прежнему крепко спал. Из-под одеяла выглядывал его правый кулачок, маленький и красный, который иногда вздрагивал, касаясь щечки. Террье улыбнулся, и его вдруг охватило полное благодушие. На какое-то мгновение его пронзила фантастическая мысль, что отец ребенка он сам. Что он не стал монахом, а что он просто нормальный человек, может быть порядочный ремесленник, нашел себе женщину, тепло пахнущую шерстью и молоком женщины, сделал вместе с ней сына и вот теперь он качает его на своих коленях, своего собственного ребенка, у-тю-тю-тю-тю... От этих мыслей его охватило блаженство. В них было что-то такое душевное. Отец качает своего ребенка на коленях, у-тю-тю-тю-тю, эта картина стара, как мир! Сердце Террье окутало тепло, а в душе поднялось сентиментальное чувство.

И тут ребенок проснулся. Сначала он проснулся носом. Крошечный нос зашевелился, потянулся вверх и втянул воздух. Он втянул воздух и выдохнул его короткими толчками, словно собираясь чихнуть. Затем нос сморщился, и ребенок открыл глаза. Глаза эти оказались неопределенного цвета, чем-то средним между устрично-серыми и опалово-бело-кремовыми, окутанными какой-то своеобразной слизистой поволокой и явно еще не очень приспособ-

собленными для зрения. У Террье сложилось впечатление, что он его вообще не видел. Но не нос. Пока мутные глаза ребенка шурились, всматриваясь в неизвестное, его нос, казалось, зафиксировал определенную цель, и у Террье возникло странное чувство, что эта цель, это он, Террье, собственной персоной. Крошечные крылья носа вокруг двух маленьких дырочек посреди лица ребенка вздулись, словно распускающийся цветок. Или скорее чашечка того маленького плотоядного растения, которое растет в королевском ботаническом саду. И казалось, что от него исходит то же зловещее всасывание. Террье казалось, что он видит ребенка и его ноздри будто четко и испытывающе на него смотрят, пронизывающе, словно глаза, словно своим носом он поглощал что-то, что исходило от него, Террье, и чего он не мог ни сдержать, ни скрыть... Ему казалось, что ребенок без запаха пах бесстыдно, именно так! Это в нем так и проступало! И он вдруг показался себе вонючим, вонявшим потом и уксусом, кислой капустой и грязной одеждой. Он показался себе голым и уродливым, словно под пристальным взглядом кого-то, кто со своей стороны ничего из себя не представлял. Казалось, что он даже улавливал запах сквозь его кожу, внутри его тела. Нежнейшие чувства, самые грязные мысли просто стояли перед этим жадным маленьким носом, который еще и не был настоящим носом, а лишь маленькой кнопкой, постоянно вращающимся и раздувающимся, и дрожащим крошечным органом с дырочками. Террье содрогнулся. Ему стало противно. Он тоже сморщил нос, словно перед ним было что-то тошнотворно пахнущее, с чем он не хотел иметь никакого дела. От благодушных мыслей не осталось и следа; речь шла о его собственных плоти и крови. Улетучилась сентиментальная идиллия с отцом и сыном и излучающей аромат матерью. Словно обрубило уютно окутывавший его шлейф мыслей, которые он напридумывал себе, размышляя о ребенке и о

себе самом. На его коленях лежало чужое, холодное существо, чужеродное животное, и не имей он столь рассудительного и сложившегося на богобоязни и рациональном сознания, он бы в мгновенном порыве отвращения сбросил его, словно паука.

Террье резко поднялся и поставил корзину на стол. Он хотел избавиться от этого как можно скорее, по возможности сразу же, если возможно, немедленно.

И тут он начал кричать. Он зажмурил глаза, распахнул свою красную глотку и завизжал столь отвратительно пронзительно, что у Террье застыла в жилах кровь. Выгнутой рукой он покачал корзину и крикнул — У-тю-тю-тю-тю,— надеясь таким образом ребенка успокоить, но тот заорал еще громче, лицо его даже посинело и показалось, что он от крика вот-вот лопнет.

«Долой!— подумал Террье,— сейчас же долой это...— он хотел сказать «дьявола», но с трудом собой овладел и удержался от этого слова...— долой это чудовище, этого невыносимого ребенка! Но куда?» Он знал десяток кормилиц и приютов для сирот, но все это было слишком близко, казалось ему слишком близким к его коже, его нужно было отправить намного дальше, так далеко, чтобы ничего о нем больше не слышать, так далеко, чтобы его не смогли каждый час снова ставить перед дверью, по возможности нужно было отправить его в другой приход, а еще лучше на другой берег, а лучше всего вообще в предместье Сент-Антуан, это было бы прекрасно, туда надо отправить кричащее существо, далеко на восток, по ту сторону Бастилии, где на ночь запирают ворота.

И он подобрал свою сутану, и схватил орущую корзину, и помчался, помчался по хитросплетениям переулков и улочек к Сент-Антуанскому предместью, вдоль Сены, против ее течения на восток, за город, далеко-далеко за город, до улицы Шаронн и там почти до конца, где он неподалеку от монастыря Магдалины знал адрес некой

мадам Гайар, которая принимала оплачиваемых детей любого возраста и любого вида до тех пор, пока за них кто-нибудь платит, и там он сдал все еще орущего ребенка, заплатил за целый год вперед и помчался обратно в город, сорвал, примчавшись в монастырь, свою одежду, как что-то покрывшееся пятнами, вымылся с головы до ног и залез в своей келье в кровать, где еще долго осенял себя крестным знаменем и молился, пока наконец облегченно не заснул.

4

Мадам Гайар, хотя ей еще не было и тридцати лет, жизнь свою уже прожила. Внешне она выглядела такой, насколько это соответствовало ее действительному возрасту, а вместе с тем в два, в три и в сто раз старше, даже можно сказать, как мумия девушки; внутренне же она давно была мертва. Еще ребенком она получила от своего отца удар пожарным крюком по лбу, прямо над переносицей, и с тех пор она потеряла всякий нюх, и любое чувство человеческого тепла, и человеческого холода, и вообще все страсти. Нежность после этого удара стала для нее такой же чуждой, как и отчаяние. Она ничего не чувствовала, когда уже позже спала с мужчиной, точно так же, как ничего не чувствовала, рожая детей. Она совершенно не печалилась о тех, которые у нее умирали, и совершенно не радовалась тем, которые у нее оставались. Когда муж ее бил, она не вздрагивала, и она не почувствовала никакого облегчения, когда он умер в Отель-Дье от холеры. Двумя единственными ощущениями, известными ей, были легчайшее душевное помутнение, когда приближалась ежемесячная мигрень, и легчайшее душевное просветление когда мигрень снова отступала. Больше ничего эта уже умершая женщина не чувствовала.

С другой же стороны... или, может быть, именно из-за полного отсутствия эмоций мадам Гайар обладала беспощадным чувством порядка и справедливости. Она не отдавала предпочтения ни одному из доверенных ей детей и никого не обделяла вниманием. Она каждый день давала трехразовое питание и ни кусочка больше. Она три раза в день пеленала младенцев, но только до двухлетнего возраста. Кто продолжал после этого делать в штаны, получал мощную оплеуху и лишался обеда. Ровно половину выплачиваемых ей денег она расходовала на своих воспитанников, ровно половину она оставляла себе. Когда цены падали, она не пыталась увеличить своей прибыли; но и в суровые времена она не увеличивала расходы ни на один соль, даже если речь шла о жизни или смерти. Иначе игра для нее не стоила свеч. Ей нужны были деньги. Она рассчитала это совершенно точно. С возрастом она хотела купить себе ренту и этим самым иметь еще столько, чтобы легко себе позволить умереть дома, а не подохнуть в Отель-Дье, как ее муж. Сама его смерть ее ничуть не тронула. Но ее страшила такая открытая всем, общая смерть, вместе с сотнями других людей. Она хотела, чтобы у нее была своя собственная смерть, и для этого ей нужна была полная мошна заработанных на детях денег. Правда, бывали зимы, когда у нее умирали из двух десятков маленьких постояльцев три или четыре. Но дела у нее обстояли намного лучше, чем у других приемных матерей, и превосходили большинство государственных и церковных приютов, где уровень смертности зачастую достигал десяти процентов и больше. Но их было кому заменить. Париж за год производил более десяти тысяч подкидышей, незаконнорожденных и сирот. Поэтому то, что какое-то количество не выживало, можно было пережить.

Для маленького Гренуя заведение мадам Гайар было благословенным счастьем. Вполне вероятно то, что нигде больше он выжить бы не смог. Но здесь, у этой бедной на

чувства женщины он преуспевал. У него оказалось жесткое телосложение. Как пережил он собственное рождение среди отбросов, так теперь было непросто вытолкнуть его из этого мира. Он мог есть водянистые супы, он обходился самым разбавленным молоком, мог вынести самые гнилые овощи и самое тухлое мясо. В детстве он пережил корь, дизентерию, ветряную оспу, холеру, падал с шестиметровой высоты в колодец и обварил грудь кипятком. Правда, от этого остались шрамы, и рубцы, и струпья, и слегка покалеченная нога, из-за которой он стал хромать, но он выжил. Он был крепким, как выносливая бактерия, и невзыскательным, словно клещ, который сидит на дереве и поддерживает жизнь крошечной капелькой крови, которую ему удалось получить годы назад. Минимальное количество еды и одежды — это все, что было необходимо для его тела. Для души ему не нужно было ничего. Чувство защищенности, милосердие, нежность, любовь — или как еще назывались эти вещи, которые вроде бы были нужны ребенку — для ребенка Гренуя были совершенно ненужными. Более того, как нам это представляется, он сам сделал их для себя ненужными, чтобы вообще смочь выжить, с самого начала. Крик после своего рождения, крик из-под разделочного стола, которым он дал о себе знать и отправил свою мать на эшафот, не был инстинктивным криком, призывавшим к сочувствию и любви. Это был тщательно взвешенный, хочется даже сказать, по-взрослому взвешенный крик, которым новорожденный решительно высказался *против* любви, но *за* жизнь. При существовавших же тогда обстоятельствах одно было возможно лишь без другого, и если бы ребенок потребовал и то, и другое, то он, несомненно, вскоре закончил бы свое жалкое существование. Правда, если бы он тогда использовал вторую, открывавшуюся ему возможность, и промолчал, и смог бы выбрать путь от рождения к смерти без

окольного пути через жизнь, он смог бы уберечь и мир, и себя от целого множества бед. Но чтобы сойти так скромно с пути, ему понадобилась бы как минимум врожденная любезность, а как раз ее то у Гренуя не было. С самого начала он был извергом. Он выбрал для себя жизнь из чистого упрямства и из чистой злости.

Конечно же, выбор свой он сделал не так, как делает свой выбор взрослый человек, который в большей или меньшей степени использует свое благоразумие и жизненный опыт, чтобы выбрать между разными условиями. Но он выбрал себе, чисто вегетативно, так, как выбирает оторванное зерно, стоит ли прорасти или лучше остаться таким, как есть.

Или как клещ на дереве, которому в жизни не дано ничего больше, как постоянная зимовка. Маленький, уродливый клещ, сворачивающий свое серо-голубое тело в шар, дабы подставить окружающему миру как можно меньшую его площадь; ибо тот делает его кожу гладкой и твердой, чтобы ничего не пролить, чтобы не потерять даже капельки пота. Клещ, который специально старается сделаться поменьше и поневидимее, чтобы никто его не увидел и не растоптал. Одинокий клещ, который, собравшись в самом себе, сидит на своем дереве, слепой, глухой и беззвучный, и лишь ловит запахи, годами ловит запахи, на многие мили, кровь проходящих мимо зверей, до которых собственными силами он добраться не может никак. Клещ мог бы упасть вниз. Он мог бы упасть на лесную почву, проползти на шести своих крошечных лапках несколько миллиметров в одну или в другую сторону, или залезть под опавшую листву, чтобы там умереть, и никто бы его не жалел, знает Бог, никто. Но клещ, упрямый, тупой и мерзкий, продолжает сидеть, и живет, и ждет. Ждет, пока в наивысшей степени невероятный случай не доставит кровь в виде проходящего животного прямо под

дерево. И лишь тогда он перестает сдерживаться, падает вниз и цепляется, и вгрызается, и впивается в чужое мясо...

Таким клещом и был ребенок Гренуй. Он жил, затаившись в самом себе, и ждал наступления лучших времен. Окружающему миру он не давал ничего, кроме своих фекалий, — ни улыбки, ни крика, ни блеска в глазах, даже никакого, ни малейшего запаха. Любая другая женщина уже выгнала бы этого монстрообразного ребенка. Но не мадам Гайар. Она не могла унюхать, что он не пахнет, и она не ожидала от него никаких душевных порывов, ибо у нее самой душа была наглухо закрыта.

В отличие от нее другие дети сразу же почувствовали, что с Гренуем что-то не то. С первого же дня новичок показался им жутким. Они сторонились ящика, в котором он лежал, и жались на своих полках плотнее друг к другу, как будто в комнате стало холоднее. Самые маленькие ночью время от времени вскрикивали; им казалось, будто по спальне гуляет ветер. Другие же во сне видели, как что-то забивает им дыхание. Однажды старшие собрались его задушить. Они положили на его лицо тряпье, одеяла, сено, а сверху для тяжести положили еще и кирпичи. Когда мадам Гайар раскопала его на следующее утро, он был смятым, и раздавленным, и синим, но не мертвым. Они пытались сделать это еще несколько раз, но напрасно. Задушить его напрямую, за шею, собственными руками, или закрыть ему нос или рот, что было бы более надежным методом, они на это не решились. Они не хотели до него дотрагиваться. Они испытывали к нему отвращение, как испытывают отвращение к жирному пауку, которого никто не хочет раздавить своей собственной рукой.

Когда он подросток, попытки убить его прекратились. Наверное, они увидели, что его уничтожить нельзя. Вместо этого, они ушли с его пути, убежали, но продолжали

бояться до него дотронуться. Они его не ненавидели. Они также его не ревновали и не обижались на его прожорливость. Для таких чувств в доме Гайар не давалось ни малейшего повода. Он просто им мешал, потому что он там был. Они не чувствовали его запаха. Они его боялись.

5

При этом он, говоря объективно, не имел ничего, что могло внушать страх. Он был, когда подросток, не особенно высоким, не сильным, скорее уродливым, но не настолько уродливым, чтобы от его вида можно было испугаться. Он не был агрессивным, не был подлым, не был коварным, он никого не провоцировал. Он предпочитал держаться в стороне. Его интеллект казался тоже чем-то иным, чем устрашающим. Лишь только в трехлетнем возрасте он начал стоять на двух ногах, первое свое слово он произнес в четыре, это было слово «рыбы», которое в какой-то момент неожиданного возбуждения вырвалось из него, словно эхо, когда где-то вдалеке появился торговец рыбой с улицы Шаронн и выкрикивал свой товар. Следующими словами, которые он произнес, были «герань», «козлятник», «капуста» и «Жак Страхолюд», последнее из которых было прозвищем помощника садовника близлежащей богадельни Жен Мироносиц, который иногда что-то там вскапывал и выполнял самую грязную работу, и прославился тем, что за всю свою жизнь ни разу не мылся. С глаголами, прилагательными и другими частями речи обстояло хуже. За исключением «да» и «нет» — которые он, кстати, произнес в первый раз очень поздно — для него существовали лишь существительные, даже, собственно говоря, конкретные названия конкретных вещей, растений, животных и людей как таковых и то лишь тогда, ког-

да эти вещи, растения, животные или люди вдруг достигали его обоняния.

Сидя под мартовским солнцем на штабеле буковых поленьев, потрескивавших от тепла, случилось так, что он впервые произнес слово «дрова». До этого он уже сотни раз видел дрова, сотни раз слышал это слово. Понимать он его тоже понимал, потому что зимой его часто посылали принести с улицы дров. Но дрова как предмет не представлялись ему достаточно интересными для того, чтобы приложить усилие и произнести это название. Это случилось впервые в тот самый мартовский день, когда он сидел на штабеле. Штабель этот выглядел, словно скамейка на южной стороне сарая мадам Гайар и был сложен под нависающей над ним крышей. Сладковато-горелый запах исходил от верхнего слоя поленьев, мшистый запах доносился из глубины штабеля, а от еловой стены сарая под теплом поднимался запах сухой смолы.

Гренуй сидел на штабеле, вытянув ноги, прислонившись спиной к стене сарая, он закрыл глаза и не шевелился. Он ничего не видел, он ничего не слышал и не чувствовал. Он только вдыхал аромат дров, поднимающийся вокруг него и скапливавшийся под крышей, словно под колпаком. Он пил этот аромат, он утонул в нем, пропитался им до самой последней, самой далекой поры, сам превратился в дрова, он лежал на поленице, словно деревянная кукла, словно Пиноккио, как мертвый, до тех пор, пока по истечении времени, может быть лишь через полчаса, выдавил из себя слово «дрова». Словно он был переполнен дровами до самых ушей, словно дрова застряли у него в горле, словно его живот, глотка и нос были забиты дровами, именно так выблевал он это слово. И это привело его в себя, спасло его незадолго до того, как само подавляющее существо дров, их запах грозили его задушить. Он поднялся, соскользнул со штабеля вниз и поковылял прочь, словно на одеревеневших ногах. Еще несколько

дней он был под впечатлением этого запаха и бормотал, вспоминая, словно заклинание: «Дрова, дрова».

Так он учился говорить. Со словами, которые обозначали предметы не пахнущие, то есть с абстрактными понятиями, и прежде всего морального и этического порядка, у него возникали большие трудности. Он не мог их запомнить, путал их и, уже будучи взрослым, употреблял их с неохотой и зачастую неправильно: право, совесть, Бог, радость, ответственность, покорность, благодарность и т.д.— все, что должно было ими выражаться, оставалось для него весьма туманным.

С другой же стороны, языка, на котором тогда говорили, вскоре стало ему не хватать, чтобы выразить все те вещи, которые он накопил в себе как обонятельные понятия. Вскоре дрова для него приобрели запах не просто дерева, а сорта дерева: кленовые дрова, еловые дрова, сосновые дрова, вязовые дрова, грушевые дрова, старое, свежее, трухлявое, гнилое, мшистое дерево, даже каждое отдельное полено, щепку, стружку — он чувствовал их запах, как явно различающихся предметов, когда другие люди не могли их четко различить даже при помощи глаз. Точно также у него обстояло и с другими вещами. Так, как тот белый напиток, который мадам Гайар каждое утро давала свои воспитанникам и который всегда назывался молоком, и который по восприятию Гренуя каждое утро имел другой запах и другой вкус, в зависимости от того, какая у него была температура, от какой коровы он был взят, чем эту корову кормили, сколько сливок было с него снято и так далее... как дым, который представлял собой состоящий из сотен отдельных запахов, переливающихся, изменяющихся каждую минуту и секунду и смешивающихся в новых сочетаниях в общей картине запахов, как тот дым от огня, имеющий все то же единственное название «дым»... как земля, ландшафт, воздух, которые шаг за

шагом, вздох за вздохом наполнялись другим запахом и тем самым оживали в другом виде, но, тем не менее, должны были обозначаться только лишь этими тремя неуклюжими словами — все эти несоответствия между богатством воспринимаемого в запахах мира и бедностью языка побудили мальчика Гренуя вообще усомниться в смысле существования языка; и он прибегал к его употреблению лишь в том случае, когда общение с другими людьми становилось крайне необходимым.

В шестилетнем возрасте он полностью узнавал по запаху всех окружающих. В доме мадам Гайар не было ни единого предмета, в северной части улицы Шаронн ни единого места, ни одного человека, ни единого камня, дерева, куста или штaketника, ни одного хотя бы маленького пятнышка, которого он не знал бы по запаху, не мог бы узнать и в соответствующей его неповторимости сохранить в памяти. Он собрал десятки тысяч, сотни тысяч отдельных запахов и сам ими пользовался так четко, в таких разных вариациях, что он не только вспоминал их, когда снова чуял, а действительно снова их чуял, когда только лишь о них вспоминал; даже больше, он мог чисто в своем представлении их комбинировать в новых сочетаниях и таким образом создавать в себе новые запахи, которых в настоящем мире просто не существовало. Казалось, что он обладал огромным, составленным самим собой словарем запахов, который давал ему возможность создавать прямо-таки бесконечное количество новых сочетаний запахов,— и все это в том возрасте, когда другие дети с помощью с трудом вдолбленных им слов лопотали первые, далеко недостаточные для описания мира, традиционные фразы. Наверное его талант можно было скорее всего сравнить с дарованием музыкального вундеркинда, который, слушая мелодии и гармоничные сочетания, составил свой собственный алфавит звуков и теперь сам в совершенстве сочинял новые мелодии и гармонии — конечно, с

той разницей, что алфавит запахов был несравнимо большим и разнообразнее, чем алфавит звуков, и конечно же с той разницей, что творческая деятельность вундеркинда Гренуя протекала лишь в его сознании и не могла быть замечена никем, кроме него самого.

Внешне же он становился все более замкнутым. Охотнее всего он в одиночестве бродил по северной части Сент-Антуанского предместья, по огородам, виноградникам, по лугам. Иногда по вечерам он не возвращался домой и исчезал на несколько дней. Следовавший за этим воспитательный акт при помощи палки он переносил, никак не реагируя на боль. Домашний арест, оставление без обеда, штрафные работы не могли изменить его поведение. Рассеянное полугодовое посещение приходской школы в Нотр-Дам-де-Бон-Секур не дало каких бы то ни было ощутимых результатов. Он научился немного читать по слогам и писать свое имя, и больше ничего. Учитель считал его слабоумным.

Мадам же Гайар заметила, что у него были определенные способности и особенности, которые были весьма непривычными, если не сказать неестественными. Так, казалось, что ему совершенно чужд детский страх перед темнотой и ночью. Его можно было всегда послать принести что-то из погреба, куда остальные дети едва решались спуститься даже с лампой, или на улицу, в сарай, чтобы принести дров в непроглядной ночи. И он никогда не брал с собой света, но всегда точно ориентировался и приносил то, за чем его посылали, никогда не ошибаясь, никогда не спотыкаясь и никогда ничего не разбив. А еще более непостижимым было, что он, как это казалось заметила мадам Гайар, был способен видеть сквозь бумагу, ткань, дерево и даже сквозь каменные стены и закрытые двери. Он знал сколько и кто из воспитанников находятся в спальне, даже не заходя в нее. Он знал, что в цветной ка-

пуге спряталась гусеница еще до того, как головку капусты разрезали. А однажды, когда она так хорошо спрятала свои деньги, что сама не могла их отыскать (она меняла свои тайники), он показал, не потратив на поиски и секунды, на местечко под каминной балкой, и смотри-ка, там они и были! Он даже мог заглядывать в будущее, когда он предрекал чей-нибудь приход задолго до его появления или безошибочно предсказывал приближение грозы, когда на небе не было еще ни малейшего облачка. То, что он всего этого конечно же не видел, не видел глазами, а различал своим острым и всегда безошибочным носом: гусеницу в капусте, деньги в камине, людей сквозь стены и даже в отдалении, через многие улицы — этого мадам Гайар не могла предположить даже во сне, даже учитывая то, что удар пожарным крюком никак не повлиял на ее обонятельный фактор. Она была уверена в том, что у мальчика должно было быть — глупость, так или иначе — второе лицо. А так как она знала, что двуликие притягивают бедствия и смерть, он стал казаться ей зловещим. Еще более зловещей, почти невыносимой казалась ей мысль, что она живет под одной крышей с тем, кто способен видеть сквозь стены и балки старательно спрятанные деньги, и когда она узнала об этой ужасной способности Гренуя, она стала стараться от него избавиться и это ей-таки удалось, потому что примерно в это же время — Греную было восемь лет — монастырь Сен-Мерри прекратил без указания причин свои ежегодные выплаты. Мадам не стала об этом напоминать. Она достойно подождала еще неделю, и когда подлежащие к оплате деньги так к тому времени и не поступили, взяла мальчика за руку и отправилась с ним в город.

На улице Мортельри, рядом с рекой, она знала некоего дубильщика по имени Грималь, который явно нуждал-

ся в юных рабочих — не в настоящих учениках или подмастерьях, а в дешевых чернорабочих. А именно, ему были нужны рабочие на грязную работу — мездрение протухших шкур животных, смешивание ядовитых дубильных и красящих растворов, вынос использованной едкой дубильной коры, — которая была до такой степени опасной для жизни, что обладающий чувством ответственности мастер не растрчивал по возможности на это своих обученных подмастерьев, а брал безработный сброд, бродяг или беспризорных детей, о которых никто бы потом в случае чего и не спросил. Конечно же мадам Гайар осознавала, что в кожевенной мастерской Грималья у Гренуя по человеческим меркам шансов выжить не оставалось. Но она была не той женщиной, которая задумывалась над такими мелочами. Свой долг она считала выполненным. Отношения по попечительскому договору закончились. Что произойдет с воспитанником дальше, ее не касалось. Если он выживет — хорошо, если же умрет — тоже хорошо. Самое главное, что все шло своим чередом. Она потребовала у мосье Грималья бумагу, письменно подтверждающую передачу мальчика, получила пятнадцать франков комиссионных и отправилась обратно домой на улицу Шаронн. Она не чувствовала ни малейшего угрызения совести. Наоборот, она считала, что поступила не только последовательно, но и справедливо, потому что пребывание ребенка, за которого никто не платит, легло бы бременем на остальных детей, а также бременем на нее саму, и, может быть, угрожало бы будущему других детей, как и будущему ее самой, то есть ее собственной, защищенной, личной смерти, которая оставалась тем единственным, чего она еще желала в этой жизни.

Так как мы на этом месте покинем мадам Гайар и больше нигде в нашей истории с ней не встретимся, то

несколькими словами мы расскажем о конце ее дней. Мадам, хотя внутренне она умерла еще ребенком, к своему несчастью стала очень и очень старой. В году 1782, почти в семидесятилетнем возрасте она бросила свое ремесло, купила, как и планировала, себе ренту, сидела в своем домике и ждала смерти. Но вместо нее пришло то, чего не мог ожидать ни один человек в мире и чего в стране еще не случалось ни разу, а именно революция, что означало бурные перемены всех общественных, нравственных и трансцендентальных отношений. Поначалу эта революция не возымела никакого влияния на личную судьбу мадам Гайар. Но затем — ей было уже почти восемьдесят — совершенно неожиданно ее рентоплательщику вроде бы пришлось эмигрировать, его имущество было изъято и передано какому-то производителю штанов. Какое-то время это еще выглядело так, словно для мадам Гайар никаких фатальных последствий не предвиделось, потому что производитель штанов продолжал аккуратно выплачивать пенсию. Но затем наступил день, когда она получила свои деньги не в твердой монете, а в форме маленьких отпечатанных листков бумаги, и это стало началом ее материального конца.

По прошествии двух лет пенсии перестало хватать даже на то, чтобы оплатить дрова. Мадам была вынуждена продать свой дом, за до смешного низкую цену, ибо совершенно неожиданно оказалось, что есть еще тысячи других людей, которые тоже были вынуждены продать свои дома. И она снова получила в качестве эквивалента суммы лишь эти дурацкие бумажки, которые через два года снова стали стоить ничего, а в 1797 году — ей как раз перевалило за восемьдесят — она потеряла все свое собранное старательной многолетней работой состояние и переехала в крошечную меблированную каморку на улице Кокий.

И лишь здесь, с десяти, даже с двадцатилетним опозданием, пришла ее смерть, пришла в виде затяжной болезни, рака, схватившей мадам за горло и отнявшей у нее сначала аппетит, а затем и голос, так что она ни словом не могла возразить, когда ее отправляли в Отель-Дье. Там ее поместили в тот же самый, населенный сотнями смертельно больных людей зал, в котором когда-то умер ее муж, положили на общую кровать к пяти другим старым до дикости, чужим женщинам, где они лежали, плотно прижавшись друг к другу, и оставили ее там, где она три недели умирала у всех на глазах. Затем ее зашили в мешок, бросили в четыре часа утра вместе с пятьюдесятью другими трупами на повозку и повезли под тонкий звон колокольчика на новое кладбище в Кламар, расположившееся в миле от городских ворот, где опустили на вечный покой в общую могилу под толстый слой негашеной извести. Это произошло в 1799 году. Слава Богу, мадам даже не могла предположить, какая ее ожидает судьба, когда она тем днем 1747 года шла домой, оставив мальчика Гренуя и нашу историю. Возможно она потеряла всю свою веру в справедливость, а вместе с ней лишь ей одной понятный смысл жизни.

6

С первого взгляда, когда он увидел монсеньера Грималю, — нет, с первого вдоха, учуявшего запах, который он уловил от ароматической ауры Грималю, Гренуй понял, что этот человек был в состоянии при малейшем непослушании забить его до смерти. Его жизнь значила ровно столько, сколько работа, которую он выполнял, он значил ровно столько, сколько польза, в которую оценил его Грималь. Поэтому Гренуй все терпел, ни единого раза не по-

пытавшись хоть как-то возразить. Изю дня в день он замыкался в себе, вопреки энергии своего упрямства и своей строптивости уходил в себя, использовал ее только для того, чтобы в свойственной для клеща манере пережить предстоящее холодное время года: жестко, скромно, не бросаясь в глаза, поддерживая свет жизненной надежды самым маленьким, но тщательно оберегаемым огоньком. Он был лишь примером покорности, непритязательности и желания работать, слушался с первого слова, с благодарностью принимал любую еду. Вечерами он послушно позволял запирать себя в пристроенном сбоку от мастерской чулане, в котором хранились инструменты и висели сырые соленые шкуры. Здесь он и спал на утоптанном до блеска земляном полу. Он работал целыми днями, пока было светло, зимой восемь, летом четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать часов: он мездрил мерзко вонявшие шкуры, промывал их, срезал щетину, обрабатывал известью, протравливал, мял их, обрабатывал квасцами, рубил дрова, сдирал кору с березы и тиса, спускался в наполненные едкими испарениями дубильные ямы, складывал, как ему приказывали подмастерья, рядами шкуры и древесную кору, рассыпал раздавленные чернильные орехи, накрывал ужасный костер ветками тиса и землей, через годы он должен был снова их разрыть и выгачить мумифицированные в передубленные кожи трупы шкур из их могилы.

Когда он не закапывал или не выкапывал шкуры, он носил воду, месяцами он таскал воду из реки наверх, всегда двумя ведрами, сотни ведер в день, ибо мастерская требовала неисчислимое количество воды для промывки, для смягчения, для варки, для покраски. Месяцами на нем не было сухой нитки от беспрестанного ношения воды, вечером вода просто лилась с его одежды, а кожа его была холодной, мягкой и опухшей, словно вымоченные шкуры.

Через год такого более животного, чем человеческого

существования он заработал сибирскую язву, одну из самых страшных болезней дубильщиков, которая, как правило, заканчивается смертью. Грималь уже списал его со счетов и уже подыскивал ему замену — в общем-то не без сожаления, ибо более непритязательного и работоспособного работника, чем этот Гренуй, у него еще не было. Несмотря на все ожидания, Гренуй все же переборол болезнь. У него остались лишь большие шрамы от черных карбункулов за ушами, на шее и на щеках, которые его обезобразили и, когда они сошли, сделали еще более безобразным. На будущее ему осталось — неоценимое преимущество — иммунитет против сибирской язвы, так что он мог лишь потрескавшимися, кровоточащими руками мездрить самые плохие шкуры и совершенно не опасаться заразиться снова. Этим он отличался не только от учеников и подмастерьев, но и от своих потенциальных последователей. И так как его было не так уж просто заменить, как раньше, поднялась ценность его работы и вместе с этим ценность его жизни. Ему уже не нужно было спать на голой земле, а ему было позволено построить себе в сарае деревянную полку, он получил солому, чтобы положить сверху, и собственное одеяло. Теперь его уже на ночь не закрывали. Еда стала более приличной. Грималь держал его уже не как дикого зверя, а как полезное домашнее животное.

Когда ему было двенадцать лет, Грималь стал предоставлять ему свободные полдня по воскресеньям, а в тринадцать он уже даже мог каждый день после работы целый час гулять и делать все, что угодно. Он победил, потому что он выжил, и получил немного свободы, которой хватало для того, чтобы жить дальше. Время, когда он зимовал, прошло. Клещ Гренуй снова жил. Он чуял утренний воздух. Его охватило чувство охотника. Ему открылся самый большой заповедник запахов всего мира: город Париж.

Это было как в какой-то сказочной стране. Сам близлежащий квартал Сен-Жак-де-ля-Бушри и улицы вблизи церкви Св.Евстахия были сказочной страной. В переулках в стороне от улиц Сен-Дени и Сен-Мартен люди жили так плотно друг к другу, дом так плотно прижимался к дому, в пять, в шесть этажей в высоту, что не было видно неба и воздух стоял у земли, словно в сырых каналах, и цепенел от запахов. Здесь смешивались запахи людей и животных, пищи и болезней, воды и камней, и золы, и кожи, мыла и свежее выпеченного хлеба, и яиц, которые варятся в уксусе, лапши и начищенной до блеска латуни, шалфея и пива, и слез, жира и сухой или влажной соломы. Тысячи и десятки тысяч запахов представляли собой невидимую кашу, заполняющую провалы улиц, которая лишь изредка растворялась над крышами и никогда у самой земли. Люди, которые там жили, более не выделялись запахами в этой каше; она возникала из них самих и снова и снова пропитывала их, она была самым воздухом, который они вдыхали и которым они жили, она была, словно теплая одежда, которую долго носили, запах которой уже не чувствуешь и которая, кажется, сроднилась с кожей. Гренуй же вдыхал все это, как в первый раз. И он вдыхал не только общую сумму этого сочетания запахов, а аналитически разделял их на мельчайшие и разнообразнейшие части и частички. Его великолепный нос распутывал этот клубок испарений и вони на отдельные нити основных запахов, которые более разложить было невозможно. Ему доставляло несказанное удовольствие расплести и распускать эти нити.

Часто он останавливался, опершись на стену какого-нибудь дома или забившись в темный угол, с закрытыми глазами, полуоткрытым ртом и раздувшимися ноздрями, тихо, словно хищная рыба в глубокой, темной, медленно

текущей реке. И когда наконец дуновением воздуха до него доносило кончик нежной нити какого-то запаха, он отключался и больше не двигался с места, его обоняние не чувствовало ничего, кроме одного этого запаха, крепко его держало, он втягивал его в себя и запоминал на всю жизнь. Это мог быть давно известный ему запах или его вариация, это мог быть и совершенно новый, который почти не имел или вообще не имел ничего общего со всем тем, что он обонял, не говоря уже о том, что видел: запах глаженного шелка, запах чая с тимьяном, запах куска вышитой серебром парчи, запах пробки от бутылки с редким вином, запах гребня из черепахового панциря. Такие, пока что еще не известные ему запахи, были его стихией, он охотился за ними со страстью и терпением рыболова и собирал в себе.

Когда он насыщался плотной и тяжелой кашей запахов переулков, он отправлялся на открытую воздуху местность, где запахи были тоньше, смешивались с ветром и расчленились, почти как духи: на площади с торговыми рядами, где день продолжал жить в запахах и вечером, невидимо, но так явно, словно там все еще шныряли в толпе торговцы, словно все еще стояли полные овощей и яиц корзины, полные вина и уксуса бочки, мешки с пряностями и картофелем, и мукой, ящики с гвоздями и винтами, мясные столы, столы, полные тканей и посуды, и обувных подметок, и сотен других вещей, которые там целыми днями продавались... вся суতোлка до последней мелочи висела в воздухе, который она после себя оставила. Гренуй нюхом видел весь рынок, если можно так выразиться. И нюхом он видел его лучше, чем некоторые делают это глазами, ибо он воспринимал его позже и поэтому более высоким способом: как эссенцию, как дух чего-то бывшего, которому не мешают обычные атрибуты момента, как то шум, пронзительность, мерзкое соприкосновение живых людей.

Или он отправлялся туда, где была обезглавлена его мать, на Гревскую площадь, которая подобно огромному языку «влизывалась» в реку. Здесь лежали, вытянутые на берег или привязанные к столбам, лодки и корабли и пахли углем и зерном, и сеном, и мокрыми канатами.

А с запада по этому единственному коридору, который река прорезала сквозь город, шел поток воздуха и приносил запахи из-за пределов города, с лугов у Нэйи, из лесов между Сен-Жерменом и Версалем, из таких далеких городов, как Руан и Кан, и даже иногда с моря. Море пахло, как наполненный ветром парус, пропитавшийся водой, солнцем и холодным ветром. Оно, море, пахло просто, но в то же время величественно и единственно в своем роде, так что Гренуй не решался разделить его на рыбный, соленый, водянистый запахи, запах водорослей, свежести и так далее. Ему было приятно оставлять запах моря в его единстве, он запомнил его таким, каким он был, и наслаждался им в его целостности. Запах моря так ему нравился, что он мечтал когда-нибудь получить его чистым, без примесей и в таком количестве, чтобы можно было им упиться. А позднее, когда он из рассказов узнал, как велико море и что на нем можно целыми днями плыть на корабле, не видя земли, он с удовольствием представлял себя сидящим на одном из таких кораблей, высоко вверху, в корзине на передней мачте, летящим вперед сквозь бесконечный запах моря, который на самом деле был даже не запахом, а дыханием, выдохом, концом всех запахов, и расслабленным от удовольствия. Но этому не суждено было случиться никогда, потому что Гренуй, который стоял на берегу на Гревской площади и по многу раз вдыхал и выдыхал маленькие клочья морского ветра, которые попадали ему в нос, никогда в жизни не увидит моря, настоящего моря, великого океана, лежащего на западе, и никогда не сможет смешаться с его запахом.

Квартал между церковью Св.Евстахия и городской ратушей он вскоре по запахам изучил так точно, что мог ориентироваться там даже в самую непроглядную ночь. Так он расширял область своей охоты, сначала на запад до предместья Сент-Оноре, затем вверх по улице Сент-Антуан до Бастилии, и наконец даже на другую сторону реки, дальше в Сорбоннский квартал и до предместья Сен-Жермен, где жили богатые люди. Сквозь железные решетки ворот оттуда пахло кожей карет и пудрой из париков пажей, а через высокие стены из садов струился аромат дрока и роз, и свежесрезанной бирючины. Здесь же произошло и то, что Гренуй в первый раз вдохнул запах в прямом смысле: простой лавандовой или розовой воды, которую по торжественным поводам наливали в садовые фонтаны, более сложные, дорогие запахи мускатного ореха, смешанного с маслом нерола и туберозы, жонкиля, жасмина или корицы, которые по вечерам висели за экипажами, словно тяжелый и плотный шлейф. Он регистрировал эти ароматы, как регистрировал и обычные запахи, с любопытством, но без особого удивления. Он даже заметил, что смыслом духов было действовать опьяняюще и притягательно, и он определил состав некоторых эссенций, из которых они состояли. Но в общем-то они показались ему скорее грубыми и неуклюжими, больше намешанными, чем составленными, и он знал, что сам он мог бы создать совершенно другие благородные запахи, если бы он имел такие же составляющие вещества.

Многие из этих основных веществ уже были ему известны по запахам цветочных лотков и лавок с пряностями на базаре; другие же были для него внове, и он фильтровал их из смесей запахов и, не зная их названий, тоже хранил в памяти: янтарь, цибетин, пачули, сандаловое дерево, бергамот, цвет овса, бобровая желчь...

Избирательно к ним он не подходил. Между тем запахом, который люди считали хорошим, и тем, что считали

плохим, он разницы не делал, пока что не делал. Его обучала жадность. Цель его охоты состояла в том, чтобы по возможности взять все то, что мир мог предложить в запахах, единственным условием было, чтобы запахи эти были новыми. Запах потной лошади значил для него ровно столько же, сколько нежный зеленый запах набухающего бутона розы, едкая вонь от клопа не меньше, чем аромат нашпигованной жареной телятины, распространяющийся из господских кухонь. Все, все это он пожирал, всасывал в себя. И даже в синтезирующей кухне его фантазий, в которую он все время складывал новые комбинации запахов, пока еще эстетический принцип не действовал. Это были фантазии, которые он творил и вскоре снова разрушал, как ребенок, играющий с кубиками, с богатой изобретательностью и деструктивно, без видимого творческого принципа.

8

1 сентября 1753 года, в годовщину восхождения короля на трон, город Париж устроил на Королевском мосту фейерверк. Он был не таким шумным, как фейерверк по случаю праздника почитания короля или как тот легендарный фейерверк по случаю рождения дофина, но тем не менее это был все-таки очень впечатляющий фейерверк. На мачтах кораблей смонтировали золотые солнечные круги. От моста так называемые огненные быки извергли в реку горящий звездный дождь. И в то время, как повсюду с оглушительным шумом шлепались петарды и по мостовой прыгали жабы-хлопушки, в небо поднимались ракеты и рисовали на черном небосводе белые лилии. Многотысячеголовая толпа, собравшаяся как на мосту, так и на набережной по обе стороны реки, сопровождала это представление восхищенными ахами и охами и даже

виватами — хотя король взошел на свой трон еще тридцать восемь лет назад, а пик его популярности уже давно прошел. Но это был фейерверк.

Гренуй молча стоял в тени павильона Флоры, на правом берегу, напротив Королевского моста. Он не хлопал в ладоши, он даже ни разу не посмотрел вверх, когда в небо взлетала ракета. Он пришел потому, что надеялся унюхать что-нибудь новенькое, но очень скоро сделал вывод, что в смысле запахов фейерверк ничего предложить не мог. Все то, что в своем быстроисчезающем разнообразии сверкало и струилось, и трещало, и свистело, оставляло в высшей мере однообразную смесь запахов серы, масла и селитры.

Он уже решил покинуть скучное мероприятие, чтобы вдоль галереи Лувра отправиться домой, когда ветер донес до него что-то, что-то крошечное, едва заметное, лишь капельку, атом запаха, нет, еще меньше: скорее предчувствие запаха, чем действительно этот запах — и все-таки очень явное предчувствие чего-то, никогда ранее не пахшего. Он снова отступил к стене, закрыл глаза и раздул ноздри. Запах был столь исключительно нежным и приятным, что он не смог его удержать, он все время ускользал от его восприятия, покрывался пороховым дымом петард, блокировался испарениями от масс людей, расщеплялся и растирался тысячами других городских запахов. Но затем неожиданно он снова появился, лишь маленький обрывок, какую-то долю секунды, как прекрасный намек на запах... и вскоре исчез. Гренуй терзался муками. Впервые страдали не только его жадный характер, которому был брошен вызов, но и его сердце. У него возникло странное предчувствие, что этот запах является ключом к порядку всех других запахов, что ничего нельзя было понять в запахах, если не понимать этого единственного, и он, Гренуй, испортит всю свою жизнь, если ему не удастся овладеть этим единственным запахом. Он должен был его полу-

чить, не для простого обладания, а для того, чтобы успокоить свое сердце.

От волнения ему чуть не стало плохо. Ему даже не удалось определить, с какой стороны вообще пришел этот запах. Иногда интервалы, пока до него снова доносился обрывок запаха, продолжались по несколько минут, и каждый раз его охватывал парализующий страх, что он потерял его навсегда. Наконец он нашел спасение в сомнительной надежде, что запах доносится с другого берега реки, откуда-то с юго-восточного направления.

Он оторвался от стены павильона Флоры, нырнул в толпу и стал пробивать себе дорогу по мосту. Через каждые несколько шагов он останавливался, приподнимался на цыпочках, чтобы поверх голов втянуть в себя воздух, но поначалу из-за сильного возбуждения не мог унюхать ничего, затем наконец все-таки что-то учуял, втянул в себя аромат, даже еще более сильный, чем раньше, понял, что он на правильном пути, снова нырнул в толпу, отчаянно проталкиваясь сквозь плотно стоявших зевак и участников фейерверка, которые все время подносили свои факелы к фитилям ракет, потерял в едком пороховом дыму свой запах, ударился в панику, продолжал проталкиваться дальше, отпихивая всех с пути и продираясь вперед, добрался за показавшиеся ему бесконечными минуты до другого берега, до особняка Майи, до набережной Малакэ, до начала улицы Сены...

Здесь он остановился, собрался с силами и принялся нюхать. Он нашел его. Он его держал. Словно лента, запах спускался по улице Сены, его нельзя было ни с чем спутать, он был четким и явным и тем не менее оставался очень нежным и очень приятным. Гренуй почувствовал, как забилось его сердце, и он знал, что это не от того, что он бежал и от бега сердце забилось сильнее, а от беспомощного возбуждения, вызванного этим запахом. Он попытался вспомнить что-то похожее, но был вынужден все

сравнения отмести. В этом запахе была свежесть, но не свежесть сладкого лимона или бигарадии, не свежесть мирры или корицы, или мяты, или березы, или камфары, или сосновой хвои, не свежесть майского дождя или морозного ветра, или родниковой воды... Одновременно в нем было и тепло, но не такое, как у бергамота, кипариса или мускуса, не как у жасмина или нарцисса, не такое, как у розового дерева или у ириса... Этот запах был двуединой смесью из летучего и тяжелого, даже не смесью, а единством, причем маленьким и слабым, но вместе с тем значительным и сильным, словно кусок тонкого, переливающегося шелка... и потом снова не как шелк, а как сладкое, словно мед, молоко, в котором растворяется бисквит — что даже при всем желании не могло сочетаться: молоко и шелк! Непостижим этот аромат, непостижим, не поддающийся никакой систематизации, он просто не мог существовать вообще. Но он был, существовал, как нечто прекрасное и само собой разумеющееся. Гренуй последовал за ним с робко бьющимся в груди сердцем, потому что ему казалось, что не он следует за запахом, а что запах его пленил и неотвратимо тянул к себе.

Он шел вверх по улице Сены. На улице не было ни души. Дома стояли пустые и тихие. Все люди были внизу у реки на фейерверке. Ему не мешали никакие изнурительные человеческие запахи или эта едкая пороховая вонь. Улица пахла обычными запахами воды, фекалий, крыс и овощных отбросов. Но над всем этим парила нежно и ясно лента, указывающая Греную путь. Через несколько шагов слабый свет ночного неба был поглощен высокими домами, и дальше Греную пришлось идти в темноте. Ему ничего не нужно было видеть. Его надежно вел запах.

Через пятьдесят метров он свернул направо на улицу Марэ, совершенно темный, едва достигающий размаха

рук в ширину переулков. Странно, но запах не становился намного сильнее. Он стал лишь более чистым, и поэтому, из-за своей все более увеличивающейся чистоты, его притягательная сила становилась все больше. Гренуй шел не по собственной воле. На каком-то месте запах жестко увлек его вправо, видимо прямо в стену какого-то дома. Там оказался низкий проход, ведущий в задний двор. Словно сомнамбула Гренуй прошел сквозь этот проход, пересек задний двор, свернул за угол, дошел до второго заднего двора, поменьше, и здесь наконец стало светло. Четырехугольная площадь была всего в несколько шагов длиной. У стены вперед выдавалась покатаая деревянная крыша. На столе под ней стояла свеча. За столом сидела девушка и чистила сливы. Она брала их из корзины, стоявшей слева от нее, отрывала корешки, при помощи ножа вынимала косточки и бросала плоды в ведро. Ей было приблизительно лет тринадцать-четырнадцать. Гренуй остановился. Он сразу же понял, что было источником запаха, который он почувствовал дальше, чем за полмили отсюда, на другом берегу реки: не этот грязный задний двор, не сливы. Источником была девушка.

На какое-то мгновение он сильно смутился, затем подумал, что еще ни разу в своей жизни ему не приходилось видеть чего-то более прекрасного, чем это девочка. При этом он видел всего лишь ее силуэт, да и то сзади, в свете свечи. Конечно же он думал, что никогда не нюхал ничего более прекрасного. Но хотя ему и были известны человеческие запахи, многие тысячи, запахи мужчин, женщин, детей, он был не в состоянии принять мысль, что такой изысканный запах мог исходить от человека. Обычно люди пахли невыразительно или противно. Дети пахли пошло, мужчины — мочой, резким потом и сыром, женщины — прогорклым жиром и порченной рыбой. В высшей степени неинтересно, отталкивающе пахли люди... И так

случилось, что Гренуй впервые в жизни не доверился своему носу и был вынужден призвать себе на помощь глаза, чтобы убедиться в том, что же за запах он чуял. На самом деле смущение ума продолжалось недолго. Ему действительно понадобилось лишь мгновение, чтобы убедиться оптически и снова еще раз безоговорочно довериться восприятию своего обоняния. И вот он *нюхал*, что это был человек, вдыхал запах пота ее плеч, жира ее волос, рыбный запах ее лона, втягивал в себя с огромным наслаждением. Ее пот благоухал так свежо, как морской ветер, жир на ее волосах — столь же сладко, как ореховое масло, ее плоть, как букет водяных лилий, кожа, как цветок абрикоса... а сочетание всех этих компонентов давало аромат столь богатый, столь сбалансированный, столь волшебный, что все, что до сих пор Гренуй познал в мире запахов, все, что он сам, играя, создал в своем сознании, возводя сооружения из запахов, показалось в один момент совершенно бессмысленным. Сотни тысяч запахов казались теперь ничего не стоящими по сравнению с одним этим запахом. Этот, единственный, был высшим принципом, по образцу которого должны были строиться и располагаться все остальные. Это был не запах, а настоящая красота.

Для Гренуя было ясно, что без обладания этим запахом его жизнь становилась бессмысленной. Он должен был его изучить до мельчайшей подробности, до самого последнего и самого нежного нюанса; простого комплекса воспоминаний о нем было недостаточно. Словно чеканным штампом он хотел вдавить, впрессовать божественный запах в хаос своей черной души, исследовать его до последней мелочи и впредь думать только лишь о внутренней структуре этой волшебной формулы, жить ею, вдыхать ее.

Он медленно направился к девушке, подходил все

ближе, зашел под навес и остановился в одном шаге позади нее. Она его не слышала.

У нее были рыжие волосы, и она была одета в серое платье без рукавов. Руки ее были очень белыми, а пальцы — желтыми от сока разрезанных слив. Гренуй, склонившись, стоял над ней и втягивал в себя ее запах уже без всяких примесей, таким, каким он исходил от нее, от ее затылка, от ее волос, из выреза ее платья, он давал ему вливаться в себя, как сочному ветру. Еще никогда он не чувствовал себя так прекрасно. Но девушке вдруг стало холодно.

Она не видела Гренуя. Но у нее возникло беспокойное чувство, странный озноб, которые появляются тогда, когда вдруг охватывает старый, забытый страх. Ей казалось, что по ее спине гуляет холодный сквозняк, будто бы кто-то открыл дверь, ведущую в огромный холодный погреб. И она отложила кухонный нож, прижала руки к груди и обернулась.

Увидев его, она так оцепенела от страха, что у него оказалось достаточно времени, чтобы схватить ее руками за шею. Она не издала ни звука, не пошевелилась, не сделала ни единого движения, чтобы защититься. Он же на нее даже не посмотрел. Он не видел ее симпатичного, усыпанного веснушками лица, красного рта, больших искрящихся зеленых глаз, потому что глаза его были крепко закрыты, пока он ее душил, и его волновало лишь то, чтобы не упустить ни малейшей капли ее запаха.

Когда она была мертва, он опустил ее на землю прямо на сливовые косточки, разорвал на ней платье, и струя запаха превратилась в поток, который переполнял его своим ароматом. Он рванулся к ней, прислонил лицо к ее коже и, прижавшись к ней широко раздутыми ноздрями, стал водить ими от живота к груди, к шее, по лицу и волосам, затем снова к животу, вниз к ее плоти, к ее ляжкам, к ее белым ногам. Он обнюхивал ее с головы до пальцев

ног, он собирал последние остатки ее запаха на подбородке, на пупе и подмышках.

Вынюхав ее до последнего запаха, он какое-то время еще посидел рядом с ней на корточках, чтобы немного прийти в себя, ибо он был ею переполнен. Он не хотел пролить ни капли ее запаха. Поначалу ему пришлось плотно закрыть свои внутренние переборки. Затем он встал и задул свечу.

В это время с песнями и криками «Виват!» стали возвращаться первые зеваки с фейерверка, поднимаясь по улице Сены. Гренуй приюхался к темноте переулка и в сторону улицы Птиз-Огюстен, идущей параллельно улице Сены к реке. Чуть позже обнаружили убитую. Поднялся крик. Зажгли факелы. Гренуй давно уже был на другом берегу.

В эту ночь его чулан показался ему дворцом, а деревянные нары — небесной постелью. Что касается счастья, то до этого времени он его просто не знал. Даже состояние глухого удовлетворения он переживал чрезвычайно редко. Сейчас же он просто дрожал от счастья и от блаженства просто не мог заснуть. Ему казалось, что он во второй раз родился, нет, не во второй, в первый раз, ибо пока что он существовал как животное, в высшей степени туманно осознавая себя самого. Что же касается сегодняшнего дня, ему показалось, что он наконец понял, кто же он на самом деле: а именно никто иной, как гений; и что жизнь его имеет смысл, и цель, и направленность, и высшее предназначение, а именно: не меньшее, чем насильственно изменить мир запахов; и что он, лишь он один во всем мире обладал всеми средствами для этого, а именно: его исключительный нос, его феноменальная память и, что самое важное, запавший в память запах этой девушки с улицы Марэ, в котором волшебным образом содержалось все, что составляло настоящий запах, аромат: нежность, силу, время, многогранность и пугающую кра-

соту, которой нельзя было противостоять. Он нашел компас своей будущей жизни. И как все гениальные изверги, у которых вследствие внешнего события прокладывается прямой путь в спиральный хаос их душ, Гренуй больше не отвергал того, что, как ему казалось, он определил направлением своей жизни. Теперь ему стало ясно, почему он так жестко и упорно цеплялся за жизнь: ему было суждено стать творцом запахов. И не просто каким-нибудь. А величайшим парфюмером всех времен.

Еще этой же ночью он тщательно проверил, сначала осознанно, а затем во сне, то, что было собрано в его памяти. Он проверил миллионы и десятки миллионов кирпичиков запахов и привел их в систематизированный порядок: хорошее к хорошему, плохое к плохому, прекрасное к прекрасному, грубое к грубому, вонючее к вонючему, благоуханное к благоуханному. В течение следующей недели этот порядок становился все более организованным, каталог запахов все более содержательным и дифференцированным, иерархия все более явной. И уже вскоре он смог начать сооружение продуманных строений из запахов: домов, стен, ступеней, башен, погребов, комнат, скрытых покоев... изо дня в день расширяющаяся, изо дня в день становившаяся красивее и совершеннее внутренняя крепость самых изысканных композиций запаха.

То, что ради этого великолепия было совершено убийство, ему было совершенно безразлично, если он вообще об этом думал. Портрет девочки с улицы Марэ, ее лицо, ее тело он вспомнить больше не мог. Он сохранил самое лучшее, что у нее было, и сделал его своим собственным: принцип ее запаха.

В то время жила добрая дюжина парфюмеров. Шестеро из них жили на правом берегу, шестеро — на левом, а один — точно посередине, а именно на мосту Менял, который соединял правый берег с островом Сите. Этот мост был с обеих сторон так густо застроен четырехэтажными зданиями, что при переходе ни в одном месте нельзя было увидеть реку, он выглядел как совершенно нормальная, построенная на земной тверди и, кроме того, внешне элегантная улица. На самом же деле мост Менял слыл одной из лучших торговых улиц города. Здесь располагались самые известные магазины, здесь работали золотых дел мастера, инкрустаторы черного дерева, лучшие парикмахеры и мастера-сумочники, изготовители наилучшего женского белья и чулок, плотники, торговцы сапогами для верховой езды, вышивальщицы эполет, литейщики золотых пуговиц и банкиры. И здесь же находился торговый и жилой дом парфюмера и изготовителя перчаток Джузеппе Балдини. Над его витриной был натянут роскошный, выкрашенный в зеленый цвет балдахин, рядом с ним висел герб Балдини, сделанный из золота: золотой флакон, из которого рос букет золотых цветов; перед дверью лежал красный ковер, на котором также был изображен герб Балдини, тоже вышитый золотом. Когда открывалась дверь, слышался перезвон персидских колокольчиков, а две серебряные цапли начинали извергать из своих клювов фиалковую воду в позолоченную чашу, которая была тоже сделана в форме флакона с герба Балдини.

За конторкой из бука стоял сам Балдини, старый и неподвижный, как колонна, в серебристом припудренном парике и голубом с вышитыми золотыми галунами платье. Облачко франжипановой воды, которой он брызгался каждое утро, почти видимо окутывало его персону и уносило в туманную даль. В своей неподвижности он выгля-

дел так, словно был частью обстановки. Лишь когда раздавался звон колокольчиков и когда цапли начинали извергать фиалковую воду — и то, и другое случалось не так уж часто, — в него вдруг, казалось, вселялась жизнь, его фигура как-то ссутуливалась, становилась маленькой и проворной и с подобострастными поклонами выскальзывала из-за конторки так быстро, что франжипановое облячко едва за ним попевало, и он предлагал посетителю сесть для демонстрации самых утонченных духов и изысканной косметики.

А их было у Балдини тысячи. Его предложения простирались от чистых эссенций, цветочных масел, настоев, экстрактов, секретов, бальзамов, смол и других химических в сухом, жидком или воскообразном состоянии до разнообразных видов помады, пасты, пудры, мыла, кремов, мазей, брильянтинов, фиксатуаров, капель от бородавок и мушек, жидких добавок для принятия ванн, лосьонов, ароматических солей, туалетной воды и несметного количества всевозможных духов. Но Балдини не довольствовался этими продуктами классического ухода за красотой. Его честолюбие заключалось в том, чтобы собрать в своем магазине все, что имело какой-то аромат или каким бы то ни было образом служило созданию аромата. Поэтому рядом с ароматическими лепешками, ароматическими свечами и ароматическими лентами стояли всяческие пряности: от семян аниса до коры корицы, сиропов, ликеров и фруктовых вод, вин с Кипра, из Малаги и Коринфа, меда, кофе, чая, сушеных и засахаренных фруктов, инжира, карамели, шоколада, съедобных каштанов, и даже маринованных каперсов, огурцов и лука, и тунца в маринаде. А затем снова ароматизированный сургуч, надушенная писчая бумага, пахнущие розой чернила для любовных посланий, письменные наборы из испанской кожи с подставками из сандалового дерева для перьев, ящичками и ларцами из кедра, подставки и чаши для ле-

пестков, сосуды для фимиама из меди, флаконы и горшочки из хрусталя с отшлифованными крышками из янтаря, ароматизированные перчатки, носовые платки, заполненные мускатным цветом подушечки для иголок и обработанные мускусом обои, которые могли заполнять комнату этим ароматом больше сотни лет.

Конечно все эти товары не были разложены на помпезных, выходящих на улицу (или на мост) полках. Из-за отсутствия подвала не только кладовые дома, но и весь второй и третий этажи, а также почти все выходящие на реку комнаты первого этажа были вынуждены служить складом. Следствием этого был невообразимый хаос запахов в доме Балдини. Некоторые продукты были очень изысканными — Балдини покупал лишь товары наивысшего качества, — но их совместное ароматическое «звучание» было настолько же невыносимо, как и оркестр с тысячами музыкантов, в котором каждый исполнитель играет другую мелодию фортиссимо. Сам Балдини и его служащие воспринимали этот хаос притупленно, как стареющие дирижеры, которые, как правило, все глуховаты, а его жена, которая жила на четвертом этаже и ожесточенно обороняла его от дальнейшего расширения складов, многие запахи воспринимала разве что как мешающие. Другое дело — посетитель, который впервые попадал в магазин Балдини. Стоявшая там смесь ароматов была ему в лицо, словно кулаком, делала его, в зависимости от его конституции, экзальтированным или оглушенным, во всяком случае смешивало его сознание так, что зачастую он уже и не знал, зачем он вообще сюда пришел. Посыльные забывали о своих заданиях. Своенравные мужчины размякали. А у некоторых дам случался полуйстерический, полуклаустрофобный приступ, они падали в обморок, и привести их снова в чувства можно было при помощи самой резкой ароматической соли из гвоздичного масла, аммиака и камфарного спирта.

Учитывая все это, не стоило удивляться, что персидская колокольная мелодия на двери Джузеппе Балдини звучала все реже и все реже серебряные цапли извергали из себя жидкость.

10

— Шенье! — крикнул Балдини из-за конторки, где он неподвижно стоял часами, неотрывно глядя на дверь, — наденьте ваш парик!

Между бочками с оливковым маслом и висящей ветчиной из Байонна появился Шенье, приказчик Балдини, несколько моложе, чем тот, но тоже уже старый человек, и прошел вперед в самый изысканный отдел магазина. Он вытащил парик из кармана платья и нахлобучил себе на голову.

— Вы куда-то идете, господин Балдини?

— Нет, — ответил Балдини, — я на несколько часов удалюсь в свой кабинет и хочу, чтобы мне абсолютно никто не мешал.

— А, я понимаю! Вы работаете над новыми духами.

БАЛДИНИ: Именно так. Для придания аромата испанской коже для графа Верамона. Он потребовал чего-то совершенно нового. Он требует чего-то, как... как... мне кажется, это называется «Амур и Психея», то, что он требует, и вроде бы исходит от этого... этого дилетанта с улицы Сент-Андре-дез-Ар, этого... этого...

ШЕНЬЕ: Пелисье.

БАЛДИНИ: Да. Пелисье. Правильно. Этого дилетанта зовут именно так. «Амур и Психея» от Пелисье. Вам это известно?

ШЕНЬЕ: Да-да. Конечно-конечно. Этот запах сейчас повсюду. Им пахнет на каждом углу. Но если вы меня спросите — ничего особенного! Это наверняка ни в коем

случае не сможет сравниться с тем, что создадите вы, господин Балдини.

БАЛДИНИ: Конечно нет.

ШЕНЬЕ: Они пахнут в высшей мере обычно, эти «Амур и Психея».

БАЛДИНИ: Вульгарно?

ШЕНЬЕ: Совершенно вульгарно, как и все у Пелисье. Мне кажется, что в его состав входит масло сладкого лимона.

БАЛДИНИ: Правда? А что еще?

ШЕНЬЕ: Может быть эссенция из апельсинового цвета. И еще может быть розмариновая настойка. Но уверенно я этого сказать не могу.

БАЛДИНИ: Меня это совершенно не интересует.

ШЕНЬЕ: Конечно.

БАЛДИНИ: Мне совершенно безразлично, что этот халтурщик Пелисье подмешал в свои духи. Я даже ни разу не воспользуюсь ими для работы.

ШЕНЬЕ: Здесь вы совершенно правы, мосье.

БАЛДИНИ: Как вам известно, я вообще ничего такого для работы не использую. Как вам известно, я разрабатываю мои духи.

ШЕНЬЕ: Я знаю, мосье.

БАЛДИНИ: Рождаю их из себя самого.

ШЕНЬЕ: Я знаю.

БАЛДИНИ: И я думаю сотворить для графа Верамона что-то такое, что действительно произведет фурор.

ШЕНЬЕ: Я в этом уверен, господин Балдини.

БАЛДИНИ: Вы примите магазин. Мне нужен покой. Не пускайте ко мне никого, Шенье...

И с этим он пошаркал, уже совсем не похожий на изваяние, а так, как это сочетается с его возрастом, согнувшись, словно побитый, и стал медленно подниматься по лестнице на второй этаж, где находился его кабинет.

Шенье занял место за конторкой, встал точно в такую же позу, в которой до него стоял здесь мастер, и неподвижным взглядом уставился в дверь. Он знал, как все будет происходить в последующие часы, а именно: совершенно ничего — в магазине, а наверху, в рабочем кабинете Балдини — обычная катастрофа. Балдини снимет свое синее, пропитанное франжипановой водой платье, сядет за письменный стол и станет ждать вдохновения. Вдохновение это придти никак не будет. Тогда он поспешит к шкафу с сотнями бутылочек для опытов и примется их наугад смешивать. Эта смесь не удастся. С проклятиями он распахнет окно и швырнет ее в реку. Он станет пробовать еще что-то, но и оно не получится, тогда он станет кричать и буйствовать, и в уже одурманивающе пахнущем кабинете у него начнутся приступы крика и воя. Около семи часов вечера он жалко спустится вниз, будет дрожать и плакать и скажет: Шенье, у меня больше нет носа, я не могу больше рождать духи, я не могу отправить графу испанскую кожу, я кончен, внутренне я мертв, я хочу умереть, пожалуйста, Шенье, помогите мне умереть! И Шенье предложит послать к Пелисье, чтобы купить там бутылочку «Амура и Психеи», и Балдини согласится при условии, что ни один человек не узнает об этом позоре, Шенье поклянется, и ночью они потихоньку обработают кожу для графа Верамона чужими духами. Так оно будет и никак иначе, и Шенье желал лишь того, чтобы этот театр поскорее закончился. Балдини больше не был великим парфюмером. Да, раньше, в молодости, когда ему было тридцать, сорок лет, тогда он создал «Розу Юга» и «Галантный букет Балдини», два действительно великих запаха, благодаря которым он сколотил свое состояние. Но теперь он был уже стар и выжат и не мог больше угнаться за современной модой, и ему были неведомы новые вкусы людей, и если он вообще сможет еще хоть раз сварганить свой собственный запах, то получится совер-

шенно старомодная, непродаваемая вещь, которую они через год в десять раз разбавят и станут продавать как добавку к воде для фонтанов. Жаль его, — подумал Шенье и, глядя в зеркало, проверил, правильно ли сидит на его голове парик, — жаль старого Балдини, жаль его хорошего дела, потому что он потянет его вниз, и жаль меня, ибо до того времени, пока он его завалит, я буду уже слишком стар, чтобы его принять...

11

Джузеппе Балдини действительно снял свое пропитанное ароматом платье, но только лишь по старой привычке. Аромат франжипановой воды уже давно не мешал ему, он уже долгие десятилетия следовал за ним, и Балдини уже совершенно его не воспринимал. Он закрыл дверь своего рабочего кабинета и действительно оказался в тишине, но за письменный стол не сел, чтобы погрузиться в раздумья и ждать прихода вдохновения, ибо ему было известно намного лучше, чем Шенье, что вдохновение его не посетит; на самом деле оно его не посещало никогда. Правда, он был старым и выжатым, и больше не был великим парфюмером; но он знал, что в жизни им никогда и не был. «Розу Юга» он унаследовал от своего отца, а рецепт «Галантного букета Балдини» купил у заезжего торговца пряностями из Генуи. Остальные его духи были давно известными смесями. Создать что-то новое ему пока что еще не удалось. Он не был творцом. Он был аккуратным изготовителем известных запахов, он был, как повар, который рутинной работой и хорошими рецептами создал хорошую кухню, но никогда еще не создал своего собственного блюда. Весь фокус с лабораторией и экспериментами, и инспирациями, и игрой в секретность он прodelывал лишь из-за того, что принадлежал к про-

фессиональному сословию парфюмеров и перчаточников. Парфюмер — это был наполовину алхимик, который творил чудо, так это хотели видеть люди — именно так! То, что его искусство было ремеслом, как и любое другое, — это знал лишь он сам, и это было его гордостью. Да он совершенно и не хотел быть творцом. Творение казалось ему весьма сомнительным, ибо оно всегда значило крушение какого-нибудь правила. Он даже не думал о том, что нужно создать новые духи для графа Верамона. Он даже не дал бы Шенью уговорить себя сегодня вечером купить у Пелисье «Амура и Психею». Они уже были у него. Они стояли здесь, на письменном столе у окна, в маленьком стеклянном флаконе с полированной крышечкой. Он купил их еще несколько дней назад. Конечно же не лично. Ведь не мог же он самолично отправиться к Пелисье и купить у него духи! А сделал он это через посредника, который, в свою очередь, через другого посредника... Нужно было соблюдать осторожность. Потому что Балдини собирался использовать духи не просто для обработки испанской кожи, для этого такого маленького количества просто бы не хватило. У него на уме было кое-что похуже: он хотел их скопировать.

В общем-то это не было запрещено. Это было просто до крайней степени некрасиво. Тайно подделывать духи какого-нибудь из своих конкурентов и продавать их под своим именем было страшно некрасиво. Но быть застигнутым за этим делом было еще более некрасивым, и поэтому Шенью не должен был ничего об этом знать, потому что Шенью был болтлив.

Ах, как плохо, что, будучи честным человеком, вынужден рассматривать возможность идти такой кривой дорожкой! Как плохо, что самое ценное, что имеешь, свою собственную честь, приходится пятнать столь мелким образом! Но что же ему делать? В любом случае граф Верамон был клиентом, которого терять было нельзя. Он и без

того был едва ли не единственным клиентом. Балдини был вынужден теперь снова бегать за клиентурой, как в начале двадцатых годов, когда он лишь начинал свою карьеру и бродил с лотком разносчика по улицам. Бог свидетель, он, Джузеппе Балдини, владелец самого большого в Париже магазина ароматических веществ, расположенного в наилучшем месте, с финансовой стороны смог бы продержаться, если бы с чемоданчиком в руке пошел по домам. А это ему не нравилось совершенно: ему было уже далеко за шестьдесят и он ненавидел ждать в холодной прихожей и демонстрировать старым маркизам туалетную воду из тысячи цветов и настойку четырех разбойников или убалтывать их на покупку мази против мигрени. Кроме того, в этой прихожей всегда царила гнусная конкуренция. Там был этот выскочка Бруэ с улицы Дофина, который говорил, что у него самая обширная программа относительно помад в Европе; или Кальто с улицы Монконсей, который стал поставщиком двора графини Артуа; или этот совершенно непредсказуемый Антуан Пелисье с улицы Сент-Андре-дез-Ар, который раз в году выстреливал новый аромат, от которого весь мир сходил с ума.

Да, духи от Пелисье могли привести в беспорядок весь мир. Если в какой-то год в моде была «Венгерская вода», и Балдини соответственно закупал лаванду, бергамот и розмарин, чтобы удовлетворить спрос, — то Пелисье выходил с «Истомой», сверхтяжелым мускатным запахом. Все люди вдруг испытывали потребность в зверином запахе, и Балдини оставалось перерабатывать свой розмарин на жидкость для волос, а лаванду зашивать в ароматические мешочки. Если же на следующий год он заказывал достаточное количество мускуса, цибетина и кастора, Пелисье приходило в голову создать духи под названием «Лесной цветок», которые моментально приобретали успех. И стоило Балдини наконец в результате бесконечных

ночных опытов или благодаря крупной взятке установить, из чего же состоит «Лесной цветок» — Пелисье снова выкладывал козырь в виде «Турецких ночей», или «Лиссабонского аромата», или «Букета королевского двора», или еще черт знает чего. Этот человек в любом случае с его необузданным творческим духом представлял опасность для всего дела. Все желали возврата жесткого цехового права. Желали самых драконовских мер против этого выскочки, против этого инфляциониста ароматов. Нужно было изъять у него патент, запретить заниматься этим ремеслом... и вообще парню следовало бы сначала пойти учиться! Ибо он не был дипломированным парфюмером и мастером-перчаточником, этот Пелисье. Отец его был никем иным, как варщиком уксуса, и таким же варщиком уксуса был и Пелисье, и ничем больше. И лишь потому, что он, как варщик уксуса, имел право обращаться со спиртосодержащими смесями, он вообще смог вломиться в то, что называлось настоящей парфюмерией и навонять там, словно хорек. Кому нужно было появление раз в году нового запаха? Разве была в этом необходимость? Ведь была же публика и раньше очень довольна фиалковой водой и простыми цветочными букетами, которые немного изменяли примерно раз в десять лет. На протяжении тысячелетий люди довольствовались фимиамом и миррой, несколькими бальзамами, маслами и сушеными пикантными травами. И даже когда научились перегонять все это с колбами и змеевиками, вычленять при помощи водяного пара из трав, цветов и дерева ароматическую его сущность в форме эфирных масел, выдавливать ее дубовыми прессами из семян, косточек и фруктовой кожуры или извлекать тщательно профильтрованные масла из лепестков, количество запахов было все еще весьма скромным. В то время такая фигура, как Пелисье, была совершенно невозможна, ибо тогда для производства нужны были такие способности, о которых этот разба-

витель уксуса не мог даже и мечтать. Нужно было не только владеть искусством перегонки, нужно было еще быть и изготовителем мазей, и аптекарем, алхимиком и ремесленником, торговцем, гуманистом и садовником одновременно. Нужно было уметь отличить почечное сало барана от молодого говяжьего жира и викторианскую фиалку от такой же из Пармы. Нужно было владеть латынью. Нужно было знать, когда надо собирать гелиотроп, и когда цветет герань, и что цветы жасмина теряют с восходом солнца свой аромат. Об этих вещах Пелисье безусловно не имел ни малейшего понятия. Вероятно, за всю свою жизнь он еще ни разу не выезжал из Парижа и еще ни разу не видел цветущего жасмина. Не говоря уже о том, что он не затратил и доли того гигантского труда, чтобы из сотен тысяч лепестков жасмина выжать маленький сгусток твердого вещества или несколько капель абсолютной эссенции. Вероятно, он знал его лишь таким, знал жасмин лишь в виде концентрированной темно-коричневой жидкости, стоявшей в металлическом шкафу в маленькой бутылочке рядом со многими другими бутылочками, из которых он смешивал свои модные духи. Нет, такая фигура, как этот наглец Пелисье, в старые добрые цеховые времена не смогла бы ступить и шага. Для этого у него не было ничего: характера, образования, скромности и понимания цеховой субординации. Своими парфюмерными успехами он был обязан лишь только одному единственному открытию, которое сделал уже двести лет назад гениальный Маурициус Франжипани — между прочим итальянец! — и которое состояло в том, что ароматические вещества растворяются в винном спирте. Смешивая свои ароматические порошочки со спиртом и перенося этим самым их аромат в летучую жидкость, Франжипани освободил аромат от материи, одушевил аромат, создал аромат, как чистый запах, короче: создал духи. Что за деяние! Какой эпохальный успех!

Сравним действительно разве что с величайшими достижениями рода человеческого, как изобретение письменности ассирийцами, Евклидова геометрия, идеи Плато и превращение винограда в вино греками. Действительно деяние Прометея!

И все-таки как и все великие деяния духа не только озаряют светом, но и бросают тень и несут человечеству вместе с благодеяниями еще и неприятности и невзгоды, так, к сожалению, и прекрасное открытие Франжипани имело дурные последствия. Когда научились заключать дух цветов и трав, деревьев, смол и животных секретов в настоях и разливать его по бутылочкам, искусство парфюмерии стало все больше и больше ускользать от немногих универсальных знатоков этого ремесла и открылось для шарлатанов, даже если у них было всего лишь сносное обоняние, как, например, этот хорек Пелисье. Нимало не заботясь о том, как возникало прекрасное содержимое его бутылочек, он мог полагаться только лишь на свое обонятельное настроение и смешивать все, что ему только приходило в голову или чего как раз хотела публика.

Наверняка этот урод Пелисье в свои тридцать пять лет уже сейчас обладал большим состоянием, чем он, Балдини, у которого оно наконец скопилось в результате упорной работы трех поколений. А состояние Пелисье изо дня в день прибавлялось, в то время как его, Балдини, изо дня в день уменьшалось. Ничего подобного раньше просто и быть не могло! То, что уважаемый ремесленник и имеющий хорошую репутацию коммерсанта должен был прямо-таки бороться за свое существование, такое возникло лишь пару десятилетий назад! С тех пор повсюду и во всех областях разразилась лихорадочная страсть к новаторству, это безоговорочное стремление к деятельности, это яростное экспериментаторство, эта мания величия в торговле, в общении, в науке!

А это сумасшествие со скоростями! Зачем нужно это множество новых дорог, которые копают и прокладывают повсюду, и эти новые мосты? Зачем? Какое преимущество в том, что до Лиона можно доехать за неделю? Кому от этого стало лучше? Кто от этого выиграл? Или перебраться через Атлантику, домчатся за месяц до Америки — как будто не обходились прекрасно в течение тысячелетий и без этого континента. Что потерял цивилизованный человек в дремучих лесах индейцев или у негров? Они даже отправлялись в Лапландию, которая находится на Севере, в вечных льдах, где живут дикари и жрут сырую рыбу. Они хотели открыть еще и следующий континент, который вроде бы находился где-то в южных морях или еще где-нибудь. Так зачем же нужно это безумие? Да потому что другие тоже этим занимались: испанцы, проклятые англичане, наглые голландцы, с которыми потом надо было бы драться, что вообще не представлялось возможным. 300000 ливров стоит, по большому счету, такой военный корабль, а тонет всего за пять минут после выстрела пушки, после чего его, оплаченного из наших налогов, уже никто и никогда не увидит. Десятую часть всех доходов требует теперь господин министр финансов, а это разорительно даже тогда, когда эту часть не платишь, ибо вся твердость духа уже подорвана.

В основе всех бед человека лежит то, что он не хочет тихо сидеть в своей комнате, там, где ему положено быть. Так говорит Паскаль. Но ведь Паскаль был великим человеком, Франжипани духа, ремесленник в полном смысле этого слова, но на таких сегодня спроса нет. Сейчас они читают крамольные и подстрекательские книги гугенотов или англичан. Или пишут трактаты или так называемые великие научные труды, в которых они все и вся ставят под вопрос. Все вдруг перестало соответствовать всему, и

все теперь должно вдруг стать другим. С недавних пор в стакане воды, оказывается, плавают очень маленькие зверюшки, которых раньше никто не видел; сифилис теперь, оказывается, совершенно нормальная болезнь, а не кара Господня; Бог, оказывается, сотворил мир не за семь дней, а за миллионы лет, если он вообще был; дикари — такие же люди, как и мы; детей наших мы воспитываем неправильно; а Земля уже не круглая, как считали раньше, а сплюснутая сверху и снизу, как тыква. В каждой области жизни ставились вопросы, и копали вглубь, и исследовали, и вынюхивали, и всюю ставили эксперименты. Теперь уже недостаточно, если кто-то говорит, что оно есть и как оно есть — все теперь должно быть еще и доказано, лучше всего в присутствии свидетелей, и с цифрами, и с какими-нибудь дурацкими опытами. Эти Дидро, и Даламберы, и Вольтер, и Руссо, и как там всех этих писак — среди них оказались даже духовные отцы и отцы дворянства! — они действительно сделали это, свое собственное коварное беспокойствие, даже дух неудовлетворенности всем и недовольства всем в мире, короче: перенесли безграничный хаос, царящий в их головах, на все общество!

Куда ни посмотри, везде господствовала лихорадочная спешка. Люди читали книги, даже женщины. Священники сидели в кофейнях. И если налетала полиция и сажала в тюрьму одного из тех крупнейших негодяев, то поднимали вой газетчики и подавали петиции, и господа и дамы из высшего общества использовали все свое влияние, пока его через несколько недель не освобождали или не высылали за границу, где он продолжал беззаботно писать свои памфлеты. В салонах болтали только лишь об орбитах комет и экспедициях, о грузоподъемностях и о Ньютоне, о строительстве каналов, кровообращении и размерах земного шара.

И даже король позволил продемонстрировать себе одно из новомодных безумных изобретений, своеобразную искусственную грозу под названием электричество: на глазах у всего двора какой-то человек натирал какую-то бутылку, она засветилась, и Его Величество, как повсюду говорят, был этим просто поражен. Невозможно себе представить, что его прадед, действительно великий Людовик, под плодотворным владычеством которого Балдини имел счастье жить, стерпел бы пред своими глазами столь глупую демонстрацию! Но все это было духом времени, и все это ничем хорошим не могло закончиться!

Ибо если бесцеремонно и самым наглым образом ставят под сомнение авторитет церкви Господней; если говорят о не менее, чем богоугодной монархии и священной личности короля, словно это были всего лишь изменчивые единицы в большом каталоге других форм правления, которые можно выбирать в зависимости от вкуса; если, наконец, заходят настолько далеко, как это и случилось, и на полном серьезе утверждают, выставляя самого Бога Всемогущего, Его Наибожественность ненужными, что порядок, обычай и счастье на земле не связано с ним, а возникли чисто из врожденной нравственности и человеческого разума сами по себе... о Боже, о Боже! — тогда конечно не стоит удивляться, что все становится с ног на голову, и нравы упали, и человечество навлекло на себя наказание того, от кого оно отреклось. Ничем хорошим это не кончится. Большая комета, появившаяся в 1681 году, над которой они смеялись, которую они изображали не иначе, как кучей звезд, но ведь она же была предостережением Господним, ибо показала она — теперь это же ясно, — век распада, растления духовного и политического, и религиозного болота, которое человечество само для себя сотворило и в котором оно в свое время само утонет,

и в котором могут пока еще процветать лишь такие переливчатые и вонючие болотные цветы, как этот Пелисье!

Он стоял у окна, старый человек Балдини, и ненавидящим взглядом смотрел против низкостоящего солнца на реку. Под ним появлялись груженные лодки и медленно скользили на запад к Новому мосту и порту перед галереями Лувра. Никто здесь не поднимался против течения, для этого использовали рукав по другую сторону острова. Здесь все лишь спускалось вниз по течению: пустые и груженные корабли, весельные лодки и плоские челноки рыбаков, грязно-коричневая вода с золотистыми барашками — все текло вниз, медленно, широко и безостановочно. И когда Балдини посмотрел вертикально вниз, прямо вдоль стены, ему показалось, что течение воды смывает и уносит фундамент моста и у него закружилась голова.

Было ошибкой покупать дом, стоящий на мосту, а ошибкой вдвойне — выбрать один из тех, что стоял на западной его стороне. Теперь же у него перед глазами постоянно была текущая вдаль река, и ему казалось, что вдаль несет и его самого, и его дом, и его накопленное за многие десятилетия богатство, как и эту реку, и что он был уже слишком стар и слишком слаб, чтобы сопротивляться этому мощному потоку. Иногда, когда он по делам бывал на левом берегу, в квартале у Сорбонны или у церкви Св.Сульпиция, то он не шел через остров и мост Сен-Мишель, а выбирал более длинный путь через Новый мост, потому что тот мост не был застроен. И там он становился на восточной его стороне и смотрел против течения реки, чтобы как минимум хоть раз увидеть, как все течет на него; и на несколько секунд он погружался в мысли, ему представлялось, что тенденция его жизни повернула вспять, дела процветают, семья тоже, от женщин нет отбоя и его жизнь вместо того чтобы таять, все набирает и набирает силу.

Но затем, едва приподняв глаза, он видел в нескольких сотнях метров свой собственный дом, до хрупкости узкий и высокий, на мосту Менял, он видел окно своего кабинета на втором этаже и самого себя, стоящим там у окна и смотрящим оттуда на реку и утекающую вдаль воду, как сейчас. И тогда прекрасные мечты улетали, и Балдини, стоя на Новом мосту, поворачивался с еще худшим настроением, чем прежде, с таким же плохим, как и сейчас, когда, отвернувшись от окна, он подошел к письменному столу и сел.

12

Перед ним стоял флакон с духами Пелисье. Золотисто-коричневая жидкость переливалась в солнечном свете без малейшего замутнения. Выглядела она совершенно невинно, как светлый чай, но все-таки содержала в себе наряду с четырьмя пятими спирта одну пятую таинственной смеси, которая могла привести в волнение весь город. Эта смесь опять-таки могла состоять из трех или из тридцати различных веществ, которые сочетались друг с другом в одном единственном, совершенно определенном, из неисчислимого числа возможных, количественном соотношении. Это была душа духов — насколько можно было говорить о душе у духов этого холодного дельца Пелисье,— и теперь было необходимо определить ее состав.

Балдини тщательно высморкался, прочистил нос и немного опустил жалюзи на окнах, потому что прямой солнечный свет был вреден любому ароматическому веществу и любой ароматической концентрации. Из ящика письменного стола он вынул свежий белоснежный платок и развернул его. Затем, слегка повернув крышку, он открыл флакон. При этом он откинул голову далеко назад и

плотно зажал ноздри, потому что он не хотел, чтобы аромат духов, упаси Господь, захватил его слишком быстро, прямо из бутылки. Духи нужно нюхать в расправленном, летучем состоянии, но никогда не в концентрированном виде. Он наклонил флакон и несколько капель духов упало на платок; он помахал им в воздухе, чтобы удалить оттуда спирт, и после этого поднес себе под нос. Тремя короткими, резкими толчками он втянул в себя запах, словно порошок, сразу же выдохнул его обратно, подмахнул его к себе рукой, втянул еще раз в тройном ритме и наконец сделал глубокий выдох, который он медленно и несколько раз прерывая выпустил из себя, словно пустил его скользить по длинной плоской лестнице. Он швырнул платок на стол и откинулся на спинку кресла.

Духи оказались до отвращения прекрасными. Этот низкий Пелисье был-таки, к сожалению, знатоком своего дела. Мастером, видит Бог, даже если он ничему и не учился! Балдини хотел бы, чтобы это были его, эти «Амур и Психея». Они ничем не напоминали обычные духи. Они были абсолютно классическими, мягкими и гармоничными. И тем не менее очаровательно новыми. Они были свежими, но не только внешне. Они пахли цветами, но не были слащавыми. В них была глубина, такая прекрасная, захватывающая, блаженная, темно-коричневая глубина — и в то же время ничуть не были перегружены или напыщены.

Балдини почти благоговейно встал и еще раз поднес носовой платок к носу. — Чудесно, чудесно... — бормотал он и жадно тянул носом. — У них ясный, светлый характер, они прелестны, они, словно мелодия, они прямо-таки создают хорошее настроение... Черт побери, хорошее настроение! — И он с яростью швырнул носовой платок обратно на стол, отвернулся и отошел в самый дальний угол комнаты, словно стыдясь своего собственного восторга.

Курам на смех! Бросаться такими восхвалениями. «Словно мелодия». «Ясные». «Чудесно». «Хорошее настроение». — Чушь! Детская чушь. Секундное впечатление. Старая ошибка. Вопрос темперамента. Возможно наследство от итальянских предков. Не оценивай ничего, пока ты нюхаешь! Это первое правило, Балдини, старая ты баранья голова! Нюхай, пока ты нюхаешь, а оценивай, когда ты уже понюхал! «Амур и Психея» — это недурные духи. Во всем удавшийся продукт. Изысканно составленная халтура. Если не сказать — иллюзия. И ничего другого как иллюзии ожидать от такого человека, как Пелисье, не приходится. Конечно, такой парень, как Пелисье, слепил недюжинные духи. Негодяй ослепил с наивысшим умением, смешал запахи с отличной гармонией, волком в овечьей шкуре классического искусства ароматов был этот человек, одним словом: чудовище с талантом. А это было хуже, чем халтурщик с истинной верой.

Но ты, Балдини, ты не дашь оставить себя в дураках. Ты лишь одно мгновение был очарован первым впечатлением от этой халтуры. Но разве можно знать, как они будут пахнуть через час, когда улетучатся его самые летучие субстанции и на первый план выйдут их основные составляющие? Или как будут они пахнуть сегодня вечером, когда будут восприниматься лишь те тяжелые, темные компоненты, которые сейчас в запахе заслонены, словно полумрак, приятными цветочными шлейфами? Выжди-ка, Балдини!

Второе правило гласит. Духи живут во времени: у них есть своя юность, своя зрелость и своя старость. И лишь только когда они на всех трех стадиях своей жизни испускают в одинаковой степени приятный аромат, их можно назвать удачными. И разве не случалось зачастую, что смесь, которую мы создаем, пахла при первой пробе великолепно и свежо, по прошествии же некоторого време-

ни — гнилыми фруктами, а потом вообще испускала отвратительный запах чистого цибетина, дозировка которого оказалась слишком высокой. И вообще осторожно с цибетином! Одна лишняя капля может вызвать катастрофу. Ошибка старая, как мир. Кто знает, быть может, Пелисье сыпанул туда слишком много цибетина? И, может быть, к сегодняшнему вечеру от его «Амура и Психеи» останется всего лишь запах кошачьей мочи? А мы посмотрим.

Мы их понюхаем. Так же, как острый топор разделяет деревянный чурбан на мельчайшие щепки, наш нос расщепит духи на все их части. И тогда окажется, что этот вроде бы волшебный аромат возник самым обычным, хорошо и давно известным способом. Мы, Балдини, парфюмер, выведем этого смешивателя уксуса Пелисье на чистую воду. Мы сорвем маску с его рыла и докажем этому новатору, на что еще способен старый ремесленник. Все будет смешано в том же самом сочетании, что и его модные духи. Они появятся и возродятся под нашими руками, скопированные столь идеально, что и охотничья собака не сможет отличить их от его собственных. Нет! Этого нам недостаточно! Мы их еще улучшим! Мы укажем ему на его ошибку и устраним ее, и таким образом ткнем его носом: Ты просто халтурщик, Пелисье! Ты просто маленькая вонючка! Карьерист и выскочка от парфюмерного ремесла и никто больше!

Теперь за работу, Балдини! Настроить нос и нюхать без всяких сантиментов! Разложить аромат по всем правилам искусства! До сегодняшнего вечера ты должен определил формулу!

И он снова сел за письменный стол, достал бумагу, чернила и свежий носовой платок, аккуратно все это разложил и приступил к своей аналитической работе. Она состояла в том, что он быстро проводил свеженамочен-

ным в духах платком под носом и пытался выхватить из тянущегося за ним ароматического облака одну или другую составляющую, не очень отвлекаясь от общей смеси составляющих, чтобы затем, когда он отводил платок на вытянутой руке подальше от себя, быстро записать название составляющего компонента и тут же снова провести рукой с платком возле носа, выхватить новый запах и так далее...

13

Два часа он непрерывно работал. И все более лихорадочными становились его движения, все более торопливыми — каракули из-под его пера на бумаге, все большим — количество духов, которое он выливал из флакона на платок и подносил себе под нос.

Сейчас он уже едва мог различать какие бы то ни было запахи, он уже давно был одурманен эфирными субстанциями, которые он вдыхал, не мог различить более ничего из того, что сначала планировал однозначно проанализировать. Он понимал, что нюхать дальше было совершенно бессмысленно. Ему вообще никогда не удастся установить, из чего же составлены эти модные духи, не удастся сегодня, не удастся и завтра, когда его нос, да будет это угодно Господу, снова отдохнет. Ему так никогда и не удастся научиться разлагать запах на составляющие его части. Разлагать на составляющие какой-либо запах, некое целое, составленное более или менее хорошо, разделять на элементарные его элементы было для него злополучным и отвратительным занятием.

Но его рука продолжала автоматически двигаться, тысячекратно отработанным изящным движением пропитывать идеально чистый носовой платок, встряхивать его

и тут же быстрыми движениями помахивать им перед лицом, и механически он выхватывал при каждом дуновении очередную порцию насыщенного ароматом воздуха и втягивал ее в себя, чтобы по всем законам искусства задержать ее в себе и выдохнуть обратно. До тех пор, пока его собственный нос, который буквально распух изнутри от аллергии и словно закрылся некой восковой пробкой, не избавил его от этих мук. Теперь он уже совершенно не мог различать запахи и вообще едва мог дышать. Нос был заложен, как при сильном насморке, а в уголках глаз собралась маленькие слезы. Слава Господу Небесному! Теперь он с чистой совестью мог закончить работу. Теперь он выполнил свой долг, сделал все возможное по всем правилам искусства и, как это зачастую случалось, потерпел фиаско. *Ultra posse nemo obligatur*. Конец. Завтра утром он пошлет к Пелисье за большой бутылкой «Амура и Психеи» и обработает ими испанскую кожу для графа Верамона, как и было заказано. А затем он возьмет свой чемоданчик со старомодным мылом, бутылочками, помадами и прочими подобными вещами и отправится по салонам старых герцогинь. А в один прекрасный день умрет и последняя из старых герцогинь, а вместе с этим и последняя из его клиенток. А тогда он и сам будет уже стариком, и ему придется продать свой дом, Пелисье ли, или кому-нибудь из других этих многообещающих торговцев. Может быть, он еще сможет получить за него несколько тысяч ливров. И он уложит один-два чемодана и отправится со своей старой супругой, если она к тому времени еще не будет мертва, в Италию. И если он переживет это путешествие, то купит себе маленький домик где-нибудь неподалеку от Мессины, где они недорого стоят. Там он, Джузеппе Балдини, в прошлом великий парижский парфюмер, и умрет в жалкой нищете, когда это будет угодно Господу. И так тому и быть.

Он закрыл флакон, отложил в сторону перо и в последний раз вытер пропитанным духами платком лоб. Он почувствовал прохладу испаряющегося спирта, но ничего больше. И тут солнце зашло окончательно.

Балдини встал. Он открыл жалюзи, и его тело до самых колен осветилось вечерним светом и вспыхнуло, словно сгоревший, тлеющий факел. Он видел темно-красную полоску солнца за Лувром и мягкий его огонь на шиферных крышах города. Под ним золотом сверкала река, корабли исчезли. Наверное, дул ветер, потому что порывы ветра словно несли над водой чешуйки, которые сверкали то там, то тут, все ближе, словно чья-то гигантская рука разбросала по воде миллионы золотых луидоров, и на какое-то мгновение стало казаться, что река потекла вспять: она текла по направлению к Балдини, сверкающий поток из чистого золота.

Глаза Балдини повлажнели и стали грустными. Какое-то время он продолжал неподвижно стоять и наблюдал за прекрасной картиной. Вдруг, неожиданно, он широко распахнул створки окна и швырнул флакон с духами Пелисье по высокой дуге вверх. Он видел, как флакон шлепнулся и на какое-то мгновение разорвал блестящий водный ковер.

В комнату ворвался свежий воздух. Балдини глубоко вздохнул и заметил, как опухоль в его носу сошла. После этого он закрыл окно. Почти в тот же момент наступила ночь, вдруг и сразу. Блестящая золотом панорама города и реки превратилась в серые силуэты. В одно мгновение в комнате стало темно. Балдини снова стоял в той же позе, что и прежде, и смотрел в окно. — Завтра я не стану посылать к Пелисье, — сказал он и обеими руками сжал спинку своего стула. — Я не стану этого делать. И я не стану ходить по салонам. А я пойду завтра к нотариусу и продам мой дом вместе с магазином. Именно это я сделаю. Баста!

На его лице появилось упрямое мальчишеское выражение, и он почувствовал себя вдруг очень счастливым. Он снова стал тем самым молодым Балдини, бесстрашным и решительным, как тогда, предоставив себя воле судьбы — даже если в этом случае предоставление себя воле судьбы и было отступлением. А даже если и так! Ничего другого не оставалось. Дурацкие времена не оставляли другого выбора. Господь дает хорошие и плохие времена, но он не хочет, чтобы мы в плохие времена причитали и жаловались, а хочет, чтобы мы оставались мужественными. И Он подал знак. Кроваво-красно-золотая иллюзорная картина города была предостережением: действуй, Балдини, пока еще не слишком поздно! Дом твой еще стоит прочно, склады твои еще полны, ты все еще можешь получить хорошую цену за твое идущее на убыль дело. Все решения зависят от тебя самого. Скромно состариться в Мессине — хотя это и не было целью жизни, но это все же более почетно и богоугодно, чем помпезно разориться в Париже. Пускай себе Бруз, Кальто и Пелисье спокойно празднуют триумф. Джузеппе Балдини выходит из игры. Но делает он это по собственному желанию и с высоко поднятой головой.

Теперь он просто-таки гордился собой. И чувствовал бесконечное облегчение. Впервые за многие годы его спину отпустили застарелые боли, сковывавшие затылок и покорно округлявшие плечи, и он без всяких усилий стоял выпрямившись, раскованно и свободно, и был счастлив. Дыхание его свободно проходило сквозь нос. Он явно чувствовал запах «Амура и Психеи», который заполнял комнату, но он больше не давал ему себя покорить. Балдини изменил свою жизнь и чувствовал себя великолепно. Сейчас он поднимется к своей жене и поведаст ей о своем решении, а потом отправится пешком в Нотр-Дам и поставит свечу, чтобы поблагодарить Господа за милос-

тивный знак перста и за невероятную силу характера, которой Он одарил его, Джузеппе Балдини.

С почти юношеским порывом он набросил парик на свой лысый череп, влез в голубое платье, схватил фонарь, стоявший на письменном столе, и вышел из рабочего кабинета. Он как раз зажег сальную свечу на лестнице, чтобы осветить себе путь наверх к спальне, когда услышал, что на первом этаже раздался звонок. Это был не красивый персидский звонок двери магазина, а дребезжащий колокольчик на входе для посыльных, мерзкий звук, который всегда ему мешал. Время от времени он подумывал снять его и приказать заменить более приятным колокольчиком, но затем ему всегда становилось жалко денег; и теперь ему вдруг пришло в голову, что ему уже все равно; он продаст противный колокольчик вместе со всем домом. Пускай это действует на нервы его последователю!

Колокольчик задрезжал снова. Он прислушался к звукам снизу. Шенье уже наверняка ушел домой. Служанка тоже не торопилась подойти. Поэтому Балдини пришлось самому спуститься, чтобы открыть.

Он отодвинул запор, распахнул тяжелую дверь — и ничего не увидел. Темнота полностью поглотила свет от его свечи. Затем, очень постепенно, он смог различить маленькую фигурку ребенка или мальчика-подростка, который держал что-то в руках.

— Что тебе нужно?

— Я пришел от метра Грималя, я принес козы шкуры, — сказала фигура, подошла ближе и протянула Балдини руку, на которой висело несколько шкур. В свете свечи Балдини рассмотрел лицо мальчика, в глазах которого застыло боязливое ожидание. Стоял он согнувшись. Казалось, что он прячется за своей выставленной вперед рукой, как будто ожидает, что его ударят. Это был Гренуй.

Козьи шкуры для испанской кожи! Балдини вспомнил. Он заказал шкуры несколько дней назад у Грималья, самую мягкую выделанную кожу для письменной подставки графа Верамона, по пятнадцать франков за штуку. Но теперь они собственно были ему больше не нужны, он мог сэкономить деньги. С другой же стороны, если бы он просто так отправил мальчика обратно?.. Кто знает — это может оставить нелестное впечатление, станут много говорить, могут пойти слухи: Балдини стал слишком ненадежным, Балдини не получает больше заказов, Балдини не в состоянии больше оплачивать... И такие вещи были бы нежелательны, нет, нет, ибо подобные вещи могут максимально снизить цену магазина. Лучше взять эти ненужные шкуры. Никто не должен до поры до времени узнать, что Джузеппе Балдини изменил свою жизнь.

— Заходи!

Он пропустил мальчика в дом, и они поднялись в магазин, Балдини с фонарем впереди, Гренуй со своими шкурами вплотную за ним. Впервые в жизни Гренуй попал в парфюмерный магазин, в место, где запахи были не чем-то второстепенным, а самым настоящим образом были в центре интересов. Конечно, он знал все парфюмерные и аптечные магазины города, целыми ночами простаивал перед витринами, прижимался носом к щелям дверей. Он знал все запахи, которые там присутствовали, и часто составлял из них в своем сознании великолепнейшие духи. Таким образом, он не мог рассчитывать увидеть здесь что-то новое. Но точно так же, как музыкально одаренный ребенок мечтает увидеть оркестр вблизи или хоть раз подняться в церкви на хоры, к скрытому от взоров пульту органа, так и Гренуй загорелся желанием посмотреть на парфюмерию изнутри, и, когда он услышал, что

должен доставить кожи Балдини, был готов отдать все за то, чтобы ему разрешили произвести эту доставку.

И вот теперь он стоял в магазине Балдини, в том самом месте Парижа, где в маленьком помещении было собрано огромное количество профессиональных запахов. В мерцающем свете сальной свечи увидеть он многого не мог, лишь только тень конторки с весами, две цапли над сосудом, кресло для клиентов, темные полки вдоль стен, латунный прибор и белые этикетки на баночках и горшочках; и он не мог унюхать больше, чем он мог унюхать с улицы. Но он сразу же почувствовал серьезность, царившую в этих комнатах, хотелось даже сказать, священную серьезность, если бы для Гренуя слово «священный» имело бы какое-то значение; он чувствовал холодную серьезность, ремесленную рассудительность, сухую деловитость, которые просто впитались в каждый предмет мебели, в каждый прибор, в каждую бутылочку, баночку и горшочек. И пока он шел за Балдини, в тени Балдини, ибо Балдини не удосужился освещать ему путь, ему в голову пришла мысль, что его место здесь и нигде больше, что он здесь останется, что отсюда он перевернет мир.

Эта мысль была конечно же до гротескного нескромной. Не было ничего, действительно, совершенно ничего, что давало бы право на надежду какому-то пришлому подсобному рабочему кожевенной мастерской сомнительного происхождения, без связей и протекции, без малейшего сословного положения, каким-то образом остаться в самом известном торговом доме ароматическими веществами Парижа; тем более, что, как мы знаем, закрытие магазина было уже решенным делом. Но речь шла совершенно не о какой-то надежде, которая возникла в нескромной мысли Гренуя, а об уверенности. Из этого магазина, и он это знал, он выйдет лишь для того, чтобы забрать свою одежду у Грималья, и больше ни за чем. Клещ почувствовал кровь. На протяжении нескольких лет он

сидел тихо, затаившись в себе, и ждал. Теперь же он отцепился от ветки и упал на веки вечные, совершенно безнадежно. Именно поэтому уверенность его была абсолютной.

Они прошли сквозь весь магазин. Балдини отпер выходящую в сторону реки заднюю комнату, которая была наполовину складом, наполовину мастерской и лабораторией, в которой варилось мыло и настаивалась помада, и в толстых бутылочках смешивалась ароматическая вода.

— Сюда! — сказал он и показал на большой стол, стоявший у окна. — Положи их сюда!

Гренуй вышел из тени Балдини, положил шкуры на стол, быстро прыгнул обратно и встал между Балдини и дверью. Балдини еще некоторое время постоял. Свечу он держал несколько сбоку, чтобы ни одна капля воска не упала на стол, и провел тыльной стороной ладони по гладкой поверхности кожи. Затем он перевернул самую верхнюю из них и провел рукой по бархатистой и вместе с тем сырой и мягкой изнанке. Она была очень хороша, эта кожа. Словно создана для испанской кожи. При сушке она почти не сбежится, она будет, если ее правильно вычесать щеткой, снова бархатистой, он это сразу почувствовал, стоило ему лишь зажать ее между большим и указательным пальцами; она могла сохранять аромат целых пять или десять лет; это была очень, очень хорошая кожа — может быть, он сделает из нее башмаки, три пары для себя и три пары для своей жены, для поездки в Мессину.

Он отвел руку. Рабочий стол выглядел трогательно, на нем все лежало, готовое к работе; стеклянная ванна для ароматического вымачивания, стеклянная пластинка для сушки, ступы для смешивания тинктур, пестик и шпатель, кисточка, гладилка и ножницы. Казалось, что все эти вещи просто спят, потому только, что вокруг темно, а утром они снова оживут. Может быть, ему стоит взять свой стол в Мессину? И часть своих инструментов,

только самых важных?.. За этим столом было так хорошо сидеть и работать. Он состоял из дубовых досок и таких же брусьев и имел косые фаски, поэтому в столе ничего не дрожало и не качалось, ему не могла повредить ни одна кислота, ни одно масло и ни одна царапина ножом — но перевезти его в Мессину будет стоить целое состояние! Даже кораблем! И поэтому он будет продан, стол, он будет продан завтра, и все что есть на нем, под ним, рядом с ним будет продано точно также! Потому что у него, Балдини, все-таки сентиментальное сердце, но у него еще и сильный характер, и поэтому, как бы ему не было от этого тяжело, он выполнит свое решение; со слезами на глазах он все это продаст, но он все-таки сделает это, потому что он знал, что это правильно, ибо он получил знамение.

Он повернулся, чтобы уйти. В дверях все еще стоял этот маленький, скрюченный человечек, о котором он уже успел забыть.

— Очень хорошая, — сказал Балдини. — Передай мастеру, что кожа хорошая. На днях я зайду и заплачу.

— Слушаюсь, — сказал Гренуй, оставаясь стоять на месте и загоразивая дорогу Балдини, который собрался выйти из своей мастерской. Балдини на мгновение запнулся, но по своему незнанию посчитал поведение мальчика ничем другим, как результатом забитости.

— Что еще? — спросил он. — Ты еще должен был мне что-то доставить? Ну? Говори же!

Гренуй стоял, опустив голову и смотрел на Балдини таким взглядом, который на первый взгляд мог показаться испуганным, но на самом деле выражал напряженное ожидание.

— Я хочу у вас работать, метр Балдини. У вас, в вашем магазине хочу я работать.

Это было сказано не просящим, а требовательным тоном, и это было не просто сказано, а выдвинуто жестким шепотом, как-то по-змеиному. И снова Балдини принял

ПАТРИК ЗЮСКИНД

зловещую самоуверенность Гренуя за мальчишескую беспомощность. Он доброжелательно улыбнулся.

— Ты ученик кожевенника, сын мой,— сказал он,— а у меня нет такой работы, которая подошла бы для ученика кожевенника. У меня есть подмастерье, а ученик мне не нужен.

— Вы хотите сделать так, чтобы эти козьи шкуры пахли, метр Балдини? Эти шкуры, которые я принес вам, ведь вы же хотите сделать, чтобы они пахли? — громким шепотом произнес Гренуй, как будто совершенно не услышав, что сказал ему Балдини.

— На самом деле,— сказал Балдини.

— Духами «Амур и Психея» от Пелисье? — спросил Гренуй и ссутулился еще больше.

По телу Балдини распространился легкий страх. Не потому, что он задался вопросом, откуда это так хорошо известно парнишке, а лишь из-за того, что было произнесено название этих ненавистных духов, в разгадке секрета которых он сегодня потерпел фиаско.

— Как пришла тебе в голову столь абсурдная мысль, что я использую чужие духи для того...

— Вы ими пахнете! — прошептал Гренуй. — Они у вас на голове, а в правом кармане платья у вас лежит платок, который ими пропитан. Они не хорошие, эти «Амур и Психея», они плохие, в них слишком много бергамота и слишком много розмарина, и слишком много розового масла.

— Ага,— сказал Балдини, совершенно ошеломленный столь резким поворотом разговора,— что же еще?

— Апельсиновый цвет, сладкий лимон, гвоздика, мускус, жасмин, винный спирт и что-то, названия чего я не знаю, вот, посмотрите, здесь! В этой бутылке! — И он пальцем показал в темноту. Балдини поднял лампу в указанном направлении, взгляд его последовал пальцу маль-

чика и уперся на полке в бутылочку с серо-голубым бальзамом.

— Стираксовое масло? — спросил он.

— Да. Это оно, — кивнул Гренуй, — стираксовое масло. — И он тут же согнулся, словно от резей в животе и минимум раз десять пробормотал слово «стиракс»: — Стираксстираксстираксстиракс...

Балдини поднял свечу, глядя на шепчущую «стиракс» кучку-человека, и подумал: он либо помешанный, либо лживый мошенник, либо у него великий природный талант. То, что указанные вещества в нужном количестве могли дать в результате «Амура и Психею», было вполне возможным, даже более того, вероятным. Розовое масло, гвоздика и стираксовое масло — эти три компонента он столь безуспешно пытался найти сегодня полдня; с ними сочетались остальные части композиции — которые, как ему казалось, определил и он — словно сегменты красивого круглого пирога. Теперь оставался лишь вопрос, в каком точном соотношении нужно было бы их дополнить. Чтобы выяснить это, ему, Балдини, пришлось бы много дней напролет ставить эксперименты, мерзкая работа, даже еще худшая, чем простая идентификация составных частей, потому что она значила измерять, и взвешивать, и записывать, а при этом еще и быть адски внимательным, ибо малейшая невнимательность — дрогнувшая пипетка, ошибка в подсчете капель — могла пустить все насмарку. И каждый неудачный опыт был безумно дорог. Каждая испорченная смесь стоила маленького состояния... Он хотел проверить маленького человека, хотел задать ему вопрос о точной формуле «Амура и Психеи». Если он ее знал с точностью до грамма, до капли — то тогда он явно обманщик, который каким-то образом умудрился стащить рецепт у Пелисье, чтобы явиться к Балдини и обеспечить себе у него место. Если же он определит ее приблизительно, то тогда он просто гений запахов и, будучи таковым,

представляет для Балдини профессиональный интерес. Не потому, что Балдини поставил под вопрос свое принятое решение о закрытии дела! Не потому, что он так уж зависел от духов Пелисье как таковых. Даже если бы парень подготовил их несколько литров, Балдини даже во сне бы не подумал опрыскать ими испанскую кожу для графа Верамона, но... Но разве не был он всю свою жизнь парфюмером, разве не занимался на протяжении всей жизни смесями запахов, чтобы за какой-то час потерять свою профессиональную страсть! Сейчас его интересовало лишь то, чтобы выяснить формулу этих проклятых духов, а еще больше, чтобы испытать талант этого жутковатого мальчишка, который просто-таки прочитал запах на его лбу. Он хотел узнать, что же за этим крылось. Его просто охватило любопытство.

— У тебя, как мне кажется, очень чувствительный нос, молодой человек,— сказал он, когда Гренуй закончил наконец кряхтеть, и шагнул назад, в мастерскую, чтобы осторожно поставить лампу на рабочий стол.— Несомненно очень чувствительный нос, но...

— У меня лучший нос в Париже, метр Балдини,— проворчал между тем Гренуй.— Я знаю все запахи мира, все, которые присутствуют в Париже, все, только я не знаю названий некоторых из них, но я могу выучить и названия, все запахи, которые имеют названия, их не так уж много, всего несколько тысяч, я выучу их все, я никогда не забуду названия бальзама, стиракс, бальзам называется стиракс, его название стиракс...

— Замолчи! — крикнул Балдини,— не перебивай меня, когда я говорю! Ты нескромный и самоуверенный. Ни один человек не знает тысяч запахов по их названиям. Даже я не знаю тысячи по их названиям, а лишь несколько сотен, ибо в нашем ремесле не применяется больше, чем несколько сотен, все остальное это уже не запах, а вонь!

Гренуй, который во время своей отрывистой реплики почти распрявился, от возбуждения в какой-то момент даже замахал руками, описывая ими круг, чтобы охватить «все-все», что он знал, у Балдини моментально снова появилось неприятие, словно он увидел маленькую черную жабу, которая замерла на пороге, настороженно и неподвижно.

— Мне давно,— продолжал Балдини,— совершенно ясно, что «Амур и Психея» состоят из стиракса, розового масла и гвоздики, а также баргамота и экстракта розмарина et cetera. Для того, чтобы определить это, нужен всего лишь чувствительный нос, и вполне может быть, что Бог дал тебе достаточно чувствительный нос, как и многим, многим другим людям тоже — особенно в твоём возрасте. Но парфюмеру — на этом месте Балдини поднял вверх указательный палец и выпятил грудь,— но парфюмеру необходимо нечто большее, чем просто чувствительный нос. Ему необходим наученный десятилетиями, безотказно работающий обонятельный орган, который в состоянии определить более сложные запахи по видам и количеству, точно так же, как и создавать новые, неведомые пока смеси ароматов. Такой нос — он постучал пальцем по своему — не *имеют*, молодой человек! Такой нос получают путем долгой практики и старания. Или, может, ты прямо сейчас же назовешь мне точную формулу «Амура и Психеи»? Ну? Ты можешь это сделать?

Гренуй не ответил.

— Может быть, можешь назвать ее мне хоть приблизительно,— сказал Балдини и слегка наклонился вперед, чтобы лучше видеть жабу в дверях,— хотя бы примерно, как по-твоему? Ну? Говори же, лучший нос Парижа!

Но Гренуй молчал.

— Вот видишь? — сказал Балдини настолько же удовлетворенно, насколько и разочарованно, и снова выпрямился.— Ты этого не можешь. Конечно же нет. Да и как

бы ты смог это сделать? Ты, как тот человек, который чувствует при еде на вкус, положили в суп купырь или петрушку. Ну хорошо — это уже что-то. Но именно поэтому ты еще долго не станешь поваром. В каждом искусстве и в каждом ремесле тоже — запомни это, прежде чем уйдешь! — талант значит ровно столько, сколько ничего, но опыт — это все, что собрано благодаря скромности и старанию.

Он уже взялся за свой светильник на столе, когда сдавленный голос Гренуя прошептал от двери:

— Я не знаю, что такое формула, метр, этого я не знаю, а в остальном я знаю все!

— Формула это А и Я любых духов,— строго ответил Балдини, потому что он хотел скорее закончить этот разговор.— Это тщательная инструкция, в каком соотношении следует смешивать отдельные ингредиенты, чтобы получился тот желаемый, неподражаемый аромат; это и есть формула. Она, это рецепт — если это слово тебе более понятно.

— Формула, формула,— закричал Гренуй, и его фигура в дверях увеличилась,— мне не нужна формула. Рецепт у меня в носу. Может быть, мне приготовить их для вас, метр, может, мне приготовить, может, мне?

— Каким образом? — довольно громко крикнул Балдини и поднес свечу прямо к лицу гнома.— Как это, приготовить?

В первый раз Гренуй не отпрянул и не вздрогнул.

— Но ведь они все здесь, все, которые нужны, эти запахи, в этой комнате,— сказал он и снова показал в темноту.— Розовое масло здесь! Апельсиновый цвет здесь! Гвоздика здесь! Розмарин здесь!..

— Конечно же они здесь! — закричал Балдини.— Они здесь все! Но я же говорю тебе, деревянная твоя башка, что это совершенно бесполезно, если нет формулы!

— ...Жасмин здесь! Винный спирт здесь! Бергамот

здесь! Стиракс здесь! — продолжал кряхтеть Гренуй и, произнося каждое название, показывал на другую точку комнаты, где было так темно, что тени полок с бутылочками можно было только мысленно себе представлять.

— Ты, наверное, можешь видеть и ночью, а? — набросился на него Балдини. — Наверное, у тебя не только самый лучший нос, но и самые зоркие глаза в Париже, а? А если у тебя есть еще и просто уши, то раскрой их, потому что я говорю тебе: ты маленький обманщик. Может быть, ты что-то стащил у Пелисье, что-то вышпионил, а? И думаешь, что сможешь обвести меня вокруг пальца?

Теперь Гренуй выпрямился окончательно и стоял в дверях в полный рост, слегка расставив ноги и слегка разведя руки, и теперь выглядел, словно черный паук, вцепившийся в порог и дверную раму.

— Дайте мне десять минут, — довольно торопливо сказал он, — и я приготовлю вам духи «Амур и Психея». Прямо сейчас и прямо в этой комнате. Метр, дайте мне пять минут!

— И ты думаешь, что я дам тебе плескаться в моей мастерской? Расплескивать эссенции, которые стоят целое состояние? Тебе?

— Да, — сказал Гренуй.

— Ба! — крикнул Балдини и залпом выдохнул весь воздух, который скопился у него внутри. Затем он сделал глубокий вдох, пристально посмотрел на паукообразного Гренуя и задумался. В общем-то все равно, думал он, потому что завтра все равно все кончится. Но я знаю, что то, на чем он настаивает, он сделать не сможет, не может же он быть более великим, чем великий Франжипани. Но почему бы мне не увидеть своими глазами то, что я и так знаю? Может быть, в один прекрасный день в Мессине — иногда с возрастом появляются странности и озаряют самые сумасшедшие идеи — придет мысль, что я не распознал как такового гения обоняния, существо, которого

обильно коснулась Божья милость, вундеркинда... — Это совершенно исключено. Исходя из того, что мне подсказывает разум, это исключено. — Но чудеса случаются, это известно. Но если я когда-то умру в Мессине, и на смертном одре мне придет мысль: тогда в Париже, однажды вечером, ты закрыл глаза перед чудом?.. Это было бы не очень приятно, Балдини! Пускай дурак расплескает несколько капель розового масла и настойки мускуса, ты и сам бы их расплескал, если тебя действительно все еще интересуют духи Пелисье. И что значат несколько капель — пускай дорогих, очень, очень дорогих! — по сравнению со спокойствием совести и спокойной старостью?

— Слушай! — сказал он искусственно строгим голосом. — Слушай! Я... — как тебя вообще зовут?

— Гренуй, — сказал Гренуй. — Жан-Батист Гренуй.

— Ага, — сказал Балдини. — Значит, слушай, Жан-Батист Гренуй! Я подумал. Ты получишь возможность, сейчас, немедленно, чтобы доказать твоё утверждение. В то же время это является возможностью для тебя научиться, ввиду очевидного провала, добродетели скромности, которая в твоём возрасте, — что ещё извинительно, — не успела развиться, но является неотъемлемой предпосылкой для твоего дальнейшего роста как члена своего цеха и твоего положения, как супруга, как подданного, как человека и как хорошего христианина. Я готов преподать тебе этот урок за свой счёт, потому что по некоторым причинам сегодня я настроен благотворительно, и, кто знает, быть может, в один прекрасный день воспоминания об этом происшествии поднимут мне настроение. Но не думай, что тебе удастся меня околпачить! Нос Джузеппе Балдини стар, но он остр, достаточно остр, чтобы тут же различить наименьшую разницу между твоей смесью, — с этим он вытащил пропитанный «Амуром и Психеей» платочек из кармана и помахал им перед носом у Гренуя, — и вот этим

продуктом. Подойди поближе, лучший нос Парижа! Подойди ближе к этому столу и покажи, на что ты способен! Только будь поосторожнее, чтобы ты ничего мне не разлил или не уронил! Ничего мне здесь не переставляй! Сначала я хочу включить поярче свет. Ведь мы же хотим для этого маленького эксперимента иметь большое освещение, ведь так?

И с этим он взял еще два других светильника, стоявших на краю большого дубового стола, и зажег их. Он поставил все их рядом друг с другом на тыльной длинной стороне, сдвинул шторы, освободил среднюю часть стола. Затем спокойными и вместе с тем быстрыми движениями принес приборы, которые были необходимы для дела и которые стояли на небольшом стеллаже: большую пузатую колбу для смешивания, стеклянную воронку, пипетку, маленький и большой мерные стаканы, — и поставил их по порядку на дубовую поверхность стола.

Тем временем Гренуй отклеился от рамы двери. Уже во время помпезной речи Балдини вся скованность и выжидательная подавленность с него слетели. Он услышал лишь согласие, лишь только «да», с внутренним ликованием ребенка, который добился уступки и которому теперь наплевать на ограничения, условности и моралистские предупреждения, которые с этим согласием связаны. Стоя свободно, впервые более похожий на человека, чем на зверя, он пропустил остаток красноречия Балдини мимо ушей и понял, что этого человека, который сделал ему уступку, он победил.

Пока Балдини все еще манипулировал на столе своими светильниками, Гренуй уже скользнул в боковую тьму мастерской, где стояли полки с ценными эссенциями, маслами и настоями, и выхватил оттуда, пользуясь безупречным чутьем своего носа, необходимые бутылочки. Всего их оказалось девять: эссенция апельсинового цвета, масло

сладкого лимона, гвоздичное и розовое масла, жасминовый, бергамотовый и розмариновый экстракты, настой мускуса и стираксовый бальзам, которые он быстро приволок и аккуратно поставил на край стола. Последней он приволок большую банку с высокопроцентным винным спиртом. После этого он встал за спиной Балдини, который с щепетильной педантичностью продолжал расставлять свои сосуды для смешивания, сдвигая одну банку немного туда, другую чуть-чуть сюда, чтобы все стояло в старом, привычном порядке и как можно лучше освещалось светильниками, и ждал, дрожа от нетерпения, когда же старик наконец отойдет и освободит ему место.

— Вот! — произнес наконец Балдини и отступил в сторону.— Здесь выставлено все, что необходимо тебе для твоего — скажем это помягче — «эксперимента». Ничего мне не разбей и ничего не разлей! При этом помни: эти жидкости, с которыми ты можешь манипулировать в течении пяти минут, представляют собой редчайшую ценность, и ты никогда в своей жизни не будешь больше держать их в руках в такой концентрированной форме!

— Какое количество я должен вам приготовить, метр? — спросил Гренуй.

— Приготовить чего?..— сказал Балдини, который еще не закончил свою речь.

— Какое количество духов? — громко прошептал Гренуй.— Какое количество вы хотите иметь? Может, мне наполнить эту толстую банку до краев? — И он показал на сосуд для смешивания, в которой было добрых три литра.

— Нет, тебе этого делать не нужно! — в ужасе закричал Балдини, и вместе с ним закричал и его пустивший корни и вместе с тем спонтанный страх перед порчей его собственности. И смутившись этого разоблачающего его крика, он тут же закричал: — И перебивать меня ты тоже

не должен! — и затем уже более спокойным, ироничным тоном продолжил: — Зачем нам три литра духов, которые нам обоим не нравятся? Вполне хватит и половины мерного стакана. Но так как такие маленькие количества все-таки точно смешать очень сложно, я разрешаю тебе приготовить треть этой банки для смешивания.

— Хорошо, — сказал Гренуй. — Я наполню эту банку на треть «Амуром и Психеей». Но, метр Балдини, я сделаю это по-своему. Я не знаю, похож ли этот метод на цеховой, ибо он мне неизвестен, но я сделаю это по-своему.

— Пожалуйста! — сказал Балдини, который знал, что в этом деле не было моего или твоего способа, а был лишь единственный, один единственно возможный и правильный способ, который состоял в том, чтобы, зная формулу и при соответствующих расчетах, основанных на конечном количестве, изготовить из различных эссенций точнейшим образом составленный концентрат, который после этого должен быть точно в таком же соотношении, составляющем в основном пропорцию между один к десяти и один к двадцати, разведен спиртом, чтобы из него получились желаемые духи. Другого способа, и он это знал, не было. И поэтому то, что он сейчас видел и что он поначалу наблюдал с насмешливой сдержанностью, затем с замешательством и наконец с беспомощным удивлением, казалось ему просто чудом. И сцена эта так отпечаталась в его памяти, что он не смог ее забыть до конца своих дней.

15

Маленький человечек Гренуй открыл в первую очередь бутылку с винным спиртом. Ему пришлось напрячь все свои силы, чтобы поднять тяжелый сосуд. Ему пришлось поднимать его почти до уровня головы, потому что так высоко стояла банка для смешивания со стеклянной

воронкой, в которую он, даже не воспользовавшись мерным стаканом, налил спирт прямо из бутылки. Балдини содрогнулся при виде такого явного неумения: не только потому, что парень перевернул принятый в парфюмерии порядок с ног на голову, начав прямо с растворителя, не имея еще приготовленного для растворения концентрата,— он едва был в состоянии сделать это физически! Он дрожал от напряжения, и Балдини никак не мог избавиться от мысли, что он вот-вот упустит бутылку и разобьет все, стоящее на столе. Свечи, подумал он, Боже милостивый, свечи! Это приведет к взрыву, он сожжет мой дом!.. И только он собрался броситься к нему, чтобы забрать у этого сумасшедшего бутылку, как Гренуй сам ее приподнял, осторожно поставил на пол и снова закрыл пробкой. В банке для смешивания колыхалась легкая прозрачная жидкость — ни одна капля не была пролита мимо. На мгновение Гренуй перевел дух, и на его лице было написано такое удовольствие, словно он выполнил уже самую тяжелую часть работы. И на самом деле, последующее произошло с такой скоростью, что Балдини едва мог уследить за всем взглядом, не говоря уже о последовательности или даже хотя бы о том, чтобы смочь распознать хоть какой-то порядок происходящего.

Казалось, что Гренуй хватал первый попадавшийся под руку флакон с ароматическими эссенциями, выдерживал стеклянную пробку, на секунду подносил его к носу, затем наливал из него, затем капал из другого, затем опрокидывал в воронку третий и так далее. До пипетки, пробирки, мерного стакана, ложечки и палочки для перемешивания — всех тех приборов, которые давали возможность парфюмеру управлять сложным процессом смешивания,— Гренуй ни разу даже не дотронулся. Создавалось впечатление, что он просто играет, что он плещется и перемешивает что-то, словно ребенок, который варит из воды, травы и какой-то грязи свою мерзкую бурду, о кото-

рой с гордостью говорит, что это суп. Да, словно ребенок, подумал Балдини; он ведь и выглядит, как ребенок, несмотря на свои грубые руки, несмотря на свое покрытое шрамами и порезами лицо и бугристый стариковский нос. Я думал, что он старше, чем он на самом деле, а теперь я вижу, что он моложе: ему, кажется, тринадцать или четырнадцать; как те замкнутые, непостижимые, своенравные предки человека, которые, вроде бы невинно, думая только о себе, хотели деспотично подчинить себе все в мире и сделали бы это, если бы они сохранили свои величественные грезы, а не становились в результате все более и более строгих воспитательных мер более дисциплинированными и не дошли до сдержанного существования настоящих людей. В этом молодом человеке сидел фанатичный маленький ребенок, который, стоя с блестящими глазами у стола, забыл обо всем, что его окружало, он явно забыл о том, что кроме него и этих бутылочек, жидкость из которых он с проворной неуклюжестью заливал в воронку, чтобы смешать свою сумасшедшую бурду, а затем с пеной у рта доказывать — причем совершенно уверенно в своей правоте! — что это и есть изысканные духи «Амур и Психея», в мастерской было что-либо еще. Балдини охватил ужас, когда в свете свечей он увидел человека, манипулирующего веществами столь неправильно и столь самоуверенно. Такой же, как он — так думал он, и на какое-то мгновение ему стало так же грустно и тоскливо, как тем вечером, когда он смотрел на огненно-красный в предвечерних сумерках город — такого же как он раньше не было; это был совершенно новый экземпляр того сорта, который мог появиться лишь в это нездоровое, беспутное время... Но он должен получить свой урок, этот дерзкий парень! В конце этого дурацкого представления я его так вычищу, что он исчезнет отсюда, как согбенная кучка Ничего, каким он сюда и пришел. Сброд! Сейчас вообще никого нельзя пускать в дом, ибо все вокруг кишит этим жалким сбродом!

Балдини так был занят своим внутренним возмущением и своим отвращением ко времени, что он не сразу понял, что бы это значило, когда Гренуй вдруг закупорил все флаконы, вытащил воронку из банки для смешивания, саму банку взял одной рукой за горлышко, закрыл ее ладонью левой руки и резко встряхнул. И лишь когда банка несколько раз мелькнула в воздухе, ее драгоценное содержимое, словно лимонад, устремилось снизу в горлышко и обратно, у Балдини вырвался вопль гнева и ужаса.

— Стой! — завизжал он. — Хватит! Сейчас же прекрати! Баста! Немедленно поставь банку на стол и больше ни до чего не дотрагивайся, понимаешь, ни до чего больше! С моей стороны было огромной глупостью вообще слушать всю это твою дурацкую болтовню. То, как ты обходишься с вещами, твоя грубость, твое примитивное непонимание показали мне, что ты дилетант, варварский дилетант и к тому же вшивый, нахальный соплик. Ты даже не годишься в смешиватели лимонада, не годишься даже в простые продавцы лакриновой воды, не говоря уже о парфюмере! Радуйся тому, будь благодарным и довольным, если твой мастер даст тебе возможность продолжать плескаться в дубильном вареве! Никогда больше не смей, — ты меня слышишь? — никогда больше не смей переступить порог дома парфюмера!

Так говорил Балдини. И пока он еще продолжал говорить, все помещение вокруг него уже насытилось ароматом «Амура и Психеи». Существует убедительная сила аромата, еще более убедительная, чем слова, зрение, чувства или воля. Силе убеждения запаха нельзя противостоять, она проникает подобно воздуху в наши легкие, она заполняет нас до краев и против нее не существует никаких средств.

Гренуй поставил банку, убрал руку, закрывавшую горлышко банки и соприкасавшуюся с духами, и вытер ее о край своего платья. Один, два шага назад, неуклюжие

наклоны его тела во время нагоняя Балдини вызвали достаточно воздушных волн, чтобы повсюду разнести ново-созданный запах. Большого было и не нужно. Правда, Балдини все еще продолжал бушевать, и вопить, и ругаться; но с каждым вздохом его показатель гнев находил все меньше внутренней пищи. У него сложилось впечатление, что все то, что могло поднять его речь до высокого пафоса, было уже опровергнуто. И когда он замолчал и помолчал некоторое время, замечание Гренуя: Готово,— оказалось излишним. Он знал это и так.

Несмотря на то что его со всех сторон окутал тяжелый дух «Амура и Психеи», он подошел к старому дубовому столу, чтобы снять пробу. Вытащил из левого кармана платья свежий белоснежный платочек, развернул его и накапал несколько капель, которые он вытянул из банки для смешивания длинной пипеткой. Помахал им, держа его в вытянутой руке, чтобы его проветрить, после чего изящным, хорошо натренированным движением поднес его к носу, втягивая в себя запах. Выпуская воздух обратно, он сел на табуретку. Если только что лицо его после приступа гнева было темно-красным, то теперь оно стало совершенно бледным.— Невероятно,— тихо пробормотал он сам себе,— Бог свидетель — невероятно.— И он снова и снова прижимался носом к платочку, и нюхал, и качал головой, и бормотал «невероятно». Это были «Амур и Психея», без всякого сомнения «Амур и Психея», ненавистная гениальная смесь запахов, так точно скопированная, что и сам Пелисье не смог бы отличить его от своего продукта.— Невероятно...

Маленький и бледный сидел большой Балдини на табуретке и весьма жалко выглядел со своим платочком в руке, который он прижимал к носу, словно простуженная барышня. Речь у него как будто полностью отнялась. Он даже перестал произносить «невероятно», а только лишь выдавливал из себя, слегка покачивая головой и уставив-

шись на содержимое банки, монотонное «Хм, хм, хм... хм, хм, хм... хм, хм, хм...». Через некоторое время подошел Гренуй, бесшумно, словно тень, приблизившись к столу.

— Это не хорошие духи,— сказал он.— Они составлены очень плохо, эти духи.— Хм, хм, хм,— сказал Балдини, и Гренуй продолжал: — Если вы позволите, метр, я могу их улучшить. Дайте мне минуту, и я сделаю вам из них достойные духи!

— Хм, хм, хм,— сказал Балдини и кивнул. Не потому, что он давал согласие, а потому, что он был в таком беспомощном апатичном состоянии, что он всем и вся говорил бы «хм, хм, хм» и кивал бы головой. И он продолжал кивать и бормотать «хм, хм, хм», и не делал ни малейшей попытки вмешаться, когда Гренуй начал манипулировать во второй раз, во второй раз налил винный спирт из бутылки в банку для смешивания, разбавляя уже находящиеся там духи, во второй раз принялся заливать содержимое флаконов в воронку во вроде бы беспорядочной последовательности и количествах. Лишь к концу процедуры — на этот раз Гренуй не встряхивал банку, а лишь тихонько покачал, словно коньячную рюмку, быть может, принимая во внимание нежную душу Балдини, а может быть потому, что на этот раз содержимое показалось ему более ценным — то есть лишь теперь, когда готовая жидкость уже плескалась в банке, Балдини вышел из своего отрешенного состояния и встал, все еще продолжая прижимать носовой платок к носу, словно готовясь к новому нападению на свой внутренний мир.

— Они готовы, метр,— сказал Гренуй.— Сейчас это на самом деле хороший аромат.

— Да-да, хорошо, хорошо,— ответил Балдини и отмахнулся свободной рукой.

— Разве вы не хотите снять пробу? — продолжал гундосить Гренуй.— Вы не хотите, метр? Снять пробу?

— Позднее, сейчас я не расположен к пробе... Я думаю о других вещах. Теперь иди! Уходи!

И он взял один из светильников и, выйдя в дверь, пошел через магазин. Гренуй шел за ним. Они вышли в узкий коридор, который вел к входу для посыльных. Старик прошаркал к двери, отодвинул засов и раскрыл ее. Он отошел в сторону, чтобы пропустить мальчика.

— Так я смогу у вас работать, метр, я смогу? — спросил Гренуй, уже стоя на пороге, снова ссутулившись, с настороженным взглядом.

— Я этого не знаю, — сказал Балдини, — я подумаю об этом. Иди!

И тут Гренуй исчез, моментально, проглоченный темнотой. Балдини продолжал стоять и таращил глаза в ночь. В правой руке у него был фонарь, в левой платочек, как у человека, страдающего кровотечениями из носа, и вдруг его охватил страх. Он быстро задвинул засов. Затем он отнял спасительный платок от лица, засунул его в карман и через магазин вернулся в мастерскую.

Аромат был столь райски великолепен, что Балдини показалось, будто ему вдруг в глаза брызнули водой. Ему не нужно было снимать пробу, он стоял у рабочего стола перед лабораторной банкой и вдыхал. Духи были великолепны. По сравнению с «Амуром и Психеей» они были как симфония против одинокого царапанья единственной скрипки. И даже более того. Балдини закрыл глаза, и перед ним появились возвышенные картины воспоминаний. Он видел себя молодым человеком, идущим по вечернему саду в Неаполе; он видел себя, лежащим в объятиях черноволосой женщины, и видел на оконном карнизе силуэт букета роз, обдуваемых ночным ветром; он слышал пение одиноких птиц и далекую музыку из портовой таверны; он слышал шепот прямо у самого уха, он слышал «Я тебя люблю» и чувствовал, как от блаженства у него шевелят-

ся волосы, сейчас! сейчас, прямо в это мгновение! Он открыл глаза и от удовольствия застонал. Эти духи не были духами, какими их знали до сих пор. Это был не аромат, который просто улучшал запах, не ароматическая вода, вообще не туалетная принадлежность. Это была совершенно новая вещь, способная сама по себе создать свой мир, волшебный, богатый мир, благодаря которой забываются все мерзости повседневья, и чувствуешь себя таким богатым, так хорошо, так свободно...

Вставшие дыбом волосы на руке Балдини улеглись, и его охватило полнейшее душевное спокойствие. Он взял кожу, козью кожу, лежавшую на краю стола, и взял нож, и стал эту кожу кроить. Затем он положил нарезанные куски в стеклянную ванну и залил их новыми духами. На ванну он положил стеклянную пластинку, вылил остатки духов в две бутылочки, снабдив их этикетками, написав на них название «Неаполитанская ночь». После этого он погасил свет и вышел из лаборатории.

Наверху он ни слова не сказал жене. Прежде всего, он ни слова не сказал о высокоблагородном решении, которое он принял днем. Жена его тоже ничего не сказала, потому что заметила, что он веселее, чем обычно, и была этим очень довольна. Он не пойдет больше и в Нотр-Дам, чтобы воздать хвалу Господу за силу своего характера. Да, он даже забыл в этот день, впервые в жизни, помолиться на ночь.

16

На следующее утро он прямоиком отправился к Грималю. В первую очередь он расплатился за козьи шкуры, причем заплатил полную цену, без ворчания и без малейших пререканий. А после этого он пригласил Грималю на бутылочку белого вина в «Серебряную башню» и вытор-

говал у него ученика Гренуя. Само собой разумеется, он не признался, почему захотел именно его и зачем он ему понадобился. Он наврал что-то о большом заказе по надушенным козам, для выполнения которого ему нужен неквалифицированный помощник. Ему нужен неприхотливый парень, который выполнял бы самые простые операции: раскройку кожи и так далее. Он заказал еще одну бутылку вина и предложил двадцать ливров в качестве компенсации за неудобства, которые вызовет уход Гренуя. Двадцать ливров были чрезмерной суммой. Грималь тут же согласился. Они отправились в кожевенную мастерскую, где уже, как это ни могло показаться странным, с собранным узелком ждал Гренуй, Балдини заплатил двадцать ливров и сразу же забрал его с собой, прекрасно зная, что совершил лучшую сделку в своей жизни.

Грималь, который в свою очередь тоже был убежден, что совершил лучшую сделку в своей жизни, вернулся обратно в «Серебряную башню», выпил там еще две бутылки вина, перебрался к обеду в «Золотого льва», расположенного на другом берегу, и напился там до такой степени, что когда поздно вечером снова собрался перебраться в «Серебряную башню», то перепутал улицы Жоффруа Л'Анье с Нонедьер, в результате чего, вместо того, как он надеялся, чтобы сразу же попасть на мост Мари, самым таинственным образом очутился на набережной Вязов, откуда он во весь свой рост, лицом вперед бултыхнулся в воду, словно в мягкую постель. И тут же расстался с жизнью. Реке же еще понадобилось некоторое время, чтобы утащить его с мелководья, пронести мимо привязанных канатами к берегу барж, вынести на более сильное течение посередине, и лишь ранним утром кожевенник Грималь, или точнее его мокрый труп, поплыл в свой последний путь, вниз по реке, на запад.

Когда он проплывал под мостом Менял, беззвучно, не зацепившись ни за одну из опорок моста, Жан-Батист

Гренуй как раз ложился спать, в двадцати метрах над ним. В заднем углу мастерской Балдини был поставлен стеллаж, обладателем которого он стал, в то время как его бывший хозяин, расставив все четыре свои конечности, плыл вниз по холодной Сене. Он с удовольствием скрутился калачиком и сделался маленьким, словно клец. Вместе с окутывающим его сном он все глубже и глубже погружался в себя, и ему виделся триумфальный въезд в его внутреннюю крепость, в которой он представлял себе пронизанный запахами и ароматами праздник победы, гигантскую оргию с густым дымом фимиама и благоуханием мирры в честь самого себя.

17

С появлением Гренуя началось восхождение дома Балдини до национального и даже европейского уровня. Персидские колокольчики больше не молчали, а цапли в магазине на мосту Менял теперь уже не прекращали изливать из себя ароматизированную воду.

Еще в первый вечер Греную пришлось приготовить большую бутылку «Неаполитанской ночи», которой в течение следующего дня было продано более восьмидесяти флаконов. Слава этого аромата распространялась с безумной скоростью. У Шенье от счета денег буквально остекленели глаза, и болела спина от глубоких поклонов, которые ему приходилось выполнять, потому что все время приходили высокие и высочайшие чины или, как минимум, слуги высоких и высочайших господ. А однажды даже распахнулась дверь так, что все вокруг задребезжало, и вошел лакей графа д'Аржансона и закричал, как могут кричать только лакеи, что ему нужно пять бутылок новых духов, а Шенье потом еще четверть часа дрожал от почтения, ибо граф д'Аржансон был интендантом и воен-

ным министром Его Величества и самым могущественным человеком в Париже.

В то время как Шенье в магазине в одиночку сдерживал штурм клиентов, Балдини со своим новым учеником заперся в мастерской. Шенье он объяснил это обстоятельство, развив фантастическую теорию, которую он определил как «разделение работы и рационализация». На протяжении лет, объяснил Балдини, он терпеливо наблюдал, как Пелисье и подобные ему пренебрегающие цеховыми устоями типы отбивали у него клиентов и портили все дело. Теперь же его долготерпение иссякло. Теперь он принимает вызов и наносит-таки этим наглым выскочкам ответный удар, причем их собственными средствами. На каждый сезон, на каждый месяц, а если понадобится, и на каждую неделю, он будет выставлять новый козырь — новые духи, да еще какие! Он будет творить и создавать, отдавая этому все свои силы. И для этого необходимо, чтобы он — при поддержке только лишь одного неквалифицированного помощника — исключительно и полностью занимался лишь производством духов, в то время, как Шенье полностью посвятит себя исключительно продаже. Этим новым методом вписывается новая глава в историю парфюмерии, отмечается всякая конкуренция и создается неисчислимое богатство — да, он совершенно осмысленно говорил в неопределенной форме, потому что он решил, что выделит своему старому компаньону от этого неизмеримого богатства какой-то определенный процент.

Еще несколько дней назад Шенье истолковал бы подобные речи своего мастера, как признак начинающегося старческого маразма. «Теперь он уже созрел для Шарите,— подумал бы он,— теперь уже не нужно будет долго ждать, пока он окончательно отойдет от дел». Теперь же он не думал ничего. Он просто был не в состоянии это делать, потому что у него просто было слишком много

работы. У него было столько работы, что вечером он от изнеможения едва был в состоянии опорожнить набитую кассу и отсчитать оттуда свою долю. Он даже во сне не смог бы усомниться, что так оно и было, ибо Балдини почти каждый день выходил из мастерской с новыми духами.

А что это были за ароматы! Не только духи наивысшей, высочайшей пробы, но также и кремы, пудры, мыло, жидкости для волос, туалетная вода, масла... Все, что должно было пахнуть, пахло теперь совершенно по-новому и иначе, и прекраснее, чем раньше. И на все, действительно на все, даже на новопридуманные ароматизированные тесемки для волос, появившиеся вследствие шуточного настроения Балдини, публика бросалась, словно одержимая, и цены не имели никакого значения. Все, что производил Балдини, становилось успехом. И успех становился таким грандиозным, что Шенье принимал его, как совершенно естественное явление, явление природы, а не пытался отыскать его причину. То, что новый ученик, этот беспомощный гном, живший в мастерской, словно собака, которого иногда, когда мастер выходил, видели стоящим в глубине комнаты, моющим стаканы и чистящим ступы — то, что это ничтожество в человеческом обличье могло как-то быть связано с небывалым расцветом дела, то этому Шенье не поверил бы, даже если бы ему это сказали.

Но гном конечно же имел к этому прямое отношение. То, что Балдини приносил в магазин и передавал Шенье для продажи, было лишь самой малой толикой того, что смешивал Гренуй за закрытой дверью. Балдини уже не мог уследить за всеми запахами. Иногда ему казалось, что это самая настоящая пытка, выбирать среди всего того великолепия, которое производил на свет Гренуй. Этот волшебный ученик снабдил бы рецептами всех парфюмеров Франции, ни разу не повторяясь, ни разу не создав

чего-нибудь неполноценного или среднего.— Это значит, рецептами, то есть, формулами, он все-таки снабдить бы *не* смог, ибо сначала Гренуй составлял свои духи еще в хаотичной и совершенно непрофессиональной манере, уже знакомой Балдини, когда он на глаз и на первый взгляд совершенно бессистемно смешивал ингредиенты. Чтобы, если не проконтролировать, то хотя бы как минимум понять эти сумасшедшие действия, Балдини однажды потребовал от Гренуя, чтобы тот, даже если он не считает это нужным, при составлении своих смесей пользовался весами, мерными стаканами и пипеткой; чтобы он на будущее привыкал, что винный спирт нельзя считать ароматическим веществом, а лишь растворителем, который нужно добавлять лишь в самом конце; и чтобы он, наконец, делал все основательно и медленно, как это добавляет ремесленнику.

Гренуй это выполнил. И в первый раз Балдини оказался в состоянии проследить за отдельными действиями этого колдуна и их задокументировать. С пером и бумагой сидел он рядом с Гренуем и записывал, постоянно напоминая, чтобы тот не торопился, сколько грамм этого, сколько мерных делений того, сколько капель третьего ингредиента отправились в банку для смешивания. Таким странным образом, когда он задним числом анализировал процесс с теми веществами, без предварительного применения которых он вообще не должен бы был происходить, Балдини удалось наконец все-таки понять общие принципы. Но *как* мог Гренуй, не зная их, создавать свои духи, для Балдини все-таки осталось загадкой, даже скорее чудом, но это чудо он смог хотя бы привести к формуле и этим самым хоть как-то удовлетворить свой жаждущий порядка дух и спасти свое парфюмерное миропонимание от полного коллапса.

Снова и снова он извлекал из Гренуя рецепты всех духов, которые он до сих пор придумал, и в конце концов

он ему запретил составлять новые духи без того, чтобы он, Балдини, сидел рядом с пером и бумагой, наблюдал за процессом бдительным взором и шаг за шагом все записывал. Свои записи, вскоре уже многие десятки формул, он затем аккуратно переписывал каллиграфическим почерком в две разные тетради, одну из которых он запирали в своем несгораемом сейфе для денег, а другую постоянно носил с собой и с которой он даже отправлялся ночью спать. Это давало ему уверенность. Потому что тогда он мог, если бы этого захотел, полностью повторить чудеса Гренуя, которые, когда он их впервые увидел, потрясли его до глубины души. Имея все эти формулы переписанными на бумаге, он надеялся обуздать тот ужасный созидательный хаос, который бил изнутри его ученика. Кроме того, тот факт, что он принимал участие в созидательном процессе более не с глупым изумлением, а наблюдая и записывая, действовало на Балдини успокаивающе и поднимало его в собственных глазах. Через некоторое время он уже был уверен, что внес немалый вклад в создание возвышенных ароматов. И когда он перенес их в свои тетради и спрятал в сейфе и у себя на груди, он уже не испытывал ни малейшего сомнения в том, что они принадлежат только и исключительно ему одному.

Но и Гренуй получал выгоду от той дисциплины, которой требовал от него Балдини. Правда, сам он об этом даже не догадывался. Теперь ему не приходилось разгадывать старые формулы, чтобы восстановить духи по прошествии недель или месяцев, ибо запахов он не забывал. Но благодаря обязательному применению мерных стаканов и весов он научился языку парфюмерии и он инстинктивно чувствовал, что знание этого языка может принести ему пользу. Через несколько недель Гренуй не только выучил названия всех ароматических веществ в лаборатории Балдини, но и был в состоянии самостоятельно написать формулы своих духов и наоборот, применять чужие

формулы и рецепты в духах и других ароматных продуктах. И более того! После того, как он научился выражать свои парфюмерные идеи в граммах и каплях, ему больше ни разу не понадобилось проводить промежуточные эксперименты. Когда Балдини поручал ему создать новый аромат, будь он для платочных духов, для вещей, для румян, то Гренуй не хватал теперь сразу же флаконы и порошки, а просто садился за стол и сразу же писал формулу. Он научился продлевать путь от своего внутреннего представления о запахе до готовых духов через выведение формулы. Для него это был окольный путь. В глазах окружающих, то есть в глазах Балдини, это был все-таки успех. Чудеса Гренуя оставались такими же чудесами. Но рецептура, которой он их снабжал, снимала все его опасения, и это было преимуществом. Чем лучше осваивал Гренуй профессиональные приемы и опыт, тем лучше он мог выражаться общепринятым языком парфюмеров, и тем меньше побаивался его и сердился на него мастер. Вскоре Балдини считал его еще и необычайно одаренным в смысле запахов человеком, но никак не вторым Франжипани, тем более не таинственным волшебником, что Греную было только на руку. Профессиональный свод правил поведения служил ему хорошей маскировкой. Он усыпил Балдини именно своим примерным поведением при взвешивании добавок, при покачивании банки для смешивания, при смачивании белого контрольного платка. Он уже мог взмахивать им почти так же изысканно, так элегантно проводить им возле носа, как и мастер. И при случае, с хорошо выдержанными интервалами, он допускал ошибки, которые были такими ярко выраженными, что Балдини не мог их не замечать: забывал профильтровать, неправильно устанавливал весы, записывал в формулу чрезмерно завышенный процент настоя амбры... и давал указывать себе на эти ошибки, чтобы их тут же исправить. Таким образом ему удалось ввести Балдини в заблужде-

ние, что все идет в конце концов так, как и должно быть. Но он не хотел обманывать старика. Он действительно хотел у него многому научиться. Не тому, как надо смешивать духи, не правильному составлению ароматических композиций, конечно же нет! В этой области не было никого в мире, который смог бы его чему-то научить, а имеющихся в магазине Балдини ингредиентов явно не хватало, чтобы осуществить его представление о действительно великих духах. Что мог реализовать он у Балдини относительно запахов, так это были игры, сравнимые с запахами, которые он носил в себе и которые собирался в один прекрасный день создать. Но для этого, и он это понимал, ему были необходимы два условия. Первое — оболочка обывательского существования, как минимум в качестве подмастерья, под защитой которой он мог быть рабом своих страстей и беспрепятственно стремиться к истинным своим целям. Вторым было знание профессиональных методов, при помощи которых производились, выделялись, концентрировались, консервировались ароматические вещества и этим самым вообще подготавливались к дальнейшему применению. Ибо хотя Гренуй и обладал на самом деле лучшим носом в мире, как в аналитическом смысле, так и в созидательном, он еще не обладал способностью овладевать запахами в смысле вещественном.

18

Таким образом, он послушно обучался искусству варки мыла из свиного жира, пошива перчаток из замши, приготовления пудры из пшеничной муки и миндальных отрубей, и молотых фиалковых корней. Скатывал ароматические свечи из древесного угля, селитры и стружки сандалового дерева. Прессовал восточные таблетки из

мирры, бензоа и янтарного порошка. Смешивал фимиам, шеллак, мускус и корицу для ароматических шариков. Просеивал и готовил Пудр Империяль из молотых лепестков розы, цветов лаванды, коры каскариллы. Размешивал румяна, белые и голубоватые, лепил косметические карандаши, темно-красные, для губ. Готовил нежнейшие порошки для ногтей и зубные порошки, которые имели вкус мяты. Смешивал жидкости для завивки париков и капли от бородавок и мозолей, осветлители веснушек для кожи и экстракт красавки для глаз, мазь из испанских мушек для кавалеров и гигиенический уксус для дам... Гренуй учился приготовлению всех водичек, порошочков, туалетных и косметических средств, а также чайных и пряных смесей, ликеров, маринадов и тому подобного, короче, всему, чему мог научить его Балдини со своими огромными унаследованными знаниями. Правда, учился он без особого интереса, но без всяких жалоб и с успехом.

Но особую его страсть вызывало то, когда Балдини показывал ему способы приготовления настоев, экстрактов и эссенций. Он мог без устали давить винтовым прессом косточки горького миндаля или толочь семена мускуса, или взвешивать на безмене жирные серые комья амбры, или растирать корни фиалки, чтобы затем превратить все это в отборном спирте в прекрасную композицию. Он научился пользоваться разделительной воронкой, при помощи которой чистое масло, выдавленное из лимонных корок, отделялось от мутного месива отходов. Он научился сушить травы и цветы на решетках в теплой тени и консервировать сухие листья в закупоренных воском горшочках и ящичках. Он научился искусству разводить помады, готовить настои, фильтровать, концентрировать, осветлять и ректифицировать.

Конечно же мастерская Балдини не была приспособлена для того, чтобы производить в ней в больших количествах цветочные и травяные масла. Но в Париже едва

ПАТРИК ЗЮСКИНД

ли можно было бы найти необходимое количество свежих растений. При случае, когда на базаре появлялся свежий розмарин, шалфей, мята или семена аниса или когда поступало большое количество клубней ириса или корней валерианы, тмина, мускатного ореха или сушеных цветов гвоздики, в Балдини просыпался дух алхимика и он доставал свой большой дистиллятор, медный дистиллировочный чан с укрепленным сверху конденсатором — так называемый дистиллятор с головой мавра, как гордо он его окрестил, — которым он уже сорок лет на южных склонах Лигурии и на холмах Луберона проводил под открытым небом дистилляцию лаванды. И пока Гренуй измельчал подлежащее дистилляции сырье, Балдини в лихорадочной спешке — ибо быстрая переработка была А и Ять всего дела — разжигал стационарную плиту, на который он взгромождал медный котел с изрядным количеством воды. Внутрь он забрасывал измельченные растения, ставил сверху двухстенную «голову мавра» и подсоединял к ней два шланга для поступающей и выливающейся воды. Эта изысканная водоохлаждающая конструкция, как он объяснял, была позднее достроена им самим, потому что в свое время под открытым небом охлаждение производилось естественно, просто обдувавшим ветерком. Затем он раздувал огонь.

Постепенно в котле закипала вода. И через некоторое время сначала робкими каплями, а затем тонкой, словно нитка, струйкой из третьей трубки «головы мавра» в так называемую флорентийскую бутылку, подставленную Балдини, истекал дистиллят. Сначала он выглядел совершенно невзрачно, словно жидкий, мутный суп. Но дальше и дальше, и прежде всего тогда, когда наполнившаяся бутылка заменялась новой и спокойно отстаивалась в стороне, жижка разделялась на две разные жидкости: внизу собиралась цветочная или травяная вода, сверху же отстаивался толстый слой масла. И стоило лишь аккуратно

слить через нижний носик флорентийской бутылки нежно пахнущую цветочную воду, как в бутылке оставалось чистое масло, эссенция, сильный ароматный принцип растения.

Гренуй был очарован этим методом. Если что-то в жизни и вызывало у него восторг — конечно же не видимый внешне, а скрытый восторг, подобный холодному пламени,— то это был этот способ, огнем, водой, паром и этой хитроумной аппаратурой вырывать у вещей их ароматную душу. Эта гахучая душа, эфирное масло, было в них самым прекрасным, единственным, что его в них интересовало. Дурацкие остатки: цветы, листья, скорлупа, плоды, цвет, красота, жизненность и все прочее, что еще в них было, его совершенно не трогало. Это были лишь оболочка и балласт. Их следовало отбросить.

Время от времени, когда дистиллят становился водянисто прозрачным, они снимали аппарат с огня, открывали его и вытрушивали вываренное содержимое. Оно выглядело дряблым и бледным, как размякшая солома, как отбеленные косточки маленькой птицы, как овощи, которые варили слишком долго, пресным и волокнистым, размазанным и липким, едва узнаваемым, как первоначальное, противное, напоминающее мертвечину и совершенно лишенное своего собственного запаха. Они выбрасывали его через окно в реку. Затем загружали новые свежие растения, доливали воду и ставили аппарат снова на огонь. И котел снова начинал кипеть, и снова жизненный сок растений бежал в флорентийские банки. Зачастую так продолжалось всю ночь напролет. Балдини следил за печью, Гренуй наблюдал за банками, больше между заменой содержимого аппарата делать было нечего.

Они сидели на табуретках возле окна, очарованные неуклюжим чаном, оба напряженные, хоть и по совершенно разным причинам. Балдини наслаждался жаром огня и мерцающей краснотой пламени и меди, он любил потрес-

кивание горящих дров, бульканье аппарата, потому что все было точно так же, как и много лет назад. Это могло вернуться в мечтах! Он принес из магазина бутылку вина, потому что жара нагоняла на него жажду, а пить вино, это было тоже, как раньше. И тогда он начинал рассказывать бесконечные истории из тех времен. Об испанской войне из-за наследства, в которой он как будто бы сражался против австрийцев; о партизанах, с которыми он смутил Севенны; о дочери одного гугенота в Эстереле, которая, очарованная запахом лаванды, отдалась в его власть; о лесном пожаре, который он еле-еле потушил и который наверняка охватил бы огнем весь Прованс, столь же непременно, как Амен в церкви, ибо дул сильный ветер; и о перегонке он рассказывал, каждый раз об одном и том же, о чистом поле, ночью, при свете луны, с вином и под звон цикад, и о лавандовом масле, которое он тогда произвел, таком приятном и душистом, что оно стоило столько, сколько серебро; о времени своего ученичества в Генуе, о годах своих странствий и о городе Грасе, где было столько парфюмеров, сколько в других местах есть сапожников, и среди них такие богатые, которые жили, как князья, в роскошных домах с тенистыми садами и террасами, с отделанными деревом столовыми, в которых они ели на фарфоровых тарелках, золотыми приборами, и так далее...

Вот такие истории рассказывал старый Балдини и пил при этом вино, и от вина, и жара огня, и восторга от своих собственных историй щеки его становились огненно-красными. Но Гренуй, который сидел несколько в тени, совершенно его не слушал. Его не интересовали никакие старые истории, его исключительно интересовали новые методы. Он непрерывно смотрел на трубочку наверху перегонного аппарата, из которой тонким лучиком бежал дистиллят. И глядя на него, он представлял себе, что он сам такой же аппарат, и это в нем все кипело, как и в этом, и это из него вытекал дистиллят, как и из

этого, но только еще лучше, по-новому, непривычно, дистиллят тех великолепных и редких растений, которые он сам вырастил в своей душе, которые цвели в нем, запаха которых не чувствовал никто, кроме него самого, и которые со своими уникальными духами могли бы превратить мир в благоухающий сад Эдем, в котором бытие для него в обонятельном смысле было бы в определенной степени выносимым. Быть большим перегонным аппаратом, заполнить весь мир произведенными им самим дистиллятами, это было сладкой мечтой, которой предавался Гренуй.

Но пока Балдини, раззадоренный вином, продолжал рассказывать все более распутные истории, о том, как все было раньше, все более безудержно погружаясь в свои грезы, Гренуй вскоре оторвался от своих странных фантазий. Прежде всего он выбросил из своей головы представление о большом перегонном аппарате и вместо этого стал размышлять, как он смог бы воспользоваться новоприобретенными знаниями для достижения ближайших целей.

19

Прошло немного времени и он стал специалистом в области перегонки. Он разобрался — и его нос помог ему в этом намного больше, чем правила Балдини, — что температура огня была решающим фактором, влияющим на качество дистиллята. Каждое растение, каждый цветок, каждое дерево и каждый масличный плод требовали особой процедуры. Иногда нужно было создать большой пар, иногда лишь поддерживать умеренное кипение, а некоторые цветы отдавали свое лучшее тогда, когда их оставляли подогреться на самом маленьком огне.

Такой же важной была и подготовка. Мяту и лаванду можно было перегонять целыми кустами. Другие же нуж-

но было тщательно отсортировать, оборвать лепестки, порезать, натереть, истолочь или даже сделать из них выжимки, прежде чем отправить их в медный котел. Некоторые же вообще не поддавались перегонке, и это огорчало Гренуя больше всего.

Балдини, увидев, как уверенно Гренуй освоил аппаратуру, позволил ему самостоятельно работать с перегонным аппаратом, и Гренуй вдоволь этой свободой пользовался. Занимаясь целыми днями напролет приготовлением и смешиванием духов и других ароматических и пряных продуктов, он по ночам отдавался исключительно таинственному искусству перегонки. У него был план создать новые ароматические вещества, чтобы при их помощи произвести хотя бы некоторые из запахов, которые он носил внутри себя. Поначалу он даже добился некоторых успехов. Ему удалось произвести масла цвета крапивы и семян жерухи, душистую воду свежесорванной коры кустов бузины и ветвей тиса. Правда, дистилляты едва ли напоминали по запаху исходные материалы, но тем не менее все еще оставались достаточно интересными для того, чтобы быть пригодными для дальнейшей обработки. И наконец имелись такие вещества, к которым вообще этот способ был неприменим. Гренуй даже попробовал перегонять запах стекла, глинисто-прохладный запах гладкого стекла, который совершенно не воспринимается нормальными людьми. Он приготовил оконное и бутылочное стекло, разделил его на большие куски, на черепки, на осколки, растер в пыль — без малейшего успеха. Он перегонял латунь, фарфор и кожу, зерно и гравий. Он перегонял даже простую землю. Кровь, и дрова, и свежую рыбу. Свои собственные волосы. В конце концов он перегонял даже воду, воду из Сены, собственный запах которой показался ему заслуживающим внимания, как, например, это возможно с запахом тимьяна, лаванды или семян тмина. Он совершенно не знал, что перегонка была ничем

ным, как способом разделения смешанных субстанций на их летучие и менее летучие части, и что для парфюмерии она была полезна лишь настолько, насколько она могла отделить летучие эфирные масла определенных растений от их совсем не пахнущих или слабо пахнущих остатков. Что же касается субстанций, которые не содержали эфирных масел, то здесь конечно же способ перегонки был совершенно бессмысленным. Нам, современным людям, разбирающимся в физике, это ясно. Для Гренуя же это понимание стало с трудом достигнутым результатом длинной цепи принесших разочарование опытов. На протяжении месяцев он из ночи в ночь сидел за перегонным аппаратом и пробовал всеми мыслимыми способами произвести радикально новые ароматы, ароматы, которые в концентрированной форме на земле еще просто не существовали вообще. Но за исключением нескольких жалких растительных масел ничего из этого не получилось. Из глубокого, неизмеримо богатого источника своих представлений он не добыл ни единой капли конкретной ароматической эссенции, из всех тех запахов, что теснились в его голове, он не смог реализовать ни атома.

Когда он полностью осознал свое крушение, он прекратил опыты и тяжело заболел.

20

У него поднялась высокая температура, из-за которой он в первые дни обливался потом, а позднее, когда поры кожи уже не могли справиться с таким количеством пота, его обсыпало гнойниками. Все тело Гренуя было усыпано этими красными прыщами. Многие из них лопались и выпускали свое водянистое содержимое, чтобы затем снова им наполниться. Другие вырастали в настоящие фу-

рункулы, набухали в своей красноте и разверзались подобно кратерам, извергали густой гной и смешанную с желтой слизью кровь. Через некоторое время Гренуй выглядел, как окаменевший изнутри мученик, гноящийся сотнями ран.

Это конечно же очень взволновало Балдини. Ему было бы в высшей степени неприятно потерять своего драгоценного ученика в тот самый момент, когда он как раз намеревался распространить свою торговлю за границы столицы и даже всей страны. Потому что на самом деле случалось все чаще, что заказы поступали не только из провинции, но и от иностранных дворов на те духи, от которых Париж сходил с ума; и Балдини вынашивал мысль основать для удовлетворения этого спроса филиал в Сент-Антуанском предместье, настоящую маленькую мануфактуру, где самые ходовые духи в больших количествах изготовлялись бы и в больших же количествах разливались бы по флаконам и упакованные маленькими симпатичными девушками рассылались бы в Голландию, Англию и в Германскую Империю. Для находящегося в Париже мастера такое предприятие было не совсем легальным, но теперь Балдини располагал протекцией высокопоставленных деятелей, они приобретали у него его изысканные духи, не только интендант, но и такие важные особы, как монсеньер откупщик Парижа, и член королевского кабинета финансов, и покровитель экономически процветающих предприятий, и господин Фейдо де Бру. Последний даже обещал в будущем королевскую привилегию, самое лучшее, что можно было вообще себе пожелать, своеобразный пропуск для обхода всех общегосударственных и местных ограничений, что означало конец всех профессиональных проблем и вечную гарантию для надежного, беспроблемного благосостояния.

А кроме того, существовал еще и другой план, который Балдини вынашивал, его любимый план, своеобраз-

ный антипроект созданию мануфактуры в Сент-Антуанском предместье, которая производила бы продукцию если не массовую, то во всяком случае доступную для всех: он хотел создать персональные духи для избранного количества высоких и высочайших клиентов, которые, подобно пошитым на заказ платьям, подходили бы только лишь одной особе, могли бы использоваться лишь ею одной и носить ее сиятельное имя. Он представлял себе духи «Маркиз де Серней», «Маршал де Вилляр», «Герцог д'Эгийон» и так далее. Он мечтал о духах «Мадам Маркиза де Помпадур» и даже о духах «Его Величество Король» в восхитительно отшлифованном агатовом флаконе с филигранной золотой оправой, а на внутренней стороне основания скромно выгравированное имя «Джузеппе Балдини, парфюмер». Имя короля и его собственное на одном и том же предмете. До таких великолепных высот долетали мечтания Балдини! А тут вдруг заболел Гренуй! Тогда ведь Грималь, упокой Господь его душу, клялся, что его ничего не может сломить, он может пережить все, даже черную оспу он смог побороть. Но разве теперь, теперь он не был смертельно болен? А если он умрет? Ужасно! Тогда вместе с ним умрут все великолепные планы о мануфактуре, о симпатичных маленьких девушках, о привилегиях и духах для короля.

Итак Балдини решил не останавливаться ни перед чем, чтобы спасти драгоценную жизнь своего ученика. Он организовал переезд с нар в мастерской на чистую кровать на верхнем этаже. Он приказал застелить ее камчатной тканью. Он собственноручно помогал заносить больного наверх по узкой лестнице, хотя прыщи и сочащиеся фурункулы вызывали в нем несказанный ужас. Он приказал своей жене сварить куриный бульон с вином. Он послал на квартиру за самым знаменитым врачом, неким Прокопом, которого он был вынужден оплачивать предва-

рительно — двадцать франков! — для того, чтобы тот вообще соизволил прийти.

Доктор пришел, поднял пальцами простыню, бросил один единственный взгляд на тело Гренуя, который и правда выглядел так, словно в него попали сотни пуль, и вышел из комнаты, даже не раскрыв своей сумки, которую постоянно носил за ним ассистент. Случай, сказал он Балдини, совершенно ясный. Речь шла о сифилитическом виде черной оспы, смешанной с гнойной корью в *stadio ultimo*. Поэтому лечение не было уже необходимым, ланцет для кровопускания на уже разлагающемся теле, которое больше походило на труп, чем на живой организм, качественно применить уже было нельзя. И хотя характерный для прористекания болезни зловонный чумной запах еще не воспринимался — что было весьма удивительным и с научной точки зрения представлялось некоторым курьезом, — в том, что пациент в ближайшие сорок восемь часов уйдет из жизни, не оставалось ни малейшего сомнения, заявил доктор Прокоп. После чего потребовал заплатить ему еще двадцать франков за состоявшийся визит и поставленный диагноз, из которых он вернул пять франков за то, чтобы ему отдали труп с классическими симптомами для демонстрационных целей, и удалился.

Балдини был вне себя. Он причитал и кричал от отчаяния. Он кусал себе пальцы от злости на собственную судьбу. В какой уже раз его планы проваливались прямо перед огромным, небывалым успехом. В свое время это были Пелисье со своими сообщниками, со своей плодovitой изобретательностью. Теперь же этот парнишка с его неисчерпаемыми запасами новых запахов, этот бесценный, на вес золота, маленький грязнуля, который именно сейчас, на этапе становления всего дела, должен был подхватить сифилитическую оспу вместе с гнойной корью в *stadio ultimo*! Именно сейчас! Почему не через два года? Почему не через год? До того времени можно бы было его

выжать, как серебряную жилу, как золотого осла! Через год он мог бы себе спокойно умирать. Но нет! Он умрет теперь, будь все это проклято, в течении сорока восьми часов!

На какое-то мгновение у Балдини появилась мысль отправиться в Нотр-Дам, поставить там свечу и помолиться Пресвятейшей Деве Марии о выздоровлении Гренуя. Но затем он отбросил эту мысль, ибо время продолжало свой счет. Он сбегал за чернилами и бумагой и прогнал свою жену из комнаты больного. Он хотел сам дежурить возле него. Затем он опустился на стул у кровати, положил листки бумаги на колени, держа в руке обмокнутое в чернила перо, и попытался принять у Гренуя парфюмерную исповедь. Да не допустит Господь, чтобы ценности, которые носит у себя внутри, он молча забрал с собой! Пусть же он в последние свои часы передаст завещание в надежные руки, дабы лучшие запахи всех времен не остались недоступными последующим поколениям! Он, Балдини, будет надежно хранить этот завет, этот канон формул самых изысканных из всех известных запахов и добьется, чтобы они расцвели. Он позаботится о бессмертной славе имени Гренуя, да, и он — в этом он клянется всеми святыми — собственноручно поднесет самые прекрасные из этих духов к ногам короля, в агатовом флаконе с чеканным золотом и выгравированным посвящением «От Жан-Батиста Гренуя, парижского парфюмера». Так говорил, даже скорее шептал Балдини на ухо Греную, клятвою, моляще, подлизываясь и безостановочно.

Но все было напрасно. Гренуй не делился ничем, кроме водянистого секрета и кровавого гноя. Он молча лежал на простыне и отдавал эти мерзкие соки, но не свои сококровища, свои знания, ни малейшей формулы хотя бы одних духов. Балдини был готов задушить его, был готов забить его до смерти, а лучше всего выбить из обреченно-

го на смерть тела драгоценные секреты, если бы был хоть какой-то вид на успех... и если бы это не так явно противоречило его пониманию христианской любви к ближнему.

И он продолжал сюсюкать и щebetать самым сладким голосом, и ласкал больного, и обмакивал прохладными платками — сколько ни стоило ему пересилить свой ужас — его мокрый от пота лоб и горящие вулканы ран, и поил его всю ночь напролет с ложечки вином, чтобы язык его смог говорить, напрасно. В утренних сумерках он отказался от всех попыток. Он в изнеможении упал в кресло на другом конце комнаты и уставился, уже без злости, а лишь разочарованный судьбой, на лежащее в кровати маленькое, умирающее тело Гренуя, которое он не мог ни спасти, ни ограбить, из которого он для себя ничего более не мог извлечь, угасание которого он был вынужден лишь бездейственно созерцать, словно капитан гибель своего корабля, уносящего в морскую пучину все его богатство.

И тут вдруг приоткрылись губы умирающего и он произнес голосом, ясность и сила которого заставила усомниться в близящейся смерти:

— Скажите, метр, существуют ли еще средства кроме выдавливания или перегонки, чтобы добыть из вещи запах?

Балдини, который был уверен, что голос этот вызван его собственным воображением или потусторонними силами, механически ответил:

— Да, существуют.

— Какие? — донеслось из кровати, и Балдини широко раскрыл усталые глаза. Гренуй неподвижно лежал на подушках. Неужели это сказал труп?

— Какие? — повторился вопрос, и на этот раз Балдини различил движение губ Гренуя. Теперь все, — подумал он, — теперь у него начинается бред или предсмертная агония. И он встал, подошел к кровати и склонился над боль-

ным. Тот открыл глаза и посмотрел на Балдини тем же настороженным взглядом, которым он следил за ним в их первую встречу.

— Какие? — спросил он.

Это тронуло сердце Балдини — он не хотел отказываться умирающему в его последнем желании — и он ответил:

— Их существует три, сын мой. Это распускание в тепле, распускание в холоде, распускание в масле. Они во многом превосходят перегонку, и ими пользуются для получения самых прекрасных из всех запахов: жасмина, розы и апельсинового цвета.

— Где? — спросил Гренуй.

— На юге, — ответил Балдини. — Прежде всего в городе Грасе.

— Хорошо, — сказал Гренуй.

И с этим он снова закрыл глаза. Балдини медленно выпрямился. Он был очень удручен. Он собрал листы бумаги, на которых он так и не написал не строчки, и задул свечу. Он устал, как собака. Нужно будет пригласить священника, подумал он. Затем он быстро перекрестился правой рукой и вышел из комнаты.

Гренуй же умирать никак не собирался. Он просто крепко спал и видел сны, и снова втягивал в себя свои соки. Прыщи на его коже уже стали подсыхать, гнойные кратеры затихли, а раны его начали затягиваться. За какую-то неделю он выздоровел.

21

Самым лучшим было бы прямо сейчас же отправиться на Юг, туда, где он мог научиться новой технике, о которой рассказывал ему старик. Но об этом, конечно же, даже думать было нельзя. Он был всего лишь учеником,

то есть Ничем. Строго говоря, так говорил ему Балдини — после того, как у него улеглась первоначальная радость по поводу возрождения Гренуя, — строго говоря, он был еще меньше, чем Ничто, потому что понятие «настоящий ученик» включало в себя безупречное и даже благородное происхождение, достойные родственные связи и договор об обучении, из чего у него не было ничего. И если он, Балдини, все-таки в один прекрасный день захочет помочь ему с рекомендательной грамотой в качестве подмастерья, так это лишь учитывая незаурядные способности Гренуя, безупречное в будущем поведение и ввиду его, Балдини, безграничной доброты, от которой он, пускай она приводила его зачастую к убыткам, никогда не сможет отречься.

Правда, выполнение этих обещаний с добротой задержалось на весьма продолжительное время, а точнее на три года. За это время Балдини при помощи Гренуя реализовал свои высокие мечты. Он основал в Сент-Антуанском предместье мануфактуру, добился при помощи своих изысканных духов признания при дворе, получил королевскую привилегию. Его прекрасные ароматические продукты продавались до самого Петербурга, до Палермо, до Копенгагена. Один из богатых мускусом сортов заказывали даже из Константинополя, где было достаточно, одному Богу известно сколько, собственных ароматов. В дорожных конторах лондонского Сити точно так же душились духами Балдини, как и при дворе Пармы, в Варшавском замке не иначе, как и в замке графа фон Липпе-Детмольда. После того, как он уже примирился с тем, что его старость пройдет в горькой нищете неподалеку от Мессины, Балдини стал в семидесятилетнем возрасте бесспорно самым великим парфюмером Европы и одним из самых богатых людей в Париже.

В начале 1756 года — к этому времени он докупил

еще один дом на мосту Меньял, исключительно для жилья, ибо старый его дом был буквально забит до самой крыши ароматическими материалами и специями — он открыл Греную, что готов подарить ему свободу, но при соблюдении трех условий. Во-первых, он не имел права в будущем производить ни одни из появившихся под крышей дома Балдини духов, а также передавать их формулы третьим лицам; во-вторых, он должен был уехать из Парижа и не имел права возвращаться в него до тех пор, пока жив сам Балдини; а в-третьих, он был обязан сохранять абсолютную тайну относительно первых двух условий. Во всем этом он должен был поклясться всеми святыми, несчастной душой своей матери и своей собственной честью.

Гренуй, который не имел чести, не верил ни в святых, ни даже в несчастную душу своей матери, поклялся. Он был готов поклясться всем и во всем. Он принял все условия Балдини, потому что он хотел получить эту дурацкую профессиональную грамоту подмастерья, которая позволила бы ему жить, не бросаясь в глаза, беспрепятственно путешествовать и находить работу. Все остальное было ему безразлично. Да и что это были за условия! Не появляться больше в Париже? Зачем ему этот Париж! Он знал его уже до последнего вонючего угла, он возьмет его с собой, куда бы он не поехал, он овладел Парижем уже давно. Не производить ни одни из популярных духов Балдини, не передавать никому формулы? Как будто он не мог придумать тысячи других, таких же хороших или даже еще лучше, стоило ему только захотеть! Но он этого не хотел совершенно! В его планы ни коим образом не входило составление конкуренции Балдини или кому-либо еще из городских парфюмеров. Он никогда не собирался делать при помощи своего искусства большие деньги, даже не собирался жить на доходы от этого, ибо можно

было жить иначе. Он хотел лишь проявить свой внутренний мир, ничто другое, свой внутренний мир, который он считал намного более прекрасным, чем все, что мог предложить ему мир внешний. И поэтому условия Балдини условиями ему не казались.

Он ушел весной, майским ранним утром. Балдини дал ему маленький рюкзак, запасную рубашку, две пары чулок, большую палку колбасы, лошадиную попону и двадцать пять франков. Это было намного больше, чем он был обязан дать ему, сказал Балдини, потому что Гренуй не заплатил ни одного соля за основательное образование, которое он получил. Обязан он был заплатить всего два франка на прощание и ничего больше. Но он не может отказать ни своей доброте, ни глубокой симпатии, которую носил он в своем сердце все эти годы к доброму Жан-Батисту. Он пожелал ему большого счастья в его странствиях и настоятельно еще раз просил его не забывать о своей клятве. С этим он проводил Гренуя к двери входа для посыльных, где когда-то его встретил, и отпустил.

Руки он ему не подал, настолько далеко симпатия его не распространялась. Он вообще никогда не давал ему руки. Он вообще всегда пытался избегать соприкосновения с ним из своеобразного благочестивого отвращения, как будто в том, что он до него дотронется, таилась опасность чем-то заразится, и его будет мучить зуд. Он произнес лишь короткое «адыю». А Гренуй кивнул и, ссутулившись, побрел прочь. Улица была совершенно пустынной.

22

Балдини посмотрел ему вслед, как он проковылял, спускаясь с моста в направлении острова, маленький, ссутуленный, несущий на спине рюкзак, словно горб, выглядящий сзади, как старик. На другом берегу, у здания пар-

ламенты, где улица делала изгиб, он потерял его из виду и его охватило несказанное облегчение.

Он никогда не выносил этого парня, никогда, теперь, наконец, он мог себе в этом признаться. Все это время, когда он давал ему пристанище под своей крышей и эксплуатировал его, он чувствовал себя неудобно. У него было такое же чувство, как у честного, незапятнанного человека, впервые совершающего что-то противозаконное, играющего запрещенными методами. Конечно же, риск, что его уловка будет раскрыта, был маленьким, а виды на успех были огромны; но столь же велики были нервозность и нечистая совесть. Фактически за все эти годы не было и дня, когда бы его не преследовала неприятная мысль, что он каким-то образом должен заплатить за то, что он вообще связался с этим человеком. Только бы все было хорошо, боязливо повторял он про себя все время, только бы мне удалось пожать успех в этом рискованном приключении, не платя по счету! Только бы мне удалось! Это конечно нехорошо, что я делаю, но Господь закроет на это глаза, наверняка Он это сделает! На протяжении всей моей жизни он часто меня жестоко наказывал, без всякого повода, поэтому было бы совершенно справедливо, если бы он на этот раз повел себя любезно. В чем заключается мой проступок, если он есть вообще? В лучшем случае в том, что я немного вышел за рамки цеховых порядков, эксплуатируя чудесное дарование неграмотного мальчишки и выдавая его способности за свои собственные. Максимум в том, что я чуть-чуть отклонился от традиционной тропы ремесленных добродетелей. Максимум в том, что я сегодня делаю то, что еще вчера проклинал. Разве это преступление? Другие обманывают на протяжении всей своей жизни. Я же плутовал всего несколько лет. И то лишь потому, что случай предоставил мне для этого

уникальную возможность. А может быть, это был вообще не случай, может быть, это был сам Господь, приславший ко мне в дом волшебника, для возрождения во время унижения всякими Пелисье и его сообщниками. Быть может, Божественный рок падет не на меня, а *против* Пелисье! Это могло бы быть весьма вероятным! А как иначе Господь был бы в состоянии наказать Пелисье, если не тем, чтобы возвысить меня? Следовательно, мое счастье — это средство Божественной справедливости, а таковое я не только могу, я обязан принимать, без стыда и без малейшего раскаяния...

Такие мысли одолевали Балдини на протяжении всех этих лет, по утрам, когда он спускался по узкой лестнице в магазин, по вечерам, когда он поднимался наверх с содержимым кассы и запирали тщательно пересчитанные тяжелые серебряные и золотые монеты в свой сейф, и по ночам, когда он лежал рядом с храпящими костями своей жены и из-за страха за свое счастье никак не мог заснуть.

Но теперь, наконец, все прошло вместе с тягостными мыслями. Ужасный гость ушел и никогда больше не вернется. Богатство же осталось и надежно защищало его будущее. Балдини приложил руку к груди и сквозь материал платья почувствовал тетрадь на своем сердце. В ней были написаны шестьсот формул, это больше, чем могли когда-либо реализовать целые поколения парфюмеров. Если бы он потерял сегодня все, то при помощи этой чудесной тетрадки он один за какой-то год снова мог бы стать богатым человеком. Конечно, что мог он пожелать еще!

Утреннее солнце взошло над острыми крышами домов напротив и теплой желтизной осветило его лицо. Балдини по-прежнему смотрел на юг, вдоль улицы, в направлении здания парламента — было просто приятно

осознавать, что Гренуй навсегда исчез с глаз! — и решил еще сегодня из чувства глубочайшей благодарности отправиться в Нотр-Дам, бросить в банку для пожертвованной золотую монету, поставить три свечи и на коленях поблагодарить Господа своего, что Он ниспослал ему столько счастья и берег его от мести.

Но самым дурацким образом ему снова помешали это сделать, ибо после обеда, когда он как раз собирался отправиться в церковь, поползли слухи, что Англия объявила Франции войну. В общем-то в этом не было ничего, что могло бы особо обеспокоить. Но потому, что Балдини как раз в эти дни собирался отправить партию духов в Лондон, он отложил посещение Нотр-Дам и вместо этого отправился в город, чтобы навести справки, а затем на свою мануфактуру в Сент-Антуанском предместье, чтобы в первую очередь отменить отправку в Лондон. И уже ночью, лежа в кровати, его осенила гениальная идея: принимая во внимание предстоящие военные столкновения за колонии в Новом Свете, он решил выпустить духи под названием «Гордость Квебека», смолисто-героический запах, успех которого — это было ясно — более чем возместит ему провал сделки с англичанами. С этой сладкой мыслью в глупой старой голове, которую он с облегчением прижал к подушке, под которой приятно чувствовались очертания тетрадки с формулами, метр Балдини заснул, чтобы никогда больше не проснуться.

Ночью же произошла маленькая катастрофа, которая с некоторым, связанным с уплатой налогов, запозданием послужила причиной того, что через некоторое время все дома на всех мостах Парижа были снесены согласно королевскому указу: без явной на то причины обрушился в своей западной части мост Менял между третьей и четвертой опорами. Два дома обрушились в реку так основа-

ПАТРИК ЗЮСКИНД

тельно и так неожиданно, что ни один из их обитателей не успел спастись. По счастливой случайности речь шла всего о двух особах, а именно о Джузеппе Балдини и о его жене Терезе. Слуги, дозволено ли или нет, куда-то ушли. Шенье, явившийся домой в предутренние часы в легком подпитии — вернее, собиравшийся прийти домой, ибо дома уже не было, — пережил нервный стресс. В течение тридцати лет он жил надеждой, что Балдини, не имевший ни детей, ни родственников, объявит его в своем завещании наследником. И вот теперь одним ударом все наследство исчезло, все: дом, дело, сырье, мастерская, сам Балдини — и даже завещание, которое, вероятно, содержало и пункт о собственности на мануфактуру!

Найти не удалось ничего: ни трупов, ни сейфа с деньгами, ни тетрадки с шестьюстами формулами. Единственное, что оставил после себя Балдини, величайший парфюмер Европы, был сильный, смешанный запах мускуса, корицы, уксуса, лаванды и тысяч других веществ, поднимавшийся еще несколько недель от Сены по всему ее течению от Парижа до самого Гавра.

часть вторая

23

К тому времени, когда обрушился дом Балдини, Гренуй уже шел по дороге в направлении Орлеана. За его спиной остался тяжелый запах большого города и с каждым шагом, удаляющим его от города, воздух вокруг становился все чище, яснее и приятнее. Вместе с этим он становился не таким густым. Запахи уже не буйствовали, как раньше, метр за метром сотнями, тысячами в диком разнообразии; их было несравнимо меньше — запах песчаной дороги, лугов, земли, растений, воды, — и они длинными лентами тянулись над землей, неторопливо распространяясь, медленно исчезая, нигде не сменяя друг друга внезапно.

Гренуй воспринимал эту простоту как спасение. Спокойные запахи ласкали его нос. Впервые в жизни ему не приходилось при каждом вдохе внимательно следить за тем, не почувствует ли он чего-то нового, неожиданного, враждебного, не пропустит ли чего-нибудь приятного. В первый раз он мог дышать почти свободно, не думая о том, что нужно настороженно фильтровать все запахи. Мы сказали «почти», потому что на самом деле через нос Гренуя просто так проходить не могло ничего. Даже если он совершенно этого не хотел, в нем всегда оставалась холодная сдержанность по отношению ко всему, что приходило извне и должно было быть впущено в него. Всю свою жизнь, даже в те немногие мгновения, когда он пере-

ПАТРИК ЗЮСКИНД

живал что-то наподобие удовлетворения, удовольствия или даже может быть счастья, он предпочитал больше выдыхать, а не вдыхать — точно так же, как он и начал свою жизнь — не полным надежды вдохом, а убийственным криком. Но если не учитывать этого ограничения, которое было для него ограничением природным, Гренуй чувствовал себя по мере удаления от Парижа все лучше, дышал все свободнее, шаг его становился все легче и совершенно неосознанно он выпрямился, так что издали выглядел теперь как обычный подмастерье, то есть как совершенно нормальный человек.

Самым приятным ему казалось то, что он удаляется от людей. В Париже плотность жителей была большей, чем в любом другом городе мира. В Париже проживали тогда шестьсот или семьсот тысяч человек. На улицах и площадях все ими просто кишело, а дома были набиты ими до предела, от подвалов до самых крыш. В Париже не было ни единого угла, который не был бы забит людьми, ни единого камня, клочка земли, не пахнущего человеком.

То, что это был чад человеческой массы, угнетавший его подобно пропитанному грозой воздуху на протяжении восемнадцати лет, стало ясно Греную лишь теперь, когда он смог наконец из него вырваться. До этого времени он всегда думал, что мир существует в общем и по его извилистому пути он вынужден идти. Но это оказывается не мир, это были люди. А с миром, так казалось ему, с миром без людей он и должен был существовать.

На третий день своих странствий он попал в поле гравитации запахов Орлеана. Еще задолго до того, как появился хоть какой-то видимый признак близости большого города, Гренуй почувствовал в воздухе скопление человеческих запахов и решил, вопреки своим первоначальным намерениям, обойти Орлеан стороной. Он не хотел снова так быстро погубить только что приобретенную свободу дыхания удушливым человеческим климатом. Он сделал

вокруг города большой крюк, наткнулся у Шатонев на Луару и переправился через нее у Сюлли. До тех пор ему хватало его колбасы. Там он купил себе новую и отправился, отклонившись от русла реки, вглубь страны.

Теперь он уклонялся не только от городов, а даже от деревень. Он был словно очарован все более прозрачным, все более далеким от людей воздухом. Лишь для того, чтобы запастись провиантом, он подходил к поселку или к одиноко стоявшему двору, покупал там хлеб и снова исчезал в лесу. Через несколько недель даже встречи с многочисленными странниками на удаленных от жилищ дорогах казались ему слишком частыми, он не мог больше выносить регулярно появляющийся запах крестьян, косящих на лугах первую траву. Он пугливо избегал каждой отары овец, не из-за овец, а чтобы избежать запаха пастуха. Он шел через поля, умышленно делал многомильные крюки, когда еще за несколько часов унюхивал приближение далекого эскадрона всадников. Но не потому, что он как другие подмастерья и бродяги боялся, будто его остановят и будут требовать документы, а возможно заберут на военную службу — он даже не знал, что идет война, — а только лишь потому, что ему был противен человеческий дух всадников. И все это происходило само по себе, без какого-то специально принятого решения, так что его план, как можно скорее добраться до Граса, постепенно поблек; план растворился, так сказать, в свободе, как и все остальные планы и намерения. Гренуй уже не стремился куда-то конкретно, а просто подальше, подальше от людей.

В конце концов он теперь двигался только по ночам. Днем он заползал в подлесок, спал под кустами, в мелких зарослях, в самых недоступных местах, скатавшись в клубок, словно зверь, натянув землисто-серую попону на тело и голову, зажав нос в локтевом сгибе и направив его к земле, чтобы ни один посторонний запах не помешал

его снам. С заходом солнца он просыпался, потягивал носом по сторонам и лишь тогда, когда его нос убеждался, что последний крестьянин ушел со своего поля и самый храбрый странник нашел себе ночлег перед приближающейся тьмой, лишь тогда, когда ночь выметала своими мнимыми опасностями людей ото всюду вокруг, Гренуй выползал из своего укрытия и продолжал путь. Чтобы видеть, свет ему был не нужен. Еще раньше, когда он странствовал днем, зачастую целыми часами держал глаза закрытыми и шел руководствуясь только носом. Яркая картина местности, ослепительность, неожиданность и созерцание глазами доставляли ему боль. Лишь только свет луны нравился ему. Свет луны не знал цветов и лишь слабо очерчивал контуры местности. Он окутывал все вокруг грязно-серым светом и на всю ночь устранил всю жизнь. Этот, словно залитый свинцом мир, в котором единственным движением был ветер, который изредка падал, словно тень, на серые леса, и в котором не жило ничего, кроме запахов сырой земли, это был единственный мир, который он признавал, поскольку он был похож на мир его души.

Таким образом он двигался на юг. Примерно на юг, ибо он не двигался по магнитному компасу, а только лишь по компасу своего носа, который помогал ему обходить каждый город, каждую деревню, каждое поселение. Неделями он не встречал ни одного человека. И его могла бы убаюкать успокаивающая вера в то, что он совершенно один в темном или освещенном холодным лунным светом мире, если бы не его точный компас, способный его вразумить.

Но люди были и ночью. Люди были и в самых отдаленных местах. Они лишь забирались в свои укрытия, как крысы, и спали. Земля не была чиста от них, ибо даже во сне они испускали свой запах, устремляющийся на свободу сквозь окна и щели их жилищ и зачумляющий предос-

тавленную самой себе природу. Чем больше Гренуй призывал к чистому воздуху, тем чувствительнее становился он к человеческому запаху, который вдруг стал казаться, совершенно неожиданно, мерзким, как трупный смрад, и тут же выдавал жилище пастуха, хижину угольщика или пещеру разбойников. И он шел дальше, все чувствительнее реагируя на все реже встречающийся запах человеческого. И он все дальше уносил свой нос в самые отдаленные области страны, все дальше удалял его от людей и все больше приближал его к магнитному полюсу максимально возможного одиночества.

24

Этот полюс, а точнее самая отдаленная от людей точка всего королевства, был расположен в центральной части Оверни, примерно в пяти днях пути от Клермона, на вершине вулкана Плон-дю-Канталь высотой в две тысячи метров.

Гора представляла собой гигантскую кеглю из свинцово-серых камней и была окружена бесконечным, бедным на растительность плоскогорьем, поросшим лишь серым мхом и серым кустарником, из которого местами, словно гнилые зубы, торчали острые коричневые скалы и несколько обуглившихся от пожара деревьев. Даже в самые солнечные дни эта местность представляла собой столь безрадостную картину безысходности, что даже самые бедные пастухи и без того бедной провинции не пригнали бы сюда своих животных. Тем более ночью, в блеклом свете луны, она в своем безысходном одиночестве казалась совершенно иным миром. Даже повсюду разыскиваемый овернский бандит Лебрэн предпочел пробиться в Севенны и там дать себя схватить и четвертовать, чем прятаться на Плон-дю-Канталь, где бы его наверняка никто не искал и не нашел, но где бы он столь же верно умер

еще менее понравившейся ему смертью, прожив в одиночестве всю жизнь. На многие мили от горы не жил ни один человек и ни один по-настоящему теплокровный зверь, за исключением нескольких летучих мышей, нескольких жуков да змей. И уже много десятков лет никто на эту вершину не поднимался.

Гренуй набрел на гору одной августовской ночью 1756 года. С появлением предутренних сумерек он уже стоял на вершине. Он пока что еще не знал, что здесь его путь и окончится. Он думал, что это лишь этап его пути ко все более чистому воздуху, и он повернулся вокруг собственной оси, открывая вид на величественную панораму вулканической пустоши: на восток, где находились широкая возвышенность Сен-Флур и болота реки Риу; на север, туда, откуда он пришел и где он дни напролет брел по карстовым горам; на запад, откуда легкий утренний ветерок не доносил ничего, кроме запаха камней и жесткой травы; наконец на юг, где отроги Плон простирались до темных оврагов Трюйера. Повсюду, со всех сторон, господствовало одинаковое безлюдие, но вместе с тем каждый шаг в любом направлении означал снова приближение к людям. Компас вращался. Он больше не мог сориентироваться. Гренуй был у цели. Но вместе с этим он попал в ловушку.

Когда взшло солнце, он все еще стоял на том же самом месте и втягивал носом воздух. С отчаянным усилием он попытался определить на нюх направление, откуда доносился угрожающий человеческий дух, и противоположное этому направление, куда ему предстояло направиться. В каждом направлении он чувствовал доносящиеся ключья человеческого запаха. Только здесь его не было. Здесь был покой, если можно так сказать, покой в мире запахов. Повсюду вокруг господствовал лишь подобный тихому шороху, слабый, однородный запах мертвых камней, серых лишайников и сухих трав, а больше ничего.

Греную понадобилось продолжительное время, чтобы поверить, что он ничего не чувствует. Его недоверие долго сопротивлялось лучшим перспективам. Когда взошло солнце, он даже призвал на помощь свои глаза и обследовал горизонт на предмет хоть малейших признаков человеческого присутствия, будь то крыша хижины, дым от огня, забор, стадо. Он приложил ладони к ушам и слушал, силясь услышать звон лезвия серпа, или лай собаки, или крик ребенка. Целый день он оставался на солнцепеке на вершине Плон-дю-Канталь и напрасно пытался уловить хоть малейший признак. И лишь когда солнце зашло, его недоверие стало постепенно сменяться все более усиливающимся чувством эйфории. Ему удалось уйти от ненавистного порока! Он действительно был совсем один! Он был единственным человеком во всем мире.

У него вырвался чудовищный ликующий вопль. Подобно потерпевшему кораблекрушение, который после долгих недель скитаний в экстазе приветствует первый обитаемый остров, Гренуй праздновал свое прибытие на гору одиночества. Он кричал от счастья. Рюкзак, попону, посох он отбросил от себя и топал ногами по земле, вскидывал руки вверх, танцевал кругами, выкрикивал свое имя во все четыре стороны, сжимал кулаки, с триумфом потрясал ими, грозя всему и вся, угрожая всему, что он видел перед собой, ближним и дальним странам, солнцу, как триумфатор, как будто лично он согнал его с небес. Он вел себя, словно безумец, до самой глубокой ночи.

25

Весь следующий день он занимался тем, что обустривался на горе — для него было совершенно ясно, что эти благосклонные края он покинет не так уж быстро. В первую очередь он повел носом, ища воду, и обнаружил ее в

ПАТРИК ЗЮСКИНД

одном из разломов чуть ниже вершины, где она бежала по тонкой трещине вдоль скалы. Ее было не много, но если он в течении часа будет терпеливо вылизывать ее оттуда языком, то он сможет удовлетворить свою суточную потребность в воде. Он нашел и пищу, а именно маленьких саламандру и ужа, оторвав им головы, проглотил с кожей и костями. В придачу он поел сушеных лишайников, и травы, и мховых ягод. Этот, с точки зрения обычных людей совершенно невероятный, способ питания его никоим образом не раздражал. В последние недели и месяцы он не питался приготовленными человеком продуктами: хлебом, колбасой или сыром, а если у него возникало чувство голода, жрал все, казавшееся ему в какой-то мере съедобным, что попадало в его поле зрения. Он далеко не был гурманом. Ему вообще было чуждо понимание наслаждения, если наслаждение состояло в чем-то другом, чем в чистом, бестелесном запахе. Точно так же, как чуждо ему было понимание удобства, с удовольствием он расположил бы свою стоянку на голых камнях. Но он нашел кое-что получше.

Рядом с водой он нашел естественную штольню, которая множеством узких, извилистых ходов вела внутрь горы, заканчиваясь примерно через тридцать метров завалом. Там, в конце штольни, было так узко, что плечи Гренуя касались камней, и так низко, что он мог стоять лишь согнувшись. Но он мог сидеть, а подобрав под себя колени, и лежать. Это полностью удовлетворяло его запросы относительно комфорта. Ибо место это имело множество преимуществ: в конце туннеля даже днем царил непроглядная ночь, здесь было тихо, как в могиле, а воздух был пропитан влажной, солоноватой прохладой. Гренуй сразу же унюхал, что до него сюда не добиралось ни единое живое существо. Когда он туда попал, его охватило чувство, близкое к священному страху. Он аккуратно, словно застилал алтарь, расстелил на полу лошадиную попону и

лег. Он чувствовал себя как в раю. Он лежал в самой безлюдной горе Франции на глубине пятидесяти метров, словно в своей собственной могиле. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя столь уверенно — даже в чреве своей матери. Пусть снаружи весь мир горит огнем, здесь он этого даже не заметит. Он тихо заплакал. Он не знал, кого он должен был благодарить за такое счастье.

Он стал выходить на свежий воздух лишь для того, чтобы полизать влажные камни у источника, быстро избавиться от накопившейся мочи и экскрементов, и для того, чтобы наловить ящериц и змей. Ночью найти их было просто, потому что они заползали под плоские камни или в маленькие пещеры, где он находил их при помощи своего носа.

На вершину за первые несколько он недель поднялся всего несколько раз, чтобы обнюхать горизонт. Но это скорее превратилось в навязчивую привычку, чем было необходимостью, ибо ни разу он не смог учуять ничего, что могло бы показаться опасным. И наконец он прекратил эти экскурсии и думал лишь о том, чтобы как можно скорее возвратиться в свою пещеру, как только все дела, необходимые для чистого поддержания жизни, оказывались выполненными. Это значит, что он сидел намного больше двадцати часов в сутки в полной темноте и в полной тишине, и в полной неподвижности на своей попоне в самом конце каменного прохода, прислонившись спиной к каменному завалу, зажав плечи между скалистыми стенами, и был совершенно доволен собой.

Существуют люди, которые ищут одиночества: кающиеся, неудачники, святые или пророки. Они отправляются преимущественно в пустыню, где питаются саранчой и диким медом. Некоторые из них живут в пещерах и скитах на затерянных островах или сидят — что уже более показушно — в клетках, укрепленных на шестах высоко в воздухе. Они это делают, чтобы оказаться поближе к

Богу. Они умерщвляют свою плоть этим одиночеством и приносят себя в жертву покаянию. Они поступают так, веря, что ведут богоугодную жизнь. Или ждут месяцами и годами, что им в одиночестве явится Божье слово, которое они затем понесут людям.

Но ничего подобного в голове Гренуя не было. В его сознании не было и мысли о Боге. Он не каялся и не ждал откровений Всевышнего. Он сидел там только лишь ради своего собственного удовольствия, лишь для того, чтобы быть ближе к самому себе. Он купался в своем, ничем более не тревожимом существовании и находил это великолепным. Как труп лежал он в своей каменной могиле, едва дыша, и сердце его едва билось — и все-таки он жил настолько интенсивно и безудержно, как еще не жил ни один человек в том, людском, мире.

26

Сценой этой безудержности был — да и как могло быть иначе — его внутренний мир, в котором он с самого рождения закапывал контуры всех запахов, встречавшихся ему хоть раз. Чтобы настроить себя, он поначалу вызывал самые ранние из них, самые отдаленные: враждебный, душный угар спальни мадам Гайар; кожано-сухой запах ее рук; уксусно-кислое дыхание отца Террье; истеричный, горячий материнский пот кормилицы Бюсси; трупный запах Кладбища Невинных; запах убийцы, исходивший от его матери. И он предавался отвращению и ненависти, и волосы его вставали дыбом в приятном ужасе.

Иногда, когда ему не хватало для заправки этого аперитива из гнусностей и мерзостей, он позволял себе совершить ароматический экскурс к Грималю и вкушал вонь сырых, мясистых шкур и дубильного варева или

представлял себе одновременно весь смрад шестисот тысяч парижан в душной, изнуряющей жаре в середине лета.

И здесь в один миг — и это был смысл всего этого упражнения — словно в оргазме вырывалась переполняющая его ненависть. Словно гроза надвигалась она на все те запахи, которые осмелились обидеть его сиятельный нос. Как град на хлебное поле обрушивался он на них, как торнадо разбрасывал всю эту дрянь и обрушивал на них огромный очищающий поток дистиллированной воды. Столь силен был его гнев. Так велика была его месть. Ах! Какой возвышенный момент! Гренуй, маленький человек, дрожал от возбуждения, его тело корчилось от удовольствия и выгибалось, так что в какой-то момент он ударялся макушкой в каменный потолок штольни, чтобы затем медленно опуститься и лечь на пол, расслабленному и глубоко удовлетворенному. Он действительно был для него приятен, этот вулканический акт уничтожения всех отвратительных запахов, действительно, очень приятен... Этот номер был для него почти самым любимым во всей сценической последовательности театра его внутреннего мира, потому что он способствовал чудесному чувству справедливого изнеможения, которое наступает лишь после действительно великих, героических дел.

И он некоторое время мог с чистой совестью блаженствовать. Он вытягивался во весь рост, насколько это было возможно в узком каменном мешке. Но внутренне, на идеально вычищенных матах своей души он удобно растягивался во всю длину, дремал на них, а приятные ароматы играли с его носом: почти пряный воздух, словно принесенный с весенних лугов; теплый майский ветерок, продувающий насквозь первые листья бука; бриз с моря; терпкий, словно соленый миндаль. Когда он встал, близился вечер — так сказать, близился вечер, ибо для него не существовало конечно же вечера или утра, дня или ночи, не было света и не было тьмы, не было весенних

лугов и не было зеленых листочков бука... не было вообще никаких предметов во внутреннем мире Гренуя, а только запахи этих предметов. (Это просто манера говорить, говорить об этом мире как о каком-то ландшафте, конечно, адекватно, но единственно возможно, ибо наш язык не способен выразить мир запахов.) Итак, день клонился к вечеру, это касается времени и состояния души Гренуя, какие на юге царят в конце сиесты, когда медленно проходит полуденная леность и возвращающаяся жизнь снова набирает обороты. Кровожадная жара — враг всех изысканных запахов — прошла, уничтожив демонический сброд. Внутренние поля были чисты и мягки в непристойной спокойствии пробуждения и ждали, пока их коснется воля господина.

А Гренуй встал — как это уже было сказано — и стряхнул сон со всех своих членов. Он встал, великий внутренний Гренуй, он казался себе великаном, во всем своем богатстве и величии, было просто прекрасно смотреть на него — почти жаль, что никто этого не видел! — и посмотрел вокруг себя, гордо и высокомерно.

Да! Это был его мир! Единственный и гренуйский! Созданный и покоренный им, единственным и неповторимым Гренуем, им опустошаемый, когда это ему угодно, и снова восстанавливаемый, расширяемый им до бесконечности и защищаемый огненным мечом от каждого, кто отважится на него покуситься. Здесь не существовало ничего, кроме его воли, воли великого, замечательного, неповторимого Гренуя. И после того как тошнотворный смрад прошлого был искоренен, он хотел, чтобы в его империи были лишь благородные ароматы. И он могучим шагом шел по невозделанным пашням и сеял ароматы разных сортов, расточительно здесь, экономно там, на бесконечно широких плантациях и маленьких, интимных грядках, разбрасывая семена пригоршнями или опуская по одному в точно выбранных для них местах. В самые от-

даленные области своей империи успевал Великий Гренуй, неистовый садовник, и вскоре не осталось ни единого уголка, куда бы он не бросил зерна аромата.

И когда он увидел, что это хорошо и что вся страна накормлена его божественными семенами, тогда вызвал Великий Гренуй дождь из винного спирта, мягкий и непрерывный, и повсюду принялись пробиваться ростки, семена устремились вверх и это несло ему радость. Уже бушевала на плантациях пышная растительность, а в укромных садах стояли сочные стебли. Бутоны цветов просто лопались, вырываясь из своей оболочки.

И тогда Великий Гренуй приказал дождю прекратиться. И так оно и случилось. И он послал ласковое солнце осветить поля своей мягкой улыбкой, что в один момент покрыло все вокруг переливающимися миллионами оттенков нарядом, от одного края империи до другого, превращая его в единый разноцветный ковер, сотканный из мириад драгоценных плодов, несущих в себе ароматы. И Великий Гренуй видел, что это было хорошо, очень, очень хорошо. И он пустил над полями ветер своего дыхания. И цветы ласково распространяли аромат и смешивали мириады своих ароматов в постоянно меняющийся, но все же постоянный калейдоскоп, объединяющий их в универсальный, достойный восхваления аромат, они благоухали ему, Великому, Единственному, Непревзойденному Греную, а он, восседающий на благоухающем золотом облаке, снова втягивал в себя это дуновение и запах жертвы был ему приятен. И он соблаговолил многократно благословить свое творение, за что оно его благодарило ликующими криками, и торжественностью, и снова оваяло его великолепным душистым облаком. Тем временем наступил вечер, и запахи устремились дальше, смешиваясь в синеве ночи во все более фантастические композиции. Предстояла настоящая ночь бала запахов с гигантским фейерверком ароматов.

Но Великий Гренуй немного устал, зевнул и сказал: смотри, я сотворил великое дело и оно мне очень нравится. Но как все совершенное оно начинает мне наскучивать. Я хочу вернуться, и с окончанием этого успешного трудового дня я хочу пожелать еще одно маленькое удовольствие, которое порадует мое сердце.

Итак, пока простой ароматический народ радостно под ним танцевал и ликовал, Великий Гренуй сказал это и спланировал на широко расставленных крыльях со своего золотого облака, паря над ночной страной своей души к себе домой, в свое сердце.

27

Ах, как же это было прекрасно, вернуться домой! Со-вмещение должностей мстителя и сотворителя миров было делом несколько утомительным, а многочасовые празднования, устраиваемые после завершения своих творений, отдыхом назвать нельзя было совершенно. Усталый от божественных созидательных и представительских обязанностей, Великий Гренуй тосковал по домашним радостям.

Сердце его было пурпурным замком. Замок этот располагался в каменной пустыне, скрытый за дюнами, окруженный оазисом из болот, за семью каменными стенами. До него можно было добраться только по воздуху. В нем была тысяча кладовых и тысяча подвалов, и тысяча прекрасных салонов, среди которых был один с простым пурпурным диваном, на котором Гренуй, который больше не был Великим Гренуем, а просто Гренуем, домашним, или даже милым Жан-Батистом, спокойно отдыхал после дневных забот.

В кладовых же замка стояли полки, от пола до самого потолка, и на них стояли все запахи, которые Гренуй со-

брал за всю свою жизнь, и их было много, много миллионов. А в подвалах замка, там в бочках покоились лучшие ароматы его жизни. Когда они созревали, их наливали в бутылочки, и тогда они лежали уже в многокилометровых прохладных галереях, расположенные по годам и происхождению, и их было так много, что не хватило бы и всей жизни, чтобы все их выпить.

И когда милый Жан-Батист, вернувшись, наконец, в свой *chez soi*, лежал в пурпурном салоне на своем простом уютном диванчике — сняв, наконец, если ему этого хотелось, сапоги, — он хлопал в ладоши и подзывал своих слуг, которые были совершенно невидимыми, неслышимыми и, что прежде всего, не имеющими запаха, то есть совершенно бестелесными слугами, и приказывал им отправиться в кладовые и принести из огромной библиотеки запахов тот или иной том, и спуститься в подвалы и принести ему попить. Бестелесные слуги спешили исполнить приказ, а у Гренуя в мучительнейшем ожидании вдруг начинал болеть живот. У него вдруг появлялось такое же чувство, как у пьяницы, которого мучает страх от того, что ему по какой-то причине могут отказать в стакане заказанной водки. Что если подвалы и кладовые вдруг опустели, что если вино в бочках вдруг испортилось? Почему его заставляют ждать? Почему никто не идет? Ему это нужно было сразу, ему это нужно было срочно, он просто бредил этим, он просто умрет на этом же месте, если не получит этого.

Но спокойно, Жан-Батист! Спокойно, дорогой! Уже идут, уже несут то, чего ты жаждешь. Уже летят твои слуги. Они несут на невидимом подносе Книгу Запахов, они несут в одетых в белые перчатки невидимых руках драгоценные бутылки, они ставят их очень бережно, они кланяются тебе и исчезают.

И оставленный наедине с самим собой, наконец — еще раз! — один, Жан-Батист берет страстно желаемые

запахи, открывает первую бутылку, наливает полный стакан, до самого края, подносит его к губам и пьет. Залпом выпивает стакан прохладного аромата, и это вкусно! Это настолько спасительно и хорошо, что у милого Жан-Батиста от блаженства текут слезы и он тут же наполняет этим ароматом еще один стакан: одним из ароматов 1752 года, схваченных весной, перед восходом солнца на Королевском мосту, обращенным на запад носом, откуда длетал слабый ветерок, в котором смешались запах моря, запах леса и немного смолистого запаха лодок, лежащих на берегу. Это был запах первой близящейся к концу ночи, которую он без разрешения Грималея провел, бродя по Парижу. Это был свежий запах приближающегося дня, первого зарождающегося дня, который он встречал на свободе. Этот запах тогда был для него символом свободы. Он стал для него символом другой, новой жизни. Запах утра был для Гренуя запахом надежды. Он старательно его сберегал. И каждый день его пил.

После того как он выпил второй стакан, исчезла вся нервозность, отпали все сомнения и неуверенность и его заполнило удивительное спокойствие. Он прижался спиной к мягким подушкам дивана, открыл книгу и стал читать, читать свои воспоминания. Он читал запахи своего детства, школьные запахи, запахи городских улиц и закоулков, человеческие запахи. И по его телу проходил приятный страх, потому что это были ненавистные ему запахи, истребленные, изгнанные им. С интересом и отвращением читал Гренуй омерзительные запахи, а когда отвращение пересиливало интерес, он просто захлопывал книгу, откладывал ее в сторону и брал другую.

Вместе с этим он непрерывно пил самые изысканные и благородные ароматы. После бутылки с запахом надежды он откупорил другую, из 1744 года, которая была наполнена теплым запахом дров у дома мадам Гайар. А после нее он пил из бутылки с летним вечерним ароматом,

пропитанным запахом духов и с цветочной тяжестью, попавшим к нему на краю одного из парков в Сен-Жермен-де-Пре в 1753 году.

Наконец он основательно наполнялся ароматами. По-тяжелевшие его члены устало возлежали на подушках. Его дух восхищенно затуманился. И все-таки он еще не подошел к концу пиршества. Правда, глаза его больше не могли уже читать, и книга уже давно выскользнула из его рук, но он не хотел заканчивать этот вечер без того, чтобы осушить последнюю бутылку, самую прекрасную: это был аромат девушки с улицы Марэ...

Пил он его задумчиво и для этой цели даже сел на своем диване, хотя это было для него затруднительно, ибо пурпурный салон качался и кружился в его глазах при каждом движении. В позе школьника, прижав коленки друг к другу, поставив ноги вплотную одну к другой, пол-ожив свою левую руку себе на левое бедро — так маленький Гренуй пил самый сладкий аромат из подвалов своего сердца, стакан за стаканом, и становился от этого все печальнее. Он понимал, что пил слишком много. Он понимал, что так много хорошего он вынести не в силах. И все-таки пил, пока бутылка не оказывалась пустой: он шел по темному проходу от улицы к заднему двору. Он шел на свет огня. Девочка сидела и разрезала сливы. Вдалеке хлопали ракеты и петарды фейерверка...

Он поставил стакан и продолжал сидеть, словно окаменев от сентиментальности и пьянства, еще несколько минут, до тех пор, пока все остатки привкуса не исчезли с языка. Он неотрывно смотрел прямо перед собой. В его голове вдруг стало так же пусто, как и в бутылках. Он лег, перевернулся набок на пурпурном диване и моментально погрузился в глубокий сон.

В этот же момент на своей лошадиной попоне заснул и внешний Гренуй. И его сон был настолько же бездонно глубоким, как и у внутреннего Гренуя, потому что герку-

лесовские деяния и поступки одного совершенно не изнуряли другого — и наконец оба они превращались в одну и ту же особу.

Когда он проснулся, правда, не в пурпурном салоне за семью стенами и даже не на весенних полях ароматов своей души, а в одиночестве в каменном убежище в конце туннеля, на твердом полу, в непроглядной темноте. И его просто тошнило от голода и жажды, ему было и холодно, и тоскливо, как жаждущему пьянице после ночи попойки. На четвереньках он выполз из штольни.

Снаружи был уже день, иногда начинающаяся или заканчивающаяся ночь, но даже в полночь яркость звездного неба колола ему глаза, словно иглами. Воздух казался ему пыльным, едким, обжигающим легкие, все вокруг было жестким, он наткался на камни. И даже самые нежные запахи казались его отвыкшему от мира носу резкими и ядовитыми. Гренуй, клещ, стал таким же восприимчивым, как рак, оставивший свою ракушку и голым плывущий по морю.

Он шел к источнику, слизывал влагу со стены, долго, час, два, это была пытка, время тянулось бесконечно, время, когда он находился в реальном мире. Он срывал с камней несколько пригоршней мха, впихивал их себе в рот, а пока жевал, успевал посрать — быстро, быстро, быстро все должно было закончиться, — и, как будто за ним гнались, как будто он был маленьким зверьком с вкусным мясом, а сверху в небе уже кружились ястребы, он мчался в свою пещеру, заползал в самый конец штольни, где лежала попона. Здесь он снова чувствовал себя в безопасности.

Он прислонялся к завалу камней, вытягивал ноги и ждал. Он должен был вести себя теперь очень тихо, совершенно тихо, как сосуд, который от движения грозит расплескаться. Постепенно ему удавалось успокоить дыхание. Его взволнованное сердце билось спокойнее, поток

распространявшихся по телу волн прекращался. И вдруг на его душу, словно черное зеркало, наваливалось одиночество. Он закрывал глаза. Темная дверь в его внутренний мир раскрывалась и он входил в нее. Начиналось следующее представление гренауйского театра.

28

Так продолжалось изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. Так продолжалось целых семь лет.

На протяжении этого времени во внешнем мире шла война, даже мировая война. Люди убивали друг друга в Силезии и Померании, в Ганновере и Бельгии, в Богемии и Померании. Королевские войска умирали в Гессене и Вестфалии, на Балеарах, в Индии, на Миссисипи и в Канаде, если им удавалось по дороге туда не умереть от тифа. Война стоила жизни миллиону человек, а королю Франции, его колониальной империи и всем участвующим странам — столько денег, что в конце концов с тяжелым сердцем было принято решение ее закончить.

Однажды за это время Гренауй зимой чуть не замерз, сам того не заметив. Пять дней пролежал он в пурпурном салоне, а когда он проснулся в штольне, то от холода больше не мог пошевелиться. Он тут же снова закрыл глаза, чтобы заснуть навсегда. Но тут резко сменилась погода, отогрела его, чем и спасла.

Однажды нападало столько снега, что он был не в силах добраться до лишайников. И тогда он питался замерзшими летучими мышами.

Однажды он увидел лежащую перед пещерой мертвую ворону. Он ее съел. Это были единственные события, которые за все эти годы были им восприняты от внешнего мира. А так он просто жил в своей горе, лишь в им самим созданном мире своей души. И он остался бы там до са-

мой своей смерти (потому что он ни в чем не испытывал там нужды), если бы не произошла катастрофа, которая выгнала его из горы и выбросила обратно во внешний мир.

29

Этой катастрофой было не землетрясение, не лесной пожар, не подвижка горы и не обвал штольни. Это вообще была катастрофа не внешняя, а внутренняя, и поэтому было еще более обидно от того, что она закрыла Греную самый предпочтительный путь для бегства. Она случилась во сне. Лучше сказать, когда он видел сны. Даже не во сне, а в сердце, в его собственной фантазии.

Он лежал на диване в пурпурном салоне и спал. Вокруг него стояли пустые бутылки. Он выпил чрезмерно много, а в конце даже две бутылки аромата рыжеволосой девушки. Наверное этого оказалось слишком много, потому что его сон, обычно бездонно глубокий, в этот раз не был безмятежным, а пронизанным дрожащими картинками видений. Это дрожание было явно различимыми обрывками какого-то запаха. Сначала оно тянулось мимо его носа тонким ручейком, затем стало более густым, похожим на облако. Ему показалось, что он стоит посередине болота, из которого поднимается туман. Туман медленно поднимался все выше. Вскоре Гренуй оказался полностью окутанным этим туманом, пропитан туманом, и между ключьями тумана не оставалось больше ни капли свежего воздуха. Он был вынужден, если не хотел задохнуться, вдыхать этот туман. А туман этот был, как уже было сказано, каким-то запахом. И Гренуй даже знал, что это был за запах. Туман был его собственным запахом. Его, Гренуя, собственный запах, был этим туманом.

И самым ужасным здесь было то, что Гренуй, хотя он

и знал, что это запах был *его* запахом, не мог его вынести. Он мог, мог совершенно утонуть в самом себе, чтобы вообще не нюхать больше ничего в этом мире!

Когда он это понял, он закричал так громко и ужасно, словно его живым сжигали. Крик разрушил стены пурпурного салона, стены замка, он исходил из самого сердца и летел над оврагами, и болотами, и пустынями, неся над ночным ландшафтом его души, словно огненный смерч, вырывался из его рта, по извилюстой штольне, наружу, во внешний мир, далеко над возвышенностями Сен-Флур — казалось, что кричит сама гора. И Гренуй проснулся от своего собственного крика. Просыпаясь, он бил руками вокруг себя, словно хотел разогнать неуловимый туман, который хотел его удушить. Он был до смерти испуган, тряся всем телом от настоящего смертельного страха. Если бы крик не разорвал туман, то он бы захлебнулся в самом себе — ужаснейшая смерть. Его просто бросило в дрожь, когда он вспомнил об этом. И все еще сидя, дрожа всем телом, пытаясь понять свои позорные испуганные мысли, одно он уже знал совершенно точно: он изменит свою жизнь, пусть даже только для того, чтобы не увидеть во второй раз этот кошмарный сон. Второй раз он бы этого не пережил.

Он накинул на плечи попону и выполз на свежий воздух. Там было как раз утро, утро февральского дня. Светило солнце. Все вокруг пахло влажными камнями, лишайниками и водой. Ветер нес с собой уже немного запаха ветреницы. Он сел на землю у входа в пещеру. Солнечный свет согревал его. Он вдыхал прохладный воздух. Его все еще трясло, когда он вспоминал о тумане, которого он избежал, и он дрожал от приятного чувства, когда чувствовал тепло на своей спине. Все-таки было хорошо, что существовал еще этот внешний мир, пускай он был только лишь местом, куда можно было сбежать. Трудно было себе даже представить тот ужас, если бы он в один пре-

красный день не обнаружил бы за выходом из туннеля никакого мира! Ни света, ни запахов, просто ничего — лишь только этот ужасный туман, внутри, снаружи, везде...

Постепенно шок прошел. Постепенно объятия страха ослабли и Гренуй почувствовал себя увереннее. К полудню он снова обрел свое хладнокровие. Он прижал указательный и средний пальцы левой руки к носу и втянул воздух между пальцами. Он вдохнул влажный, пропитанный запахом ветреницы воздух. Он перевернул руку и понюхал ее с внутренней стороны. Он почувствовал тепло руки, но не почувствовал никакого запаха. Тогда он закатал рукава своей рубахи и зарылся носом в стиб локтя. Он знал, что это именно то место, где человек мог понюхать самого себя. Но он все равно ничего не почувствовал. Он не почувствовал никакого запаха ни в подмышке, ни на ногах, ни на половых органах, к которым он наклонился, насколько это ему удалось. Это был какой-то гротеск: он, Гренуй, который мог унюхать за многие мили другого человека, был не в состоянии унюхать даже на расстоянии ладони запах своих половых органов! Тем не менее он не ударился в панику, а, холодно поразмыслив, сказал себе следующее: дело не в том, что я не пахну, ибо запах имеет все. Намного вероятнее то, что я не чувствую моего запаха потому, что я со своего рождения изо дня в день ловил все запахи и из-за этого мой собственный нос притупился по отношению к моему собственному запаху. Если бы я смог отделить свой запах или хотя бы его часть от себя и через некоторое время после этого отделения к нему вернуться, то тогда я бы свободно мог бы его почувствовать — то есть унюхать самого себя.

Он отложил попону и снял с себя одежду, вернее то, что от его одежды еще осталось — ключья, лохмотья снял он с себя. Целых семь лет он их с себя не снимал. Эти

лохмотья насквозь, навсегда пропитались его запахом. Он сбросил их в кучу у входа в пещеру и отошел в сторону. И вслед за этим он впервые за все семь лет снова поднялся на вершину горы. Там он встал на то же самое место, где он стоял в самый первый раз, когда пришел сюда, повернул нос на запад и подставил свое голое тело ветру. Он хотел, чтобы ветер полностью его проветрил, сдул с него запах, этот западный ветер — а это значило, запах моря и влажных лугов — должен был наполнить его, чтобы этот запах пересилил запах его собственного тела и этим самым обозначил разницу между ним, Гренуем, и его одеждой, чтобы он смог потом ясно воспринять этот запах. И чтобы нос его как можно меньше наполнялся его собственным запахом, он наклонился вперед, вытянул, насколько это было возможно, шею навстречу ветру и убрал руки за спину. Он выглядел, как пловец, собирающийся прыгнуть в воду.

В этой внешне забавной стойке он простоял долгие часы, за которые его отвыкшая от света смертельно белая кожа несмотря на слабое солнце покраснела, как у рака. К вечеру он снова спустился к пещере. Уже издалека он увидел лежащую кучу одежды. За несколько метров он зажал нос и открыл его лишь тогда, когда наклонился над самой кучей. Он произвел пробу запаха, как научился у Балдини, резко втянул в себя воздух и затем толчками стал его выдыхать. Чтобы уловить запах, он обеими руками сделал над кучей тряпья своеобразный колокол, в который он засунул свой нос, словно язык. Он делал все возможное для того, чтобы выудить из одежды свой собственный запах. Но запаха там не было. Его там решительно не было. Тысячи других запахов там были. Запахи камней, песка, лишайников, смолы, вороньей крови — даже запах колбасы, которую он купил много лет назад неподалеку от Сюлли, хорошо чувствовался. Одежды содержали в себе обонятельный дневник последних семи-

восьми лет. Лишь его собственного запаха, запаха того, кто носил их без всякой замены, они не содержали.

И тогда ему все-таки стало немного жутко. Солнце зашло за горизонт. Он голым стоял у входа в штольню, в темном конце которой прожил целых семь лет. Дул холодный ветер, и он замерз, но не заметил, что замерз, ибо в нем был другой холод, а именно страх. Это был не тот страх, который охватил его во сне, этот кошмарный страх удушения в самом себе, который ему хотелось стряхнуть с себя любой ценой и от которого он мог убежать. Но то, что он воспринимал сейчас, был страх, в котором он сам себе не отдавал отчета. Он отличался от любого из страхов. От него он убежать не мог, а был вынужден идти ему навстречу. Он должен был — даже если понимание этого было ужасным — знать без всяких сомнений, обладал он каким-либо запахом или нет. И прямо сейчас. Немедленно.

Он вернулся в штольню. Уже через несколько метров его окутала полная темнота, но он ориентировался, как при самом ярком свете. Много тысяч раз преодолевал он этот путь, знал каждый шаг и каждый поворот, чувствовал носом каждый свисающий с потолка и каждый хоть немного выступающий снизу камень. Найти путь было несложно. Сложным было бороться с воспоминанием о клаустрофобном сне, которое все выше поднималось в его душе по мере того, как он продвигался вглубь. Но он держался мужественно. Это значит, что он боролся со страхом непонимания и страхом перед пониманием, и это удавалось ему, потому что он знал, что выбора у него не было. Когда он добрался до конца штольни, туда, где возвышалась куча завала, все страхи его оставили. Он почувствовал себя спокойно, сознание его было совершенно ясным, а нюх острым, как скальпель. Он сел на корточки, закрыл глаза руками и потянул воздух. На этом месте, в этом далеком от мира каменном мешке, он пролежал це-

лых семь лет. Если где-то в мире и должно было им пахнуть, так это только здесь. Он внимательно все проверил. Он отложил вынесение приговора. Целых четверть часа проползал он на корточках. У него была ясная память, и он четко помнил, как пахло это место семь лет назад: камнем и влажной, солоноватой прохладой — и был этот запах таким чистым, так как ни одно живое существо, человек ли, зверь ли, никогда не заходило в это место... Точно такой же запах стоял здесь и сейчас.

Он просидел на корточках еще некоторое время, совершенно спокойный, лишь слегка покачивая головой. Наконец он повернулся и пошел, сначала ссутулившись, а когда высота штольни позволила — выпрямившись, к выходу из пещеры.

Снаружи он снова натянул на себя лохмотья (башмаки истлели у него еще несколько лет назад), набросил на плечи попону и этой же ночью покинул Плон-дю-Канталь, направившись на юг.

30

Выглядел он ужасно. Волосы сзади свисали у него до самых колен, редкая борода до пупа. Ногти его были словно птичьи когти, а на руках и ногах, куда более не доставали лохмотья, чтобы прикрыть тело, кожа свисала клочьями.

Первые встретившиеся ему люди, крестьяне на поле неподалеку от города Пьерфор, увидев его, с криком разбежались. В городе же, наоборот, он произвел сенсацию. Люди сбегались сотнями, чтобы, разинув рты, посмотреть на него. Некоторые посчитали его беглым каторжником с галеры. Некоторые говорили, что это вообще не настоящий человек, а помесь человека с медведем, своеобразный лесной дух. Один, побывавший когда-то в плавании, ут-

верждал, что он выглядит, как дикарь племени индейцев из Кайенны по ту сторону Великого океана. Его продемонстрировали бургомистру. Там он к удивлению присутствующих предъявил свою грамоту подмастерья, открыл рот и рассказал несколько корявым языком — ибо это были первые слова, произнесенные им после семилетнего молчания, — но весьма понятно, что во время своих странствий он подвергся нападению разбойников, был схвачен и семь лет провел в плену в какой-то пещере. За все это время он не видел ни солнечного света, ни единого человека, а еду ему подавала невидимая рука в оставленной в темноте корзине, и наконец был освобожден при помощи лестницы, совершенно не понимая почему. Он даже не видел ни своих похитителей, ни своих спасителей. Эту историю он придумал потому, что она казалась ему более правдоподобной, чем сама правда, и так оно и было, ибо подобные разбойничьи нападения случались в горах Оверни, Лангедока и в Севеннах довольно часто. Во всяком случае бургомистр безоговорочно занес их в протокол и составил по поводу случившегося доклад маркизу де ла Тайад-Эспинассу, ленному господину города и члену парламента Тулузы.

Маркиз уже в сорокалетнем возрасте повернулся спиной к придворной жизни Версаля, вернулся в свои владения и занимался там наукой. Из-под его пера вышел значительный труд о динамике национальной экономики, в котором он предлагал отмену всех налогов на землевладения и на сельскохозяйственную продукцию, а также введение прогрессивного налога на прибыль, который больше всего бил по самым бедным и вместе с этим принуждал их к большей хозяйственной активности. Ободренный успехом книжицы, он издал трактат о воспитании мальчиков и девочек в возрасте между пятью и десятью годами, а после этого обратился к экспериментальному сельскому хозяйству и попытался получить путем переноса

семени быка на различные сорта трав некий животное-растительный гибридный продукт, своеобразный цветок для доения, растительное вымя. После первоначальных успехов, во время чего ему даже удалось произвести из травяного молока сыр, который был характеризован Научной академией Лиона, как «имеющий вкус, похожий на козий, хотя и несколько горчащий», ему пришлось прекратить свои опыты ввиду непомерных расходов на бычье семя, разбрызгиваемое декалитрами по полям. Тем не менее, занятие агробιοлогическими проблемами пробудило его интерес не только к так называемой земной глыбе, а к земле вообще и к ее отношению с биосферой.

Не успел он закончить практические работы по молочновыменным цветам, как уже бросился с несломленным вдохновением исследователя за написание большого эссе о зависимости близости земли и жизненной силы. Его тезисом было то, что жизнь может развиваться лишь на определенном отдалении от земли, потому что сама земля постоянно испускает из себя тленный газ, так называемый *fluidum letale*, парализующий жизненную силу и рано или поздно приводящий к полному параличу. Именно поэтому все живые существа, считал он, стремятся посредством роста удалиться от земли и растут, таким образом, от нее вверх, а не внутрь ее; поэтому самые важные ее части они устремляют к небу: зерновые — свои колосья, цветы — свои бутоны, люди — свои головы; и именно поэтому, когда возраст их сгибает и скрючивает в сторону земли, они неотвратимо чахнут из-за этого летального газа, в который они и сами превращаются в результате процесса разложения после смерти.

Когда маркиз де ла Тайад-Эспинасс прослышал, что в Пьерфоре обнаружился индивидуум, который целых семь лет просидел в пещере — то есть, полностью окруженный элементом разложения земли, — он был просто вне себя от восторга и приказал тут же привести Гренуя в свою лабо-

раторию, где подверг его тщательнейшему обследованию. Он посчитал свою теорию доказанной самым наглядным образом: *fluidum letale* затронул Гренуя уже до такой степени, что на его двадцатипятилетнем теле были уже явные старческие признаки разложения. Тот единственный факт,— так объяснял Тайад-Эспинасс,— что Гренуя во время заточения кормили пищей из далеких от земли растений, предположительно хлебом и фруктами, предотвратил его смерть. И теперь бывшее состояние здоровья может быть восстановлено лишь путем выведения флюида при помощи придуманного им, Тайад-Эспинассом, аппарата вентиляции жизнетворным воздухом. Один такой аппарат стоял в чулане его дворца в Монпелье, и если Гренуй готов предоставить себя в качестве объекта для научной демонстрации, то он хотел бы не только освободить его от безнадежного отравления земляным газом, но и предоставить ему приличную сумму денег.

Два часа спустя они уже сидели в карете. Несмотря на то, что дороги находились в жалчайшем состоянии, они преодолели шестьдесят четыре мили до Монпелье за неполные два дня, ибо маркиз, не обращая внимания на свой прогрессивный возраст, собственноручно хлестал плеткой кучера и лошадей и при каждой из многочисленных поломок оглоблей и рессор давал волю рукам; настолько восхищен он был своим найденышем, так жаждал показать его как можно скорее образованной общественности. Греную же, наоборот, ни разу не было позволено выйти из кареты. И он сидел в своих лохмотьях, укутанный с ног до головы в пропитанную землей и глиной попону. В качестве еды во время путешествия он получал сырые корнеплоды. Таким образом маркиз надеялся еще некоторое время сохранить заражение земляным газом в идеальном состоянии.

Прибыв в Монпелье, он сразу же приказал поместить Гренуя в подвал своего дворца, разослал приглашения

всем членам медицинского факультета, ботанического объединения, сельскохозяйственной школы, химико-физического объединения, масонской ложи и других ученых обществ, которых в городе было не меньше десятка. И через несколько дней — ровно через неделю после того, как он расстался со своим горным одиночеством, — Гренуй оказался на высоком подиуме в большой аудитории университета города Монпелье, представленный многосотенной толпе как научная сенсация года.

В докладе Тайад-Эспинасс назвал его живым доказательством правильности теории земляных флюидов. Срывая с него по очереди куски лохмотьев, он продолжал объяснять губительный эффект, который тленный газ оказал на тело Гренуя: здесь видны гнойники и шрамы, вызванные воздействием газа; там, на груди, огромная, ярко-красная карцинома, образовавшаяся под воздействием газа; везде наблюдается разложение кожи; и кроме того, явное изменение строения скелета, опять-таки под влиянием флюида, которое наблюдается в виде косолапости и горба. Тяжело поражены газом и внутренние органы: селезенка, печень, легкие, желчный пузырь и кишечный тракт, — что несомненно показал анализ кала, миска с которым доступно стояла у ног демонстрируемого. Подводя итоги, можно было сделать вывод, что паралич жизненных сил вследствие семилетнего отравления «fluidum letale Taillade» развился уже настолько, что демонстрируемый — внешний вид которого во многом уже приобрел характерные черты крота, — должен быть признан существом более обращенным к смерти, чем к жизни. Тем не менее, докладчик берется вылечить этого уже обреченного на смерть за восемь дней при помощи вентиляционной терапии в сочетании с жизненной диетой, и признаки полного выздоровления будут видны каждому невооруженным глазом. Он предложил всем присутствующим убедиться в успехе этого прогноза, что заставит признать

действенным доказательством правильности теории летальных земляных флюидов.

Доклад имел грандиозный успех. Ученая публика бурно аплодировала докладчику, после чего продефилировала к подиуму, на котором стоял Гренуй. В своей неприкрытой запущенности, со своими старыми шрамами и увечьями он действительно производил столь ужасное впечатление, что абсолютно все посчитали его полуразжившимся и безвозвратно потерянным, хотя сам он чувствовал себя совершенно здоровым и сильным. Некоторые господа профессионально его обстукивали, делали какие-то замеры, заглядывали ему в рот и в глаза. Некоторые обращались к нему и интересовались его жизнью в пещере и теперешним самочувствием. Но он строго придерживался предварительно полученного указания маркиза и отвечал на все эти вопросы только лишь сдавленным хрипом, показывая беспомощными жестами обеих рук на свое горло, наглядно демонстрируя тем самым, что и оно уже сожрано этим «fluidum letale Taillade».

В конце представления Тайад-Эспинасс снова закутал его и приказал перенести в чулан своего дворца. Там он в присутствии нескольких избранных докторов медицинского факультета запер его в аппарате жизненной вентиляции — отсеке, изготовленном из плотно пригнанных друг к другу еловых досок. Через высоко выступающую над крышей вентиляционную каминную трубу в него поступал свободный от летального газа высотный воздух, который мог выходить через укрепленный на полу кожаный вентиляционный клапан. Устройство обслуживал целый взвод слуг, которые денно и ночью заботились о том, чтобы встроенные в каминные вентиляторы не останавливались. И пока Гренуй подобным образом был окутан постоянным очищающим потоком воздуха, ему с интервалами в один час через устроенное в двойной боковой стене окошко воздушного шлюза передавались диетические

блюда далекого от земли происхождения: пюре из голубей, паштет из жаворонков, рагу из диких уток, консервированные фрукты, хлеб из особо высоких сортов пшеницы, пиринейское вино, молоко серны и взбитый крем из яиц кур, которых держали на чердаке дворца.

Пять дней продолжалось это комбинированное очистительное и реанимирующее лечение. Наконец маркиз приказал остановить вентиляторы и отправил Гренуя отмокать в ванне с теплой дождевой водой на протяжении многих часов. Затем его вымыли с ног до головы мылом из орехового масла из андского города Потоси, постригли ногти на руках и ногах, почистили зубы мелко помолотой доломитовой известью, побрили, постригли и расчесали волосы, уложили их и припудрили. Были вызваны портной, сапожник, и Гренуй получил тщательно подогнанную шелковую рубашку с белым жабо и белыми рюшами на манжетах, шелковые чулки, платье, штаны и жилет из синего бархата, изысканные башмаки с пряжками из черной кожи, которые украшали косолапые ноги. Маркиз собственноручно припудрил белым тальком покрытое шрамами лицо Гренуя, промокнул его губы и щеки кармином и при помощи мягкого карандаша из угля, приготовленного из липовой коры, придал его бровям действительно благородный изгиб. Затем он обрызгал его своими личными духами довольно простого фиалкового сорта, отошел на несколько шагов, и ему понадобилось некоторое время, чтобы выразить свое восхищение словами.

— Мосье,— наконец начал он,— я сам от себя в восторге. Я просто тронут своей гениальностью. Конечно же я никогда не сомневался в правильности своей флюидальной теории; конечно же нет; но вы так великолепно доказали это практической терапией, что я просто тронут. Вы были зверем, а я сделал из вас человека. Просто божественное деяние. Вы уж не удивляйтесь, что я так тронут! Подойдите к тому зеркалу и посмотрите на себя! Вы впер-

вые в жизни поймете, что вы человек; не очень необычный или каким-то образом выдающийся, но все-таки вполне сносный человек. Идите, мосье! Посмотрите на себя и удивитесь чуду, которое я с вами сотворил!

Это был первый раз, когда кто-то говорил Греную мосье.

Он подошел к зеркалу и посмотрел. До этого времени он в зеркало никогда не смотрелся. Он увидел перед собой господина в красивых синих одеждах, в белой рубашке и шелковых чулках и совершенно инстинктивно согнулся, как всегда сгибался перед такими важными господами. Но и важный господин тоже согнулся, а когда Гренуй снова выпрямился, важный господин сделал то же самое, после чего оба замерли, глядя друг на друга.

Больше всего поразило Греную, что он выглядел столь невероятно нормально. Маркиз был прав: он выглядел не особенно хорошо, но и не очень уродливо. Он был несколько низковат, фигура его была слегка кособока, лицо в некоторой степени невыразительно, короче, он выглядел точно так же, как и тысячи других людей. Если бы он шел сейчас там внизу по улице, то никто бы не обернулся ему вслед. Да и ему самому никогда бы не бросился в глаза такой человек, каким он был сейчас, если бы тот ему встретился. Но он бы обязательно унюхал, что этот кто-то ничем не пах, кроме как фиалками, точно так же, как господин в зеркале и он сам.

И все-таки еще десять дней назад крестьяне с криками бросались врассыпную, стоило им только его увидеть. Тогда он чувствовал себя не иначе, чем теперь, а теперь, когда закрывал глаза, не чувствовал себя ни на йоту иначе, чем тогда. Он втянул в себя воздух, поднимавшийся вокруг его тела, и почувствовал запах плохих духов и бархата, и свежепроклеенной кожи его башмаков; он чувствовал запах шелка, пудры, румян, слабый запах мыла из Потоси. И вдруг он понял, что не голубиное пюре и фокус

с вентиляцией сделали из него нормального человека, а всего лишь несколько предметов одежды, стрижка и чуть-чуть косметического маскарада.

Он быстро открыл глаза и увидел, как мосье в зеркале подмигнул ему и на его губах, подведенных кармином, появилась улыбка, будто тот хотел показать Греную, что не считает его таким уж несимпатичным. И Гренуй тоже не считал мосье в зеркале, эту одетую, как человек, подкрашенную, лишенную запаха фигуру, таким уж неинтересным; ему казалось, что он мог бы — стоило лишь сделать его маску еще более совершенной, — оказать влияние на внешний мир, чего о себе, Гренуе, он никогда подумать не мог. Он кивнул фигуре и увидел, что она, кивая в ответ, украдкой раздула ноздри...

31

На следующий день — маркиз как раз занимался тем, что показывал ему самые необходимые позы, жесты и танцевальные движения для предстоящего общественного выступления, — Гренуй просимулировал приступ головокружения и с видом полной потери сил, как бы страдая от удушья, упал на диван.

Маркиз был вне себя. Он кричал на слуг, требовал принести веера и переносные вентиляторы, и пока слуги спешно выполняли это приказание, он опустился возле Гренуя на колени, стал обмахивать его своим надушенным фиалками носовым платком и просить, прямо-таки умолять его снова встать, не отдавать Богу душу именно сейчас, а подождать, если это возможно, хотя бы до послезавтра, ибо иначе это самым серьезным образом ударило бы по существованию теории летальных флюидов.

Гренуй ворочался и корчился, кряхтел, стонал, отталкивал руками носовой платок и наконец самым драмати-

ческим образом свалился с дивана и забился в самый дальний угол комнаты. — Только не эти духи! — кричал он из последних сил. — Только не эти духи! Они меня убивают! — И лишь когда Тайад-Эспинасс выбросил носовой платок в окно, а свое, точно также пахнущее фиалками платье, в соседнюю комнату, Гренуй пустил свой приступ на убыль и уже успокаивающимся голосом рассказал, что у него, как у парфюмера, и это обусловлено профессией, очень чувствительный нос, поэтому он всегда, но особенно сейчас, во время своего выздоровления, очень резко реагирует на некоторые духи. А то что на него так сильно повлиял именно запах фиалок, одного из самых приятных и любимых цветов, можно объяснить только тем, что духи маркиза содержат слишком большую долю экстракта корней фиалки, который ввиду своего подземного происхождения губительно действует на такую пораженную летальным флюидом особь, как он, Гренуй. Уже вчера, когда его в первый раз побрызгали этими духами, он почувствовал себя плохо, а сегодня, когда он снова услышал запах корней, он почувствовал себя так, словно его снова втокнули обратно в ужасную душную земляную пещеру, где он томился семь лет. Природа его восстала против этого, а больше ничего по этому поводу он сказать не может. Благодаря искусству господина маркиза ему как человеку была подарена жизнь в свободном от флюида воздухе, и он скорее умер бы на месте, чем снова стал бы жить в окружении ненавистного флюида. И в нем до сих пор все содрогается, стоит ему только подумать о духах из корней. Но он совершенно уверен, что он тут же снова придет в себя, если маркиз разрешит ему создать, для полного выведения фиалкового запаха, собственные духи. Он думает создать что-то чрезвычайно легкое, воздушное, которое будет состоять в основном из таких далеких от земли ингредиентов, как ароматическая вода из миндального и апельсинового цвета, эвкалипт, масло еловой хвои и ки-

парисовое масло. Стоит лишь один раз сбрызнуть такими духами платье и несколькими каплями смочить шею и щеки — и он навсегда будет защищен от повторения такого неприятного приступа, который его только что хватил...

То, что мы изложили здесь, используя в целях лучшего понимания непрямую речь, на самом деле было получасовым, прерываемым многочисленными покашливаниями, покрываниями и вздохами, булькающим словоизлиянием, которое Гренуй приукрасил трепетом в голосе, усиленной жестикуляцией и закатыванием глаз. Все это произвело на маркиза глубочайшее впечатление. Но еще больше, чем симптомы страдания, его убедила красноречивая аргументация его подопечного, которая была выдержана полностью в духе теории летальных флюидов. Конечно же фиалковые духи! До отвратительного близкий к земле, даже подземный продукт! И возможно, что и сам он, употребляя его уже на протяжении многих лет, давно им заразился. Не имел ни малейшего представления, что из-за этих духов изо дня в день приближал себя к собственной смерти. Подагра, остеохондроз, вялость всех его членов, геморрой, шум в ушах, гнилые зубы — все это без всяких сомнений было вызвано вонью пропитавшихся флюидом фиалковых корней. И этот маленький глупый человек, жалкая кучка там, в углу комнаты, открыл ему это. Он был тронут. Больше всего ему хотелось подойти к нему, поднять и прижать к сердцу. Но он боялся, что все еще пахнет фиалками, и поэтому снова громко позвал слуг и приказал убрать из дома все фиалковые духи, проветрить весь дворец, развесить его одежду в жизненных вентиляторах, а Гренуя немедленно отнести в его паланкине к лучшему парфюмеру города. Именно этого и добивался Гренуй своим приступом.

Производство духов имело в Монпелье давние традиции, и хотя в последнее время по сравнению с конкурирующим городом Грасом оно несколько и поблекло, в го-

роде продолжали жить и работать некоторые хорошие мастера-парфюмеры и перчаточники. Самым уважаемым среди них был некий Рунель. Принимая во внимание деловые отношения с домом маркиза де ла Тайад-Эспинасса, которому поставлял мыло, масла и ароматические вещества, он выказал готовность пойти на необычный шаг и уступить на один час свое ателье принесенному в паланкине странному подмастерью парфюмера из Парижа. Тот не требовал ничего объяснять, даже совершенно не хотел знать, что и где можно найти, он уже хорошо ориентируется, сказал он, сможет все найти сам; он закрылся в мастерской и провел там добрый час, пока Рунель вместе с гофмейстером маркиза отправились в кабак, чтобы выпить там по нескольку стаканов вина, и где тот наконец узнал, почему его фиалковая вода вдруг перестала нравиться.

Мастерская и магазин Рунеля были оборудованы далеко не так богато, как в свое время дом Балдини в Париже. С несколькими цветочными маслами, водами и пряностями средний парфюмер не мог достигнуть больших успехов. Тем не менее, Гренуй с одного вздоха определил, что имеющихся материалов с лихвой хватит для его целей. Он не собирался создавать великих духов; он даже не хотел приготовить престижной водички, как тогда для Балдини, такой, которая бы возвышалась над морем средних духов и сводила людей с ума. Его целью не был даже простой запах апельсинового цвета, который он обещал маркизу. Ходовые эссенции гвоздики, эвкалипта и кипарисового листа, которые должны были составить тот запах, который он хотел создать, следовало лишь смешать: но это был запах человеческий. Он хотел сделать для себя, пускай это был бы лишь плохой суррогат, человеческий запах, которого у него самого не было абсолютно. Конечно же, единого запаха людей не существовало, как и не существовало единого человеческого лица. Каждый

человек пах по-иному, никто другой не знал этого лучше, чем Гренуй, которому были известны тысячи и миллионы индивидуальных запахов, и он с самого рождения различал людей при помощи обоняния. И все же основой человеческого запаха с парфюмерной точки зрения, причем совершенно простой было нечто потно-жирное, творожисто-кислое, в общем довольно отвратительная основа запаха, которая имелаась в одинаковой степени у всех людей и лишь над которой в более тонкой индивидуальности парило облачко собственной ауры каждого.

Но эта аура, в высшей мере сложный, ни с чем не сравнимый шифр *индивидуального* запаха, тем не менее большинством людей обонянием не воспринималась. Большинство людей вообще не знали, что они ее имеют, и делали все, чтобы запрятать ее подальше под свои платья или за модные искусственные запахи. Но каждый лежащий в основе запах, то примитивное человеческое испарение, был им назначен, лишь в нем они жили и чувствовали себя в безопасности, и лишь тот, кто испускал отвратительный и общий для всех смрад, рассматривался ими, как равный им.

То, что Гренуй создал в этот день, было более чем странными духами. Более странных в мире до этого времени еще не было. Они пахли не так, как пахнут духи, а как *человек, который пахнет*. Если бы кто-то понюхал эти духи в темном помещении, он бы подумал, что перед ним стоит другой человек. И если бы человек, который пах, как человек, их использовал, то с обонятельной точки зрения он показался бы нам, как два человека или, что еще хуже, как двуликий монстр, как существо, которое нельзя было больше определить однозначно, ибо оно представлялось бы расплывчато-нечетким, как что-то на дне озера, по поверхности которого бегут волны.

Чтобы сымитировать этот человеческий запах — явно неудовлетворительный, как он сам это понимал, но доста-

точный, чтобы ввести в заблуждение других,— Гренуй по-находил все недостающие ингредиенты в мастерской Рунеля.

За порогом двери, ведущей во двор, он обнаружил кошачье дерьмо, еще довольно свежее. Он взял его пол-ложки и вместе с несколькими каплями уксуса и растолченной солью поместил в банку для смешивания. Под лабораторным столом он нашел кусочек сыра размером с кончик большого пальца руки, явно имевший происхождение из какого-нибудь завтрака Рунеля. Он был уже весьма старым, начал уже разлагаться и испускал едкий, резкий запах. С крышки бочки из-под сардин, которая стояла в задней части магазина, он соскреб что-то с рыбно-горло-непонятным запахом, смешал это с тухлым яйцом и кастором, аммиаком, мускатом, пилеными рогами и осмаленной свиной кожей, тщательно покрошенной. К этому он добавил довольно большое количество цибетина, смешал эти ужасные компоненты со спиртом, дал отстояться и профильтровал, слив в другую банку. Месиво распространило отвратительный запах. Оно пахло клоакой, гнилью, и если бы этот запах удалось так сразу смешать со свежим воздухом, то можно было бы подумать, что стоишь жарким днем в Париже на углу улиц О-Фер и Ленжери, куда стекаются запахи из залов, магазинов, с Кладбища Невинных и из перенаселенных домов.

На этот ужасный базис, который сам по себе имел скорее трупный, чем человеческий запах, Гренуй положил еще один слой маслянисто-свежих запахов мяты, лаванды, терпентина, лимона, эвкалипта, которые он тут же смешал с букетом нежных цветочных масел герани, розы, апельсинового цвета и жасмина. После последующего разбавления спиртом и некоторым количеством уксуса от фундамента, на котором зиждилась вся эта смесь, не осталось ничего отвратительного. Мерзкий запах из-за свежих ингредиентов стал практически незаметен, был украшен

запахами цветов, стал даже почти интересным, и, что самое странное, от гнилостного запаха не осталось ничего, совершенно ничего. Казалось что он, в отличие от быстрого запаха жизни, совершенно из духов выветрился.

Гренуй перелил духи в два флакона, закрыл их и сунил в карман. Затем тщательно вымыл водой банки, ступки, воронки и ложечки, вытер их маслом горького миндаля, чтобы уничтожить следы всех запахов, и взял вторую банку для смешивания растворов. В ней он быстро приготовил другие духи, своеобразную копию первых, которые тоже состояли из свежих цветочных элементов, но уже не на базисе колдовского зелья, а традиционного — немного мускуса, амбры, чуть-чуть цибетина и масла кедровой древесины. Конечно же и запах у них был совершенно другой, чем у первых — мягче, спокойнее, менее токсичный, — потому что в нем отсутствовали компоненты, имитирующие человеческий запах. Но если бы любой другой человек взял этот запах и смешал бы со своим, то результат этого смешивания ничем нельзя было бы отличить от того, который Гренуй создал для себя.

После того как он налил во флаконы и вторые духи, он догола разделся и обрызгал свое платье теми первыми. Затем намазал ими подмышки, между пальцами, в паху, на груди, на шее, ушах и волосах, снова оделся и вышел из мастерской.

32

Когда он вышел на улицу, его вдруг охватил страх, ибо он знал, что впервые в жизни от него исходит человеческий запах. Самому же ему казалось, что он воняет, воняет мерзко и отвратительно. И он не мог себе представить, что другие люди не воспринимают свой собственный запах так, как он, вонючим, и он не решился сразу же

отправиться в кабаk, где его ждали Рунель и гофмейстер маркиза. Менее рискованным показалось ему испытать новую ауру сначала на анонимном окружении.

По самым узким и темным закоулкам он проскользнул вниз к реке, где располагались ателье дубильщиков кожи и красильщиков тканей, распространяя вокруг себя характерное зловоние. Когда ему кто-нибудь встречался или когда он проходил мимо входа в дом, где играли дети или сидели пожилые женщины, Гренуй принуждал себя идти медленнее и нести свой запах большим закрытым облаком вокруг себя.

С детства он привык, что люди, прохoдив мимо, совершенно его не замечали, не обращали на него никакого внимания, но не из-за того, что презирали его — как он когда-то думал, — а потому что они просто не замечали его существования. Вокруг него не существовало никакого пространства, ни малейшего движения воздуха, ни малейшего колебания, которое бы он вызывал в атмосфере, никакой, так сказать, тени, которую он мог бы отбросить на лицо другого человека. Лишь только тогда, когда он прямо с кем-то сталкивался, в толпе или просто внезапно на каком-нибудь углу, лишь тогда его замечали, бросая на него короткий взгляд; и в основном с отвращением тут же старались отпрянуть, смотрели на него, Гренуя, несколько секунд, как будто они видели существо, которое просто не должно было здесь быть, существо, которое несмотря на очевидное присутствие, каким-то образом не было явью, — и снова устремлялись дальше, в тот же момент забывая о нем...

Но сейчас в переулках Монпелье Гренуй явно почувствовал и увидел — и каждый раз, когда он снова это видел, его охватывало чувство гордости, — что он оказывал какое-то воздействие на людей. Когда он проходил мимо женщины, которая стояла, наклонившись над краем колodца, заметил, как она подняла на мгновение голову, что-

бы посмотреть, кто это был, после чего, явно обеспокоенно, снова обернулась к своему ведру. Мужчина, стоявший к нему спиной, обернулся и долго с любопытством смотрел ему вслед. Дети, которых он встречал, уступали дорогу — не испуганно, а для того, чтобы пропустить его; и даже когда они выбегали из дверей домов и, не успев остановиться, наталкивались на него, то не пугались, а, как само собой разумеется, проскальзывали мимо, будто заранее предвидели появление его особы.

Благодаря множеству подобных встреч, он смог более тонко оценить силу и действенность своей новой ауры и почувствовал себя увереннее и смелее. Он стал быстрее подходить к людям, проходил мимо них почти вплотную, отставлял несколько дальше, чем нужно, в сторону руку и, будто случайно, гладил руку прохожего. Однажды он, вероятно по невнимательности, оттолкнул человека, который как раз собирался его обогнать. Он остановился, извинился, а человек, который еще вчера был бы поражен появлением Гренуя, как громом, сделал вид, что ничего не произошло, принял извинения, даже коротко улыбнулся и похлопал Гренуя по плечу.

Он вышел из переулков на площадь перед собором Св.Петра. Слышался колокольный звон. С обеих сторон портала толпились люди. В соборе как раз закончилась церемония бракосочетания. Все хотели увидеть невесту. Гренуй подбежал поближе и смешался с толпой. Он толкался, пробиравшись поглубже, стремился попасть туда, где люди стояли плотнее всего, где они должны были чувствовать кожу друг друга и где он хотел поднести свой запах прямо им под нос. И он развел руки прямо в тесноте толпы, и расставил ноги, и расстегнул воротник, чтобы запах беспрепятственно мог исходить от его тела... и радость его была безгранична, когда он понял, что все остальные не заметили ничего, совершенно ничего, что все эти мужчины, и женщины, и дети, стоявшие вокруг него и

ПАТРИК ЗЮСКИНД

тесно к нему прижатые, дали так просто себя обмануть и вдыхали его состряпанный из кошачьего дерьма, сыра и уксуса смрад как запах себе подобного, и принимали его, Гренуя, кукушечье отродье, воспринимали его как человека среди людей.

У своих колен он почувствовал стоявшего ребенка, маленькую девочку, зажатую среди взрослых. Он поднял ее вверх, в ханжеской заботе, и взял на руки, чтобы она могла лучше видеть. Мать не только стерпела, но была ему за это благодарна, а малышка даже взвизгнула от удовольствия.

Так Гренуй простоял добрых четверть часа в объятиях толпы, прижав к груди чужого ребенка. И когда свадебная процессия прошла мимо, сопровождаемая гулким колокольным звоном и приветственными криками людей, сквозь настоящий дождь бросаемых сверху монет, у Гренуя возникло другое чувство ликования, черный восторг, недоброе чувство триумфа, заставившее его дрожать и тронувшее, словно приступ похоти, и ему стоило усилий, чтобы не разбрызгать его, словно яд и желчь, над головами других людей и не крикнуть им с ликованием в лицо, что он совершенно их не боится, едва лишь ненавидит, скорее всем сердцем презирает, потому что они были до вони глупыми, так как позволили себя обмануть и обвести вокруг пальца, потому что они были ничем, а он был всем! И словно в насмешку еще сильнее прижал ребенка к себе, набрал в легкие воздуха и крикнул, сливаясь с общим хором: Да здравствует невеста! Слава невесте! Да здравствует прекрасная пара!

Когда свадебная процессия удалилась и толпа начала расходиться, он вернул ребенка матери и зашел в церковь, чтобы унять свое возбуждение и успокоиться. Внутри собора воздух был пропитан ладаном, который холодным туманом поднимался из двух каминов по обе стороны алтаря и, словно удушливое покрывало, ложился поверх

более слабых запахов людей, которые все еще продолжали сидеть здесь. Гренуй присел на скамейку под хорами.

В первый раз он испытывал чувство удовлетворенности. Не пьянящее, как тогда, в чреве горы, которое он испытывал во время своих одиноких оргий, а очень холодную и трезвую удовлетворенность, которая рождается пониманием своей собственной власти. Теперь он знал, на что он был способен. При помощи минимума средств он благодаря своему собственному гению повторил и создал человеческий запах, и сразу же на глаз тот удался ему так хорошо, что даже ребенок не почувствовал никакой фальши. Теперь же он знал, что был способен на большее. Он знал, что мог улучшить этот запах. Он мог создать запах, который был бы не просто человеческим, а сверхчеловеческим, ангельский аромат, столь неопишимо прекрасный и полный жизненных сил, что тот, кто его вдыхал, был бы очарован и вынужден любить его, Гренуя, как носителя этого запаха, всем сердцем.

Да, в шлейфе его аромата они были бы вынуждены не только признавать его, как себе равного, любить его до безумия, до самопожертвования, они вынуждены были бы дрожать от восторга, кричать, плакать от умиления, не зная почему, они были бы вынуждены падать на колени, как под холодным запахом божественного ладана, стоило бы им только почувствовать запах его, Гренуя! Он хотел бы быть всемогущим богом запахов, таким, каким он был в своих фантазиях, но уже в действительном мире, над реальными людьми. И он знал, что это было в его власти. Ибо люди могли закрыть глаза перед великим, перед ужасным, перед красотой, закрыть уши от музыки или мешающих речей. Но они никак не могли отгородиться от запахов. Ибо запах был братом дыхания. Вместе с последним он попадал в людей, они со своей стороны не могли от него защититься, если хотели жить. И таким образом запах попадал в них, прямо в сердце, и в корне отличался

от зависти или презрения, отвращения и желания, любви и ненависти. Кто овладевал запахами, тот овладевал сердцами людей.

Полностью расслабленный сидел Гренуй на скамейке в соборе Св.Петра и улыбался. Он не впал в эйфорию, когда разработал план покорения людей. В его глазах это не было бессмысленной болтовней, и его лицо не исказила ни одна сумасшедшая гримаса. Он не сошел с ума. Ум его был столь ясным и живым, что он задал себе вопрос, зачем это вообще ему нужно. И он сказал себе, потому что хотел этого, ибо был очень и очень зол. При этом он улыбнулся и остался полностью доволен. Выглядел он вполне невинно, как человек, который совершенно счастлив.

Некоторое время он продолжал сидеть в той же позе, в задумчивом спокойствии, и глубоко вдыхал наполненный ладаном воздух глубокими затяжками. И снова по его лицу пробежала довольная ухмылка: как же жалко пах этот Бог! Как плохо был приготовлен этот запах, который Бог распространял вокруг себя. Это был даже не настоящий аромат ладана, то, что лежало в кадилъницах. Это был плохой суррогат, подделанный при помощи липовой древесины, пыли корицы и селитры. Бог вонял. Бог был маленьким жалким вонючкой. Он был обманут, этот Бог, а может он и сам был обманщиком и никем иным, как Гренуй — только намного худшим!

33

Маркиз де ла Тайад-Эспинасс был от новых духов в восторге. Для него самого, сказал он, как для первооткрывателя летального флюида, просто ошеломительно видеть, какое сенсационное влияние может оказать столь второстепенное и летучее вещество, как духи, в зависи-

мости от того, сделаны они из близких к земле или из далеких от земли продуктов, на общее состояние отдельного индивидуума. Гренуй, который еще несколько часов назад лежал здесь бледный и близкий к обмороку, выглядит теперь свежим и цветущим, как здоровый молодой человек его возраста, да, можно сказать, что он — учитывая все условности и ограничения, кои присутствуют у человека его положения и образования, — почти стал чем-то вроде личности. Во всяком случае он, Тайад-Эспинасс, в главе о витальной диетологии своего будущего труда о теории летальных флюидов обязательно напишет об этом случае. Но в первую очередь он сам хочет побрызгаться новыми духами.

Гренуй, передал ему оба флакона с обещанными цветочными духами, а маркиз ими побрызгался. Запахом он остался в высшей степени доволен. Ему даже показалось, признался он, что у него выросли сплетенные из цветов крылья; а многолетнее употребление ужасных фиалковых духов, угнетавших, словно свинцовый груз, вызывало ужасную боль в коленях, точно также, как и шум в ушах; теперь же он во всем чувствовал себя окрыленным, ободренным и помолодевшим на много лет. Он подошел к Греную, обнял его и назвал его «мой флюидальный брат», добавив при этом, что речь здесь идет ни в коем случае не об общественном, а о чисто спиритическом обращении в *conspectu universalitatis fluidi letalis*, перед которым — и лишь только перед ним! — все люди были равны; и он еще планирует — это он сказал, выпуская Греную из своих объятий, хотя и очень дружелюбно, без отвращения, выпускал его почти, как себе равного, — вскоре основать международную надсословную ложу, цель которой полностью победить *fluidum letale*, дабы в наикратчайшее время заменить его *fluidum vitale*, первым новообращенным которой, и он это обещает, будет Гренуй. Затем он приказал записать рецепт цветочных духов на отдельном

листке, сунул его себе в карман и подарил Греную пятьдесят луидоров.

Ровно через неделю после первого доклада маркиз де ла Тайад Эспинасса снова представил своего протеже в университетской аудитории. Давка была невероятной. Весь Монпелье собрался здесь, и не только научный, но и светский Монпелье, среди которого было много дам, жаждущих увидеть сказочного пещерного человека. И хотя противники Тайад-Эспинасса, главным образом представители «Круга друзей университетского ботанического сада» и члены «Объединения содействия сельскому хозяйству», мобилизовали всех своих приверженцев, представление имело ослепительный успех. Чтобы вызвать в памяти публики состояние Гренуя недельной давности, Тайад-Эспинасс в самом начале пустил по рукам присутствующих рисунки, изображавшие пещерного человека во всем его уродстве и упадке. Затем он приказал ввести нового Гренуя, в красивом платье из синего бархата и шелковой рубашке, нарумяненного, нагудренного и подстриженного; и уже то, как он шел, а именно, выпрямившись, небольшими шажками, элегантно покачивая бедрами, как он без какой бы то ни было посторонней помощи поднялся на подиум, низко поклонился, кивнул с улыбкой на устах по сторонам, все это заставило всех сомневающихся и критиков замолчать. Даже друзей университетского ботанического сада сковало молчание. Слишком уж явным было изменение, слишком грандиозным чудо, которое здесь случилось: там, где неделю назад жался отвратительный, грязный, одичавший зверь, стоял теперь действительно цивилизованный, статный человек. В зале установилось почти благоговейно-восторженное настроение, а когда Тайад-Эспинасс перешел к докладу, воцарилась полная тишина. Он в очередной раз развил свою достаточно известную теорию летального земляного флюида, после чего дополнил, какими механическими и диети-

ческими средствами он удалил его из тела демонстрируемого и заменил его витальным флюидом, и наконец призвал всех присутствующих, как друзей, так и противников, ввиду столь значительной наглядности отказаться от сопротивления новому учению и вместе с ним, Тайад-Эспинассом, бороться против злого флюида и открыть себя доброму витальному флюиду. При этом он расставил руки и обратил глаза к небу, и многие из ученых мужей поступили также, как и он, а женщины заплакали.

Гренуй стоял на подиуме и совершенно ничего не слушал. С большим удовлетворением он наблюдал за действием совсем другого флюида, более реального: своего собственного. В соответствии с требованиями большой аудитории он очень сильно надушился, и аура его собственного запаха, не успел он еще взойти на подиум, уже мощно исходила от него. Гренуй видел, как она — видел буквально собственными глазами! — охватила сидящих ближе всего зрителей, распространялась все дальше назад и наконец достигла последних рядов и галереи. И когда она окутала их всех — сердце Гренуя едва не выскакивало из груди, — то изменения стали явно видимыми. В облаке его аромата, совершенно этого не осознавая, люди меняли выражения лиц, свои манеры, свои чувства. Те, кто сначала лишь тарачился на него с крайним удивлением, смотрели теперь мягким взглядом; кто сначала неподвижно сидели, откинувшись на спинку кресла, с критически наморщенными лбами и недвусмысленно опущенными уголками рта, теперь, расслабившись и подавшись вперед, сидели с чистыми по-детски лицами; и даже на лицах самых пугливых, испуганных, самых чувствительных, которые могли вынести его былой вид лишь с отвращением, а теперешний все еще с видимым скепсисом, виднелись проявления дружелюбности, да, даже симпатии, по мере того, как их окутывал его запах.

В конце доклада все собравшиеся поднялись и разра-

зились неистовым ликованием.— Да здравствует витальный флюид! Да здравствует Тайад-Эспинасс! Слава флюидальной теории! Долой ортодоксальную медицину! — кричал ученый народ Монпелье, самого значительного университетского центра юга Франции, а маркиз де ла Тайад Эспинасс переживал самые великие часы своей жизни.

Но Гренуй, который уже спустился с подиума и смешался с толпой, знал, что вообще-то овации были предназначены ему, ему одному, Жан-Батисту Греную, даже если ни один из ликующих в зале не имел об этом ни малейшего представления.

34

Еще несколько недель он оставался в Монпелье. Он стал в определенной степени известной личностью, и его приглашали в салоны, где ему задавали множество вопросов о его пещерной жизни и его излечении маркизом. И ему все время приходилось рассказывать историю о разбойниках, которые его схватили, и о корзине, которую ему оставляли, и о лестнице. И каждый раз он все больше это приукрашивал и придумывал все новые детали. Таким образом он в некоторой степени упражнялся в разговоре — конечно же, в очень ограниченной степени, потому что с языком он никогда особо не дружил — и, что было для него более важно, приобретал опыт обращения с ложью.

В общем-то, и он это понял, он мог рассказывать людям все, что ему хотелось. Стоило им хотя бы раз ему поверить — а они проникались доверием к нему с первого же вздоха, с которым они втягивали в себя его искусственный запах, — и они уже верили ему во всем. В некоторой степени он получил определенную уверенность в

светском обхождении, которого ему так никогда усвоить и не удалось. Она выразилась в его внешности. Казалось, что он вырос. Его горб, казалось, исчез. Он стал ходить почти что прямо. И когда к нему обращались, он больше не вздрагивал, а продолжал стоять выпрямившись и выдерживал все направленные на него взгляды. Конечно же за это время он не превратился в светского человека, в салонного льва или задушевного собеседника. Но с него слетело то подавленное, неуклюжее, которое уступило место такой манере держаться, которую можно было трактовать, как врожденную скромность или, может быть, как легкую природную пугливость, которая производила на некоторых господ и дам трогательное впечатление — в то время в светских кругах имелась слабость к естественному и до некоторой степени неотесанному шарму.

В начале марта он сложил свои пожитки и отправился восвояси, потихоньку, ранним-ранним утром, едва только открыли городские ворота, одетый в неброское коричневое платье, которое он купил накануне на барахолке, в кособокой шляпе, прикрывавшей его лицо. Никто его не узнал, никто не увидел и не обратил на него внимания, потому что в этот день он умышленно отказался от своих духов. И когда ближе к обеду маркиз организовал поиски, стража клялась, что из города вышло много людей, но среди них наверняка не было того пещерного человека, который бы обязательно бросился им в глаза. Поэтому маркиз распространил весть, что Гренуй покинул Монпелье с его согласия, чтобы отправиться в Париж по семейным обстоятельствам. Внутренне же он был чрезвычайно недоволен и обозлен, ибо намеревался предпринять с Гренуем целое турне по всему королевству, чтобы заполнить новых приверженцев своей теорией.

Через некоторое время он снова успокоился, потому что слава его распространялась и без турне и даже почти без каких бы то ни было усилий с его стороны. Появились

длинные статьи о fluidum letale Тайада в «Журналь де Саван» и даже «Курьер де л'Эроп», и издалека стали съезжаться пораженные флюидом пациенты, чтобы излечиться у него. Летом 1764 года он основал «Первую ложу витальных флюидов», которая насчитывала в Монпелье 120 членов и имела филиалы в Марселе и Лионе. После этого он решил совершить атаку на Париж, чтобы потом оттуда обратить в свою веру весь цивилизованный мир, но хотел предварительно совершить для пропагандистской поддержки флюидальный подвиг, который должен был отодвинуть в тень излечение пещерного человека и все остальные эксперименты, и возглавил в начале декабря группу неустрашимых приверженцев в экспедиции на пик Канигу, находившийся на том же меридиане, что и Париж и считался самой высокой вершиной Пиренеев. Стоящий на пороге старости человек хотел, чтобы его занесли на вершину высотой в 2800 метров, где собирался в течении трех недель дышать свежайшим, чистейшим витальным воздухом, чтобы, как он заявил, спуститься накануне Рождества бодрым юношей двадцати лет.

Приверженцы сдались уже вскоре после того, как прошли Верне, последнее человеческое поселение у подножия ужасной горы. Маркиза же не пугало ничего. Сбросив в ледяном холоде с себя одежду и издавая восторженные крики, он в одиночку начал восхождение. Последнее, что увидели люди, это был его силуэт, подняв в экстазе к небу руки, с громкой песней, он исчез в снежной завесе.

В святой вечер накануне Рождества приверженцы напрасно ожидали возвращения маркиза де ла Тайад-Эспинасса. Он не вернулся ни стариком, ни молодым. Даже ранним летом следующего года, когда самые смелые отправились на его поиски и покорили все еще заснеженный пик Канигу, не было найдено ни малейших его следов, никакой одежды, ни единой части тела, ни косточки.

АРОМАТ

Правда, это не вызвало крушения его учения. Наоборот. Вскоре возникло предание, что он смешался на вершине горы с вечным витальным флюидом, растворился в нем, он растворился в флюиде и стал парить там невидимым, но в вечной молодости над вершинами Пиренеев, и кто к нему поднимался, тот получал его частичку и целый год был защищен от болезней и от процесса старения. До самого 19 века летальная теория флюидов Тайада защищалась некоторыми медицинскими кафедрами и терапевтически применялась многими оккультными объединениями. И по сей день по обе стороны Пиренеев, а именно в Перпиньяне и Фигерасе существуют тайные ложи тайадистов, которые собираются раз в год, чтобы совершить восхождение на пик Канигу.

Там они разводят большой костер якобы по поводу солнцестояния и в честь Святого Иоанна — на самом же деле в честь своего мастера Тайад-Эспинасса и его великого флюида и для того, чтобы обеспечить себе вечную жизнь.

часть третья

35

Если на первое путешествие по Франции Греную понадобилось семь лет, то второе он совершил менее чем за семь дней. Он больше не избегал оживленных дорог и городов, не выбирал окольных путей. У него был запах, у него были деньги, у него была вера в себя, и он торопился.

Уже вечером того же дня, когда он покинул Монпелье, он добрался до Гро-дю-Руа, маленького портового города юго-западнее Эг-Морта, где сел на грузовой парусник, направлявшийся в Марсель. В Марселе он даже не стал выходить из порта, а сразу же нашел корабль, на котором отправился еще дальше, вдоль побережья, на восток. Через два дня он был уже в Тулоне, а еще через три дня — в Кане. Остаток пути он преодолел пешком. Он шел по дороге, ведущей вверх по холмам, на север.

Через два часа он стоял на округлой вершине, и перед его взором на многие мили раскинулся огромный лог, своеобразная гигантская тарелка, обрамление которой состояло из плавной поднимающихся холмов и крутых горных цепей. Широкая низина его была покрыта свежеработанными полями, садами и оливковыми плантациями. Над этой долиной лежал совершенно свой, до странного интимный климат. Хотя море было совсем близко, и его можно было увидеть даже с вершин холмов, здесь господствовало что-то совсем не морское, не солено-песчаное, не

открытое — полная уединенность, будто побережье находилось во многих днях пути. И хотя с северной стороны стояли высокие горы, на которых еще лежал снег и собирался лежать еще долго, здесь не чувствовалось ничего резкого или недостающего, а также не было холодного ветра. Весна здесь продвинулась уже намного дальше, чем в Монпелье. Мягкие испарения висели над полями, подобно стеклянному колоколу. Цвели абрикосы и миндаль, и теплый ветер был пропитан ароматом нарциссов.

На другом конце огромной тарелки, на расстоянии примерно двух миль, расположился, а еще лучше сказать, прилеился к поднимающимся вверх горам город. На расстоянии он не производил особо помпезного впечатления. В нем не было величественного собора, возвышающегося над домами, а только лишь церковная колокольня с маленьким концом, не было какого-либо доминирующего строения, ни одного бросающегося в глаза роскошного здания. Городские стены казались более чем лишними, там и сям дома выходили за их границы, прежде всего вниз, в сторону долины, и придавали мягкой картине несколько растрепанный вид. Казалось, что этот город часто подвергался захвату и снова освобождался, выглядел он будто бы усталым, думая о предстоящих набегах завоевателей и об оказании какого бы то ни было серьезного сопротивления — не из-за слабости, а из-за медлительности или даже из-за чувства собственной силы. Он выглядел так, будто просто не хотел щеголять роскошью. Он владел огромной, наполненной ароматами равниной у своих ног, и казалось, что этого ему вполне достаточно.

Этот одновременно невзрачный и преисполненный чувства собственного достоинства город был городом Грасом, непревзойденной уже несколько столетий метрополией по производству и продаже ароматических веществ, парфюмерных изделий, мыла и масел. Джузеппе Балдини всегда произносил это название с фанатичным восторгом.

Этот город был Римом всевозможных ароматов, обетованной землей парфюмеров, и тот, кто не завоевал признания здесь, тот не имел права называться парфюмером.

Гренуй смотрел на город Грас совершенно трезвым взглядом. Он не искал обетованной земли парфюмеров, и сердце его не затрепетало при виде гнезд, приклеившихся к подножию холмов. Он пришел, потому что знал, что тут можно было изучить некоторые способы и технику получения запахов лучше, чем где бы то ни было. И именно это он собирался здесь приобрести, ибо это было ему необходимо для достижения своих целей. Он вытащил из кармана флакон со своими духами, экономно побрызгался и направился в город. Через полтора часа, около полудня, он уже был в Грасе.

Он перекусил в гостинице в верхней части города, на Площади Оз-Эр. По всей длине площадь пересекал ручей, в котором кожевенники полоскали кожи, чтобы затем расстелить их для просушки. Запах был настолько едким, что у многих посетителей пропадал всякий аппетит. У него же, у Гренуя, нет. Этот запах был ему хорошо известен, и он придавал ему чувство уверенности. В каждом городе он прежде всего находил квартал кожевенников. После этого ему начинало казаться, что, выходя из сферы вони и исследуя другие районы города, он не был более в нем чужаком.

Всю вторую половину дня он ходил по городу. Он был невероятно грязным, несмотря или может даже скорее из-за большого количества воды, струящейся из множества родников и источников и бегущей через город беспорядочными ручьями и бурлящими потоками, подмывая улицы или заливая их грязью. Дома в некоторых кварталах стояли столь плотно, что для проходов и лестниц оставалось мало места, и пробирающиеся сквозь грязь прохожие были вынуждены жаться друг к другу. И даже на

площадях и немногих широких улицах повозки едва могли разъехаться.

И все-таки при всей этой грязи, при всей неопрятности и тесноте, город просто-таки распирало от ремесленной деятельности. Во время своей экскурсии Гренуй обнаружил не менее семи мыловарен, десяток ателье парфюмеров и перчаточников, несметное количество мелких перегонных мастерских, ателье по производству помад и всевозможных специй и, наконец, множество лавок, занимающихся оптовой продажей пахучих продуктов.

Тут были прежде всего купцы, которые владели настоящими большими конторами по продаже ароматических веществ. Но дома их были в основном незаметными, выходящие на улицы фасады выглядели весьма скромно. Но то, что находилось за ними, в кладовых и в огромных подвалах: бочки с маслами, штабели наилучшего лавандового мыла, бутылки с цветочной водой, вином, спиртом, кипы ароматизированных кож, мешки, и сундуки, и ящики, набитые пряностями... — это были богатства, которыми не владели и князя. И когда он острее внюхивался, сквозь выходящие на улицы прозаические помещения магазинов и складов, он обнаруживал, что с обратной стороны этих невзрачных мещанских домов находились постройки роскошного вида. Вокруг маленьких, но очаровательных садов, в которых росли олеандры и пальмы и нежно журчали окруженные цветочными грядками фонтаны, расстилались в основном U-образные, обращенные на юг, собственные крылья этих владений: залитые солнцем, отделанные шелковыми шпалерами спальни покои в верхних этажах, пышные, отделанные плитками экзотического дерева салоны в нижних этажах и столовые, построенные выдающимися вперед, в которых действительно, как и рассказывал Балдини, ели золотыми приборами на фарфоровых тарелках. Господа, которые жили за эти-

ми скромными кулисами, пахли золотом и властью, тяжелым и обеспеченным богатством, и они пахли всем этим сильнее, чем вообще пахло в этом смысле что-либо из того, что успел унюхать Гренуй за все это путешествие по провинциям.

Перед одним из таких закамouflированных дворцов он простоял довольно продолжительное время. Дом стоял в самом начале улицы Друат, одной из главных улиц, пересекавшей город по всей его длине с запада на восток. В нем не было видно ничего особенного, разве что спереди он был несколько шире и выглядел зажиточнее стоявших по соседству зданий, но никак не импозантно. Перед воротами стояла телега с бочками, которые как раз сгружали. Рядом стояла другая повозка. Какой-то человек, взяв в руку бумаги, зашел в контору, вышел оттуда с другим человеком, после чего оба скрылись за воротами. Гренуй стоял на другой стороне улицы и наблюдал за всем происходящим. То, что происходило перед ним, его совершенно не интересовало. Тем не менее, он продолжал стоять. Что-то его удерживало.

Он закрыл глаза и сконцентрировался на запахах, которые доносились до него со стороны здания. Там были запахи бочек, уксуса и вина, затем смешавшиеся сотнями оттенков запахи склада, затем запахи богатства, струящиеся сквозь стены, словно нежный золотой пот, и наконец, запахи сада, который находился, по всей видимости, с другой стороны дома. Было непросто уловить эти тонкие запахи сада, потому что они лишь тонкими полосками перелетали через гребень крыши дома, попадая на улицу. Гренуй определил запахи магнолии, гиацинтов, волчника и рододендрона... — но, казалось, здесь присутствует еще какой-то запах, нечто убийственно-хорошее, что издавало запах в этом саду, запах столь прекрасный, который он еще ни разу в своей жизни — или может быть один един-

ственный раз — чувствовал своим собственным носом... Он был просто вынужден приблизиться к этому запаху.

Он подумал, сможет ли он проникнуть в усадьбу просто через ворота. Но там постоянно было такое количество людей, занимавшихся разгрузкой и проверкой бочек, что его наверняка бы поймали. Он решил вернуться назад по улице, чтобы найти переулок или проход, который бы проходил вдоль боковой стороны дома. Через несколько метров он дошел до городских ворот в начале улицы Друат. Он прошел через них, резко повернул налево и двинулся вдоль городской стены вниз по склону. Он прошел совсем немного и почувствовал запах этого сада, сперва слабый, все еще смешанный с запахами полей, а затем все более сильный. Наконец он понял, что находится совсем рядом с ним. Сад граничил с городской стеной. Он был прямо рядом с ней. Отойдя немного от стены, он смог увидеть через нее самые верхние ветви апельсиновых деревьев.

Он опять закрыл глаза. Запахи сада опускались на него сверху, различимые четко и ясно, как цветные полоски радуги. И один из них, тот ценный, тот, из-за которого он пришел сюда, был среди них. Гренуя охватил жар блаженства и холод страха. Кровь ударила ему в голову, словно у застигнутого на горячем мальчишки, и снова отлила в середину тела, и снова ударила, и снова отлила, а он ничего не мог против этого предпринять. Слишком уж неожиданно обрушилась на него эта ароматическая атака. На какое-то мгновение, на протяжении какого-то вдоха, а ему показалось, что навечно, время для него замедлилось или даже вообще исчезло, ибо он уже не мог понять, что сейчас называлось «сейчас», а что здесь называлось «здесь», или даже больше не существовало понятий «сейчас» и «тогда», а также «здесь» и «там», а именно улицы Марэ в Париже, в сентябре 1755 года: запах, доно-

сящий до него из сада, был запахом рыжеволосой девочки, которую он тогда убил. То, что он снова обнаружил этот запах в окружающем его мире, навернуло ему на глаза слезы глубочайшего счастья — а то, что этого просто не могло быть, испугало его до смерти.

У него закружилась голова, даже подкосились ноги, и он был вынужден опереться о стену и медленно соскользнуть по ней вниз, чтобы сесть на корточки. Собравшись и обуздав свой дух, он принялся втягивать фатальный запах короткими, менее глубокими вдохами. И он сделал вывод, что запах по ту сторону стены был чрезвычайно похож на запах рыжеволосой девушки, но, тем не менее, имел некоторые различия. Конечно же, он исходил тоже от рыжеволосой девушки, в этом не было никаких сомнений. Гренуй видел эту девушку своим обонятельным воображением словно на картине, стоящей перед ним: она не сидела на месте, а прыгала из стороны в сторону, она согревалась и снова старалась охладиться, она явно играла в какую-то игру, при которой нужно было быстро двигаться и так же быстро останавливаться — впрочем, с каким-то другим человеком с совершенно невыразительным запахом. У нее была ослепительно белая кожа. У нее были зеленоватые глаза. У нее были веснушки на лице, на шее и на груди... это значило — Гренуй на мгновение задержал дыхание, после чего вздохнул сильнее и попробовал вызвать в памяти образ девушки с улицы Марэ — ... это значило, эта девушка не имела еще груди в полном смысле этого слова! У нее были едва заметные намеки на грудь. У нее были бесконечно нежные и едва пахнущие, усеянные веснушками, возможно, появившиеся лишь несколько дней назад или даже несколько часов назад... даже может быть в этот самый момент начинающие округляться бугорки крошечной груди. Одним словом, девушка была еще ребенком. Но каким ребенком!

Лоб Гренуя покрылся потом. Он знал, что дети не имели какого-то особенного запаха, точно также, как нераспустившиеся, еще зеленые цветы перед своим цветением. Но этот же, этот еще совершенно нераскрывшийся цветок там, за стеной, который еще никем до него, Гренуя, не был замечен, распространял такой запах, пах уже столь райски, что от этого запаха просто начинали шевелиться волосы, и если бы он когда-нибудь смог распуститься в полном своем великолепии, то стал бы источать такой аромат, которого мир еще не чувствовал. Он уже сейчас пахнет лучше, думал Гренуй, чем тогда та девушка на улице Марэ,— не так сильно, не так явно, но прекраснее, с более богатыми оттенками и при всем этом естественнее. Но через год-два этот запах бы созрел и получил бы такую силу, что ему не смог бы противиться ни один человек: ни мужчина, ни женщина. И люди были бы побеждены, разоружены, беспомощны перед волшебством этой девушки, и они совершенно бы не знали, почему. И потому что они глупы и их носы приспособлены лишь для сопения, и потому что они верят в то, что могут все распознать своими глазами, они сказали бы: происходит это потому, что эта девушка обладает красотой, и грацией, и привлекательностью. В своей ограниченности они будут восхвалять ее правильные черты, стройную фигуру, великолепную грудь. И глаза ее, скажут они, похожи на изумруд, а зубы на жемчужины, а руки ее гладки, как слоновая кость — и еще множество идиотских сравнений. И они назовут ее королевой жасминов, и ее будут рисовать дурацкие портретисты, на ее портрет будут тарачиться, будут говорить, что она самая красивая женщина Франции. И молодые люди будут ночами напролет сидеть под ее окнами, воя под звуки мандолины... толстые, богатые, старые мужчины, ползая на коленях, будут умолять ее отца отдать им ее руку... а женщины всех возрастов будут при

виде ее вздыхать и мечтать в своих снах хотя бы один день побыть такой же, как и она. И все они не будут знать того, что все дело не во внешнем виде, добычей которого они становятся, не в ее как будто бы безупречной внешности, а только лишь в ее уникальном, ни с чем несравнимом, великолепном запахе! И лишь он знал бы об этом, он, Гренуй, он один. И он знал об этом уже сейчас.

Ах! Он хотел получить этот запах! Не таким бессмысленным, неуклюжим образом, как случилось тогда с запахом девушки с улицы Марэ. Тот запах он всего лишь втянул в себя и тем самым разрушил. Нет, запах девушки из-за стены он хотел получить на самом деле; стянуть его с нее, словно шляпу, и превратить в свой собственный запах. Как это должно было произойти, он еще не знал и сам. Но у него было целых два года, чтобы этому научиться. В общем-то это могло оказаться не сложнее, чем укрывать запах у редкого цветка.

Он поднялся. Почти благоговейно, словно он покидал что-то священное или уходил от спящей, он удалился, пригнувшись, тихо, чтобы никто его не увидел, никто не услышал, никто не обратил внимания на его драгоценную находку. Так он ретировался вдоль стены до тех пор, пока не дошел до противоположного конца города, где аромат девушки наконец потерялся, и он нашел другой вход в город у заставы Фенеан. В тени домов он остановился. Вонючий дух переулков придал ему уверенности и помог обуздать охватившую его страсть. Через четверть часа он снова был совершенно спокоен. В первую очередь, подумал он, я больше не буду приближаться к саду у городской стены. В этом не было необходимости. Слишком уж он его возбуждал. Цветок в нем рос и без его участия, а каким образом тот расцветет, он знал и так. Он не мог бесконечно наслаждаться его ароматом. Он должен был погрузиться в работу. Ему было необхо-

димо расширить свои знания и усовершенствовать свое профессиональное умение, дабы быть во всеоружии к моменту, когда придет время собирать урожай. У него было еще целых два года.

36

Неподалеку от заставы Фенеан, на улице Де-ла-Лув, Гренуй наткнулся на маленькую парфюмерную мастерскую и спросил насчет работы.

Он узнал, что патрон, метр парфюмер Оноре Арнульфи, скончался прошлой зимой и что вдова, живая черно-волосая женщина лет около тридцати вела теперь дела сама при помощи лишь одного подмастерья.

Мадам Арнульфи после того, как долго жаловалась на плохие времена и свое ужасное материальное положение, заявила, что хотя она и не может позволить себе второго подмастерья, тем не менее из-за накопившегося большого количества дел в таковом срочно нуждается; кроме того, второго подмастерья она ни коим образом не может приютить в своем доме, но тем не менее у нее есть крошечный сарай в оливковом саду за францисканским монастырем — в каких-то десяти минутах хода отсюда, — в котором непритязательный молодой человек в случае необходимости мог бы ночевать; она хоть и знает, как честная мастерица, о своей ответственности за благосостояние своих подмастерьев, не видит никакой возможности обеспечить в день двухразовое горячее питание — одним словом, мадам Арнульфи была — и Гренуй уже давно это унюхал, — женщиной с хорошим благосостоянием и правильным пониманием дел. И так как его самого деньги не интересовали, и он заявил, что довольствуется двумя франками зарплаты в неделю и другими самыми необхо-

ПАТРИК ЗЮСКИНД

димыми условиями, они быстро договорились. Был вызван первый подмастерье, огромный человек по имени Дрюо, глядя на которого Гренуй сразу же понял, что тот привык делить с мадам ложе и без консультации с ним она не принимала никаких решений. Он встал вплотную перед Гренуем, который выглядел перед этим исполином до смешного маленьким, широко расставил ноги, источая облако запаха спермы, посмотрел на него, причем смотрел неотрывно, словно таким образом пытался распознать какие-то скрытые помыслы или увидеть в нем соперника, наконец снисходительно ухмыльнулся и кивком дал свое согласие.

С этим все было улажено. Греную пожали руку, он получил холодный ужин, одеяло и ключ от хибары, не имеющего окон сарая, который приятно пах старым овечьим пометом и сеном и в котором он, насколько это было возможно, обустроился. На следующий день он приступил к работе у мадам Арнульфи.

Это было время нарциссов. Мадам Арнульфи сама выращивала их на собственном маленьком участке, который находился ниже города в большой котловине, или покупала у крестьян, отчаянно торгуясь с ними за каждую партию товара. Цветы доставлялись с самого раннего утра, ссыпались прямо в мастерской, десятками тысяч, в объемистые, но легкие, как перышки, душистые кучи. Дрюо тем временем растапливал в большом котле свиной и говяжий жир, превращая его в густой суп, и пока Гренуй непрерывно помешивал его лопаткой, длиной с венник, тот забрасывал четвериками свежие цветы. Словно до смерти испуганные глаза, они на секунду замирали на поверхности и бледнели в то самое мгновение, когда лопатка касалась их, а горячий жир окутывал со всех сторон. И почти в тот же самый момент они становились вялыми и размякшими, и смерть так быстро опускалась

на них, что им совершенно не оставалось никакого другого выбора, как испустить свой ароматический дух в это окружающее их месиво и захлебнуться; потому что — Гренуй обнаружил это к своему неопишуемому восторгу — чем больше цветов он перемешивал в своем котле, тем сильнее пропитывался запахом жир. И это даже были не мертвые цветы, которые продолжали испускать аромат в жире, нет, это был сам жир, который впитал в себя аромат цветов.

Со временем суп становился совершенно густым, и нужно было быстро сливать его через большое сито, чтобы отделить его от обескровленных трупов и подготовить для засыпки новых свежих цветов. После этого они продолжали снова засыпать, и перемешивать, и фильтровать, целый день напролет, без перерыва, ибо дело это не терпело проволочек, пока до вечера все кучи цветов не проходили через котел с жиром. Остатки — чтобы ничего не было потеряно — забрасывались в кипящую воду и выжимались под винтовым прессом до самой последней капли, с которой они отдавали свои последние нежные ароматические масла. Но величие аромата, душа цветочного моря, оставалась в котле, закрытая и сохраненная в невзрачной серо-белой, медленно застывающей массе жира.

На следующий день мацерация, как они называли эту процедуру, продолжалась, котел снова разогревался, жир расплавлялся и загружался новыми цветами. Так продолжалось много дней, с утра до вечера. Работа была тяжелой. Когда Гренуй вечером добирался до своего сарая, руки его были словно налиты свинцом, на руках были мозоли, болела спина. Дрюо, который был раза в три сильнее, чем он, ни разу не подменил его, когда он перемешивал жир, а ограничивался тем, что засыпал в котел легенькие цветы, следил за огнем и, при возможности, из-за жары ходил выпить глоток воды. Гренуй не роптал. Он

молча продолжал перемешивать цветы в жире с утра и до вечера, и едва чувствовал в процессе перемешивания на-пряжение, ибо был зачарован процессом, который каждый раз по-новому разворачивался перед его глазами и перед его носом: быстрое умирание цветов и поглощение их аро-мата.

Через определенное время Дрюо делал вывод, что жир уже насыщен и не может больше впитывать в себя ароматы. Они тушили огонь, в последний раз сливали через сито тяжелый суп и заливали его в фаянсовый тигель, где он вскоре застывал в великолепно пахнущую помаду.

Это был час мадам Арнульфи, которая приходила проверить ценный продукт, подписать его и как можно точнее внести полученный материал по качеству и коли-честву в свои книги. Когда она собственноручно закрыва-ла тигель крышкой, опечатывала и относила в прохлад-ные глубины своего подвала, то одевала черное платье, черный вдовый шлейф и совершала поход по купцам и торговым парфюмерным домам города. Торопливыми словами она обрисовывала свою ситуацию, изображая себя одинокой женщиной, делала предложения, сравнива-ла цены, вздыхала и наконец продавала — или не продава-ла. Ароматизированная помада хранилась в прохладе до-лго. И если цены теперь оставляли желать лучшего, кто знал, может они зимой или следующей весной поползут вверх. Можно было подумать и о том, чтобы не продавать сейчас маленькими партиями, а вместе с другими малень-кими производителями отправить на корабле большую партию в Геную или с караваном отправить ее для учас-тия в осенней ярмарке в Бокере — конечно же рискован-ное предприятие, но в случае успеха очень выгодное. Все эти возможности она тщательно взвешивала, сравнивала, а иногда соединяла, и тогда часть своих сокровищ прода-

вала, часть приберегала, а с частью поступала на свой страх и риск. Если же во время хождений у нее складывалось впечатление, что рынок помады перенасыщен и в обозримом будущем в лучшую сторону не изменится, она в своем развевающемся шлейфе мчалась домой и давала Дрюю задание подвергнуть всю продукцию переработке и превратить ее в Essence Absolute.

И тогда помаду снова доставали из подвала, аккуратнейшим образом подогревали в закрытых сосудах, разбавляли самым высокосортным винным спиртом и при помощи встроенного устройства для перемешивания, которое обслуживал Гренуй, тщательно смешивали и растворяли. Помещенная снова в подвал, эта смесь быстро остывала, спирт отделялся от застывшего жира помады и мог быть слит в бутылку. Он представлял собой лишь грубое подобие духов, прежде всего из-за чрезвычайной интенсивности, в то время как оставшаяся помада теряла большую часть своего аромата. Таким образом, аромат цветов в очередной раз переходил к другому носителю. Но и на этом операция не заканчивалась. После тщательной фильтрации сквозь марлевые салфетки, в которых оседали самые мелкие сгустки жира, Дрюю заливал ароматизированный спирт в небольшой перегонный аппарат и ставил его на небольшой огонь. То, что оставалось в трубке после испарения спирта, представляло крошечное количество бледной жидкости, которая уже была Греную хорошо известна, но которую он никогда не чувствовал на запах, ни у Балдини, ни у Рунеля, в таком качестве и в такой чистоте: чистое масло цветов, их абсолютный аромат, концентрированный сотнями тысяч крат в маленькой лужице Essence Absolute. Эта эссенция уже не имела нежного запаха. Она скорее пахла до боли интенсивно, резко и едко. И все же единственной ее капли было достаточно, чтобы, разбавив ее в литре спирта, снова оживить аромат и снова вернуть к жизни целое поле цветов.

Произведенное количество было до ужасного малым. Ровно в трех маленьких флаконах умещалась вся жидкость из перегонной трубки. Больше ничего не оставалось из аромата сотен тысяч цветов, кроме этих трех флаконов. Но они стоили целое состояние даже здесь, в Грасе. А на сколько еще дороже, если отправить их в Париж или в Лион, в Гренобль, в Геную или Марсель! При виде этих бутылочек у мадам Арнульфи взгляд становился мягким, она ласкала их глазами, а когда взяла и закупорила идеально отшлифованными стеклянными пробками, то даже задержала дыхание, чтобы не сдуть ничего из драгоценного содержимого. А чтобы и после закупорки ни один атом не смог испариться, она заливала пробки жидким воском и помещала их в рыбий пузырь, который намертво привязывала к горлышку бутылки. Затем она ставила их в заполненные ватой ящички, которые помещала в подвалы за семью замками.

37

В апреле они мацерировали дрок и апельсиновый цвет, в мае целое море роз, аромат которых погрузил город на целый месяц в кремово-сладкий невидимый туман. Гренуй работал как лошадь. Скромно, с почти рабской готовностью он выполнял всю самую грязную работу, которую поручал ему Дрюо. Но в то же время, пока он, на первый взгляд, тупо помещивал, фильтровал, мыл банки, убирал мастерскую или таскал дрова, от его внимания не ускользало ничего из самого процесса, ничего из метаморфозы ароматов. Точнее, чем мог бы это предположить Дрюо, с помощью своего носа Гренуй следил за перемещением ароматов с цветочных лепестков через жир и спирт в маленькие ценные флаконы и запоминал. Еще задолго до того, как это замечал Дрюо, он определял, когда жир

перегрелся, он носом чувствовал, когда цветы полностью уже отдавали свой запах, когда суп насыщался ароматом, он унюхивал, что творилось внутри сосуда, в котором происходило смешивание, и в какой точно момент процесс перегонки должен был заканчиваться. И при случае он давал это понять, конечно совершенно опосредованно и не изменяя своему рабскому поведению. Ему очень кажется, говорил он, что жир сейчас нагрелся очень сильно; ему почти кажется, что его уже пора фильтровать; у меня появилось чувство, что спирт в перегонном аппарате уже испарился... А Дрюо, который не был, конечно, безупречно сообразительным, но не был и абсолютным глупцом, со временем понял, что самые лучшие решения он принимал тогда, когда поступал именно так или делал то, что Греную «очень казалось» или когда у него «появлялось чувство». А так как Гренуй никогда нескромно или свысока не высказывал, что он думает или что у него на душе, и потому что он никогда — и прежде всего никогда в присутствии мадам Арнульфи! — не ставил даже в шутку под сомнение авторитет Дрюо как первого подмастерья, сам Дрюо не видел повода, чтобы не следовать советам Гренуя, а со временем даже не противился тому, чтобы тот открыто выражал свое мнение.

Все чаще случалось, что Гренуй не только помешивал, но и вместе с этим загружал, поддерживал огонь и фильтровал, пока Дрюо на минутку исчезал в «Четырех Дофинах», чтобы пропустить стаканчик вина, или наверху у мадам, чтобы там воспользоваться своими правами. Он знал, что может положиться на Гренуя. А Гренуй, хотя и вынужден был выполнять двойную работу, наслаждался тем, что был один, и выпитывал в себя новое искусство, и мог при случае ставить маленькие эксперименты. И с воровской радостью он убеждался, что сделанная им помада была несравненно лучше и что его Essence Absolute была

на порядок чище, чем та, которую они приготовили вместе с Дрюо.

В конце июля наступило время жасминов, в августе — ночных гиацинтов. Оба цветка обладали столь изысканным и вместе с тем хрупким ароматом, что их цветы не только нужно было срезать перед восходом солнца, но и подвергать специальной, самой нежнейшей обработке. Тепло смягчало их аромат, но неожиданное купание в горячем мацерационном жиру полностью его разрушало. Эти самые благородные из всех цветов не давали просто так вынуть из них душу, нужно было выманивать эту душу хитростью. В специальном помещении для ароматизации их раскладывали на вымазанных холодным жиром пластинах или свободно заворачивали в пропитанную маслом ткань, где они медленно засыпали смертельным сном. И только через три или четыре дня они увядали и выдыхали свой аромат в соседствующий с ними жир или масло. После этого нужно было аккуратно их выдернуть и заложить туда свежие цветы. И так нужно было повторять десять — двадцать раз, и пока помада насыщалась и ароматное масло можно было уже выжимать из ткани, наступал сентябрь. Полученного продукта было намного меньше, чем при мацерации, но качество добытой холодной обработкой жасминовой пасты или изготовленного туберозового масла превосходило любой другой продукт парфюмерного искусства по тонкости и близости к оригиналу. Особенно с жасмином создавалось такое впечатление, как будто сладковато-захватывающий, эротический аромат цветка отражался в смазанных жиром пластинах, как в зеркале, и снова отражался оттуда без малейших изменений — *cum grano salis*, разумеется. Ибо нос Гренуя различал, естественно, разницу между запахом цветов и их консервированным ароматом: словно слабый шлейф, собственный запах жира присутствовал здесь же — он мог

быть сколь угодно чистым, — пробиваясь сквозь ароматическую картину оригинала, слегка смягчал присутствующий запах, наверное вообще делал его прелесть выносимой для человека... Но во всяком случае холодная обработка была самым рафинированным и действенным средством, чтобы уловить эти нежные ароматы. Лучшего просто не существовало. И если этого метода оказывалось недостаточно, чтобы полностью удовлетворить нос Гренуя, то он знал, что его абсолютно достаточно для обмана мира тупых носов.

Уже по прошествии некоторого времени он превзошел своего наставника Дрюо как в мацерировании, так и в искусстве холодного ароматизирования и дал ему это понятие самым понятным, преданно-тактичным образом. Дрюо с удовольствием перепоручил ему хождение на бойню и покупку там наилучших жиров, их очистку, перегонку, фильтровку и определение их доли в процессе смешивания — всегда в высшей мере сложная работа для Дрюо, перед которой он испытывал немалый страх, ибо недостаточно чистый, прогорклый или чрезмерно пахнущий свиной, бараниной или говядиной жир мог испортить драгоценную помаду. И он перепоручил ему определять выдержку смазанных жиром пластин в помещении для ароматизации, время смены цветов, уровень насыщения помады, перепоручил вскоре ему принятие всех щекотливых решений, которые он, Дрюо, как в свое время и Балдини, мог принимать лишь весьма приблизительно, пользуясь принятыми правилами, но которые Гренуй принимал, пользуясь совершенством своего носа — о чем, конечно, Дрюо даже не догадывался.

— У него легкая рука, — говорил Дрюо, — и у него хорошее чувство вещей. — А иногда у него возникала мысль: он просто-напросто намного способнее меня, как парфюмер он в сотню раз лучше меня. — И вместе с этим он счи-

тал его законченным тупицей, потому что Гренуй, как ему казалось, не нажил своими способностями ни малейшего капитала, а он же, Дрюо, со своими скромными способностями в скором времени станет мастером. И Гренуй только укреплял его в этом мнении, выказывал глуповатое усердие, не проявлял тщеславия, вел себя так, будто совершенно ничего не знал о своей собственной гениальности, и даже так, словно делал все согласно указаниям намного более опытного Дрюо, без которого он был совершенное ничто. Таким образом они прекрасно сработывались.

Затем наступила осень, а за ней и зима. В мастерской стало поспокойнее. Цветочные ароматы, упакованные в горшочки и флаконы, томились в подвале, и если мадам не желала, чтобы была вымыта та или другая помада или был подвергнут перегонке мешок сушеных пряностей, делать было по большому счету нечего. Пока еще поступали оливки, неделя за неделей, по несколько полных корзин. Они выдавливали из них основное масло, а выжатые остатки перерабатывали на специальной масляной мельнице. И вино, часть которого Гренуй перегонял и ректифицировал в спирт.

Дрюо утруждал себя контролем все меньше. Он выполнял свой долг в постели мадам, и если появлялся, воюя потом и спермой, то лишь для того, чтобы тут же исчезнуть в «Четырех Дофинах». И сама мадам тоже спускалась вниз весьма редко. Она была занята делами своего состояния и переработкой своего гардероба на то время, когда закончится первый год ее вдовства. Зачастую Гренуй целыми днями не видел никого, кроме служанки, у которой он днем получал суп, а вечером хлеб и оливки. Он почти никуда не выходил. В корпоративной жизни, в частности во встречах членов цеха и в их шествиях, он принимал участие столь часто, что практически никто не

замечал ни его отсутствия, ни его присутствия. Дружбы или близких отношений он не водил ни с кем, но тщательно следил за тем, чтобы по возможности не прослыть ни высокомерным, ни отшельником. Другим подмастерьям он дал понять, что его общество будет скучным и нудным. Он был мастером в искусстве распространения скуки и изображения себя беспомощным глупцом — конечно же никогда настолько, чтобы над ним с удовольствием смеялись или чтобы из него могли сделать жертву какой-нибудь грубой шутки цеховиков. И ему удалось показаться всем в высшей степени неинтересным. Его оставили в покое. А он ничего другого и не желал.

38

Все свое время он проводил в мастерской. Дрюо же он говорил, что хочет изобрести рецепт одеколона. На самом же деле он экспериментировал с совершенно другими ароматами. Его духи, которые он приготовил в Монпелье, постепенно подходили, как он ни экономно их расходовал, к концу. Он смешал себе новые. Но на этот раз он не удовлетворился тем, чтобы приблизительно сымитировать человеческий запах из спешно подготовленных материалов, а направил свое тщеславие на то, чтобы обзавестись своим личным запахом или даже множеством своих личных запахов.

Сначала он приготовил запах, совершенно незапоминающийся, серое, неприметное, словно мышка, повседневное прикрытие, в котором творожно-кислый человеческий запах все еще присутствовал, но в то же время проникал во внешний мир, словно сквозь толстые полотняные и шерстяные одежды, одетые на сухую стариковскую кожу. С таким запахом он мог спокойно находиться среди лю-

дей. Духи были достаточно сильными, чтобы с обонятельной точки зрения обосновать существование некоей персоны, и вместе с тем настолько скромными, что никому не запоминались. Таким образом, Гренуй с точки зрения запахов вроде бы и не существовал, но вместе с этим присутствовал как бы самым скромным образом — в состоянии клеща, которое в высшей степени подходило ему как в доме Арнульфи, так и во время его случайных прогулок по городу.

При определенных обстоятельствах конечно же скромный запах становился препятствием. Когда он по поручения Дрюо совершал покупки или покупал для себя самого у какого-нибудь торговца немного цибетина или несколько зерен мускуса, случалось так, что его в этой совершенной невзрачности либо полностью не замечали и не обслуживали, или же все-таки замечали, но обслуживали не так, как нужно, либо снова забывали о нем в процессе обслуживания. Для подобных случаев он приготовил себе чуть более представительные, слегка пахнущие потом духи, с рядом обонятельных углов и кантов, придававших ему более грубое впечатление присутствия и наводивших людей на мысль, что он очень торопится и его подгоняют важные дела. Когда необходимо было в определенной степени привлечь чье-либо внимание, он добивался хороших результатов с помощью съмитированной ауа *seminalis* Дрюо, которую приготовил с максимальной близостью к оригиналу путем нанесения на жирный льняной платок пасты из свежих утиных яиц и поджаренной пшеничной муки.

Еще одни духи из его арсенала были ароматом, вызывающим сочувствие, он использовал их при общении с женщинами среднего и пожилого возраста. Они пахли разбавленным молоком и чистым мягким деревом. С их помощью Гренуй производил впечатление — даже если он

появлялся с небритой, мрачной физиономией и в пальто — бедного, бледного мальчишки в обтрепанной курточке, которому просто необходимо было помочь. Базарные торговки, когда до них доносился его запах, протягивали ему орехи и сушеные груши, потому что он выглядел, как им казалось, голодным и беспомощным. А у жены мясника, чрезвычайно скупой и строгой старой карги, ему позволялось искать старые вонючие остатки мяса и костей и бесплатно их забирать, потому что его невинный запах пробуждал даже в ее сердце материнские чувства. Из этих остатков он опять-таки вытягивал путем прямого переваривания со спиртом запах, который использовал, когда хотел остаться наедине с собой. Запах создавал вокруг него атмосферу легкого отвращения, гниловатого дуновения, которое после пробуждения доносится из старых, неухоженных ртов. Он был настолько действенным, что даже не слишком чувствительный Дрюю невольно отворачивался и старался выйти из помещения, конечно же совершенно не отдавая себе отчет, что же его на самом деле оттолкнуло. А нескольких капель этой смеси, которыми обрабатывался порог его сарая, оказывалось достаточно, чтобы удержать на расстоянии любого, кто попытался бы проникнуть внутрь, будь то человек или зверь.

Под защитой этих разнообразных запахов, которые под влиянием внешних требований он менял, словно платья, и которые служили ему для того, чтобы оставаться незаметным в человеческом мире и неузнанным в своей оболочке, Гренуй посвящал себя своей единственной страсти: осторожной охоте за запахами. И потому, что великая цель была у него перед самым носом, а времени у него было еще больше года, он действовал не с лихорадочной поспешностью, а с невероятной планомерностью и системой, оттачивая свое оружие, совершенствуя свою технику, постепенно улучшая свои методы. Он начал с

ПАТРИК ЗЮСКИНД

того, на чем закончил у Балдини, с получения запахов безжизненных предметов: камня, металла, стекла, дерева, соли, воды, воздуха...

То, что тогда так жалко не удалось при помощи грубого метода перегонки, удалось лишь теперь благодаря большой абсорбирующей силе жиров. Латунную дверную ручку, прохладно-плесневелый и плотный запах которой ему нравился, он обернул на несколько дней говяжьим салом. И смотри-ка, когда он снял с нее сало и проверил, то оно пахло, хоть и очень слабо, но все-таки однозначно, дверной ручкой. И даже после растворения в спирте запах все еще присутствовал, бесконечно слабый, далекий, перекрываемый спиртовыми парами и доступный во всем мире только лишь идеальному носу Гренуя — но все-таки он был, а это значило: возможно, хотя бы в принципе. Если бы у него была тысяча дверных ручек и он обернул бы их на тысячу дней в сало, то смог бы получить крошечную каплю Essence Absplute латунной дверной ручки с таким сильным запахом, что у каждого возникла бы иллюзия наличия оригинала прямо перед носом.

Это же удалось ему и с запахом пористого известкового камня, найденного на оливковом поле неподалеку от сарая. Он промацерировал его и получил маленький комочек каменной помады, бесконечно слабый запах которой его неопишимо развеселил. Он комбинирует его с другими, со всеми обнаруженными в округе запахами и продолжает производить миниатюрную обонятельную модель той оливковой рощи позади монастыря францисканцев, которую он постоянно носил с собой в закупоренном крошечном флаконе и мог воспроизвести, когда ему этого хотелось, в виде запаха.

Это были виртуозные произведения ароматического искусства, все, что он делал, великолепные маленькие игры, которые никто, кроме него самого разумеется, не

мог ни оценить, ни даже понять. Но сам он был в восторге от бессмысленных своих занятий, и это приносило в его жизнь время от времени моменты действительно невинного счастья, как и в те времена, когда он с детской страстью игры исследовал ароматные пейзажи, натюрморты и картины отдельных предметов. Но вскоре он переключился и на живые объекты.

Он устраивал охоту на зимних мух, гусениц, крыс, маленьких кошек и топил их в теплом жире. Ночами он проникал в стойла, чтобы завернуть на несколько часов коров, коз и поросят в пропитанную жиром ткань или замотать их в масляный бандаж. Или он проникал в сарай, где находились овцы, чтобы потихоньку постричь ягненка, душистую шерсть которого он потом промывал в спирте. Результаты были поначалу не очень удовлетворительными. Но в отличие от таких терпеливых предметов, как дверная ручка и камень, животные отдавали свой запах без особого желания. Свины пытались сорвать бандаж о столбы, подпирающие потолок хлева. Овцы кричали, когда он ночью приближался к ним с ножом. Коровы молча сбрасывали куски жирной материи со своего вымени. Некоторые жуки, которых он ловил, выпускали отвратительно воняющий секрет, когда он хотел их обработать, а крысы, наверное от страха, гадили в его высоковосприимчивые к запахам помады. Те животные, которых он хотел мацерировать, не отдавали свой запах, как цветы, безропотно или только со слабым вздохом, а отчаянно боролись со смертью, защищались, ни в коем случае не хотели даваться в руки, и извивались, и отбивались, и выделяли невиданно большие количества пота от смертельного страха, который портил теплый жир, переполняя его кислым запахом. Конечно же так продуктивно работать было нельзя. Объекты нужно было успокоить, причем внезапно, чтобы у них даже не возникало мысли об испуге или побеге. Он должен был их убивать.

ПАТРИК ЗЮСКИНД

В первый раз он попробовал это на маленькой собачке. Неподалеку от бойни он приманил ее куском мяса, незаметно для ее матери, и заманил к себе в мастерскую, а когда животное с радостным пыхтением принялось за мясо, которое Гренуй держал в левой руке, то он деревянной палкой, которую держал в правой, коротко и резко ударил ее по затылку. Смерть маленькой собачки наступила так быстро, что на ее морде и в ее глазах так и осталось выражение счастья, даже когда Гренуй положил ее на решетку между намазанными жиром пластинами, где она испускала только лишь свой чистый, нетронутый потом страха, незамутненный собачий запах. Конечно же нужно было быть очень внимательным! Трупы, точно также, как и сорванные цветы, очень быстро портились. Поэтому Гренуй нес караул возле своей жертвы примерно двенадцать часов подряд, пока заметил, что от тела собаки стали подниматься хотя и приятные, но уже изменившиеся волны трупного запаха. Он тут же прервал процесс, выбросил труп и положил пропитанный запахом жир в котел, где развел его со спиртом. Он развел его, долив спирта на уровень фаланги пальца, и наполнил этим раствором маленькие стеклянные трубочки. Духи имели явный и четкий запах влажной, свежесмазанной жиром собачьей шерсти, и запах этот был на удивление сильным. А когда Гренуй дал понюхать его старой суке с бойни, та издала радостный вой, и завиляла хвостом, и больше не хотела убирать свои ноздри от стеклянной трубочки. Но Гренуй плотно закрыл ее и спрятал в карман, и еще долго носил с собой, как память о том дне триумфа, когда ему впервые удалось отнять запах, ароматическую душу у живого существа.

Затем, очень постепенно и с максимальной осторожностью, он обратился к людям. Поначалу он на безопасной дистанции охотился с крупной сетью, ибо не рассчи-

тывал сразу заполучить крупную добычу, а просто хотел испробовать принцип своего охотничьего метода.

Замаскированный легким запахом невзрачности он вечером смешался в кабаке «Четырех Дофинов» с посетителями и прикрепил под скамейками и столами, а также в скрытых нишах крошечные кусочки пропитанной маслом и жиром ткани. Через несколько дней он их собрал и проверил. Вместе со всевозможными кухонными запахами, табачным чадом и винными парами они содержали чуть-чуть и человеческого запаха. Он был правда очень рассеянным и слабым, скорее походил на след общего смрада, чем на собственный запах. Подобную массовую ауру, но чище и поднявшуюся до возвышенно-потной, можно было получить в соборе, где Гренуй поместил свои пробные флажки под скамейками 24 декабря и забрал 26, после того как над ними свершились по меньшей мере семь богослужений: ужасный конгломерат запахов из скапливающегося в заднем проходе пота, менструальной крови, влажных подколенных впадин и судорожно сжатых рук, смешанный с запахом, выдыхаемым из тысяч поющих хором и гнусавящих «Аве Мария» глоток, и спертым запахом ладана и мирры. Все это отразилось в маленьких кусочках материи: ужасный в своем туманообразном, размытом, вызывающем тошноту скоплении, но, тем не менее, очевидно человеческий запах.

Первый индивидуальный запах Гренуй раздобыл в приюте Шарите. Ему удалось украсть предназначенную для сожжения простыню только что умершего от чахотки подмастерья мешочника, в которой тот пролежал завернутым два месяца. Простынь была так сильно пропитана собственным жиром мешочника, что он смог абсорбировать его, как насыщенную запахом пасту, и подвергнуть обработке. Результат оказался невероятным: перед носом Гренуя стоял восставший из мертвых в обонятельном

смысле мешочник, парил, благодаря уникальному методу, хотя и обезображенный многочисленными миазмами своей болезни, но достаточно узнаваемый как индивидуальный портрет запахов в закрытом помещении: маленький человек тридцати лет, светловолосый, со сплюснутым носом, короткими конечностями, плоскими, пахнущими творогом ногами, отечными половыми органами, раздражительным характером и неприятным запахом изо рта — обонятельно этот мешочник далеко не красавец, и его не стоило сохранять, как он сохранил маленькую собачку. Но тем не менее Гренуй пустил его дух всю ночь витать в своем сарае и все время втягивал этот дух в себя, ослепленный и в высшей мере удовлетворенный чувством власти, которую он приобрел над аурой другого человека. На следующий день он его выветрил.

И еще один тест предпринял он в те зимние дни. Он заплатил франк глухонемой попрошайке, бродящей по городу, за то, что она целый день носила на голом теле пропитанные разными жировыми и масляными смесями тряпочки. Оказалось, что комбинация из бараньего почечного жира и многократно перетопленного свиного и коровьего сала в соотношении два к пяти и к трем с добавлением некоторого количества первичного растительного масла была наилучшим образом приспособлена для впитывания человеческого запаха.

Этим Гренуй и ограничился. Он отказался от мысли подчинить своей власти какого-нибудь живого человека в целом и переработать его парфюмерно. Такие вещи всегда были связаны с риском, а дать каких бы то ни было новых знаний не могли. Он понимал, что овладел уже техникой, чтобы отнять запах у человека, но необходимости в доказательстве этого не было.

Запах человека как таковой был ему тоже безразличен. Запах человека он мог достаточно хорошо имитиро-

вать с помощью суррогатов. То, к чему он стремился и чего жаждал, был запах *определенных* людей: а именно тех чрезвычайно редких людей, которые инспирировали любовь. Они и были его жертвами.

39

В январе вдова Арнульфи сочеталась браком со своим первым подмастерьем Домиником Дрюо, который тем самым превратился в метра мастера перчаточных и парфюмерных дел. Был дан большой ужин для мастеров гильдии, более скромный для подмастерьев, мадам купила новый матрас для своей кровати, которую она теперь официально делила с Дрюо, и достала из шкафа свой пестрый гардероб. А в остальном все осталось по-старому. Она сохранила свое старое доброе имя Арнульфи, единолично владела состоянием, держала в руках финансовое управление делом и ключи от подвала; Дрюо ежедневно исполнял свой сексуальный долг и после этого освежался вином; а Гренуй, хотя и остался теперь первым и единственным подмастерьем, выполнял в полном объеме всю работу за неизменно маленькое жалование, скромную пищу и жалкий угол.

Год начался с желтого потока кассий, с гиацинтов, фиалкового цвета и дурмящих нарциссов. Однажды мартовским воскресеньем — с его появления в Грасе прошел уже целый год — Гренуй отправился на другой конец города, разузнать, что творится в саду за городской стеной. В этот раз он уже подготовился к тому запаху, знал достаточно точно, что его ожидало... и все-таки, когда он ее унюхал, неподалеку от Новой заставы, на половине пути до того места у стены, и сердце его забилося сильнее, и он почувствовал, как кровь от счастья забурлила в жи-

лах: она была еще здесь, несравненный прекрасный цветок, она хорошо перенесла зиму, стояла в самом соку, росла, распускаясь, превращаясь в роскошный цветок! Ее аромат, как он и ожидал, окреп, не потеряв при этом своей красоты. То, что еще год назад едва исходило и истекало по капле, теперь уже равномерно сплывилось в легкий пастозный поток аромата, переливающийся тысячами оттенков, но тем не менее каждый оттенок был с ним связан и более не прерывался. И этот поток, что отметил в душе Гренуй, подпитывался из становящегося все более сильным источника. Еще один год, еще всего лишь один год, всего лишь двенадцать месяцев, и тогда этот источник выйдет из берегов и тогда он сможет прийти, чтобы взять его и поймать безумный выброс его аромата.

Он пробежал вдоль стены к том самому месту, где за ней, как он знал, находился сад. Хотя девушка явно находилась не в саду, а в доме, в комнате за закрытыми окнами, ее аромат долетал до него, подобно свежему бризу. Гренуй застыл, боясь даже пошевелиться. Он не был тронут или захвачен, как в первый раз, когда почувствовал ее запах. Он был переполнен счастливым чувством любовника, который слушает или наблюдает за своей желанной издалека и знает, что заберет ее к себе только через год. Вполне вероятно Гренуй, одинокий клещ, чудовище, нелюдь Гренуй, который никогда не знал, что такое любовь и никогда не мог пробудить любовь, стоял в тот мартовский день у городской стены Граса и любил, и был преисполнен глубочайшего счастья от своей любви.

Конечно же, любил он не человека вообще, и даже не девочку во дворе позади стены. Он любил аромат. Его одного и ничего больше, и только его, как в будущем свой собственный. Через год он заберет его с собой, в этом он поклялся себе своей собственной жизнью. И после этого странного обета или даже этой странной помолвки, этого

обещания в верности себе самому и своему будущему запаху, он в приподнятом настроении и с радостным чувством отправился через заставу Дю-Кур назад в город.

Когда он ночью лежал в своей хибаре, он снова вызвал в памяти этот аромат — не мог противостоять этому порыву — и окунулся в него с головой, наслаждался им и давал ему наслаждаться собой, так близко, соприкасаясь друг с другом, словно он уже на самом деле им обладал, своим ароматом, своим собственным запахом, и он любил его в себе и себя в его опьяняющих, вкусных объятиях. Он хотел взять это чувство самовлюбленности и перенести его в свой сон. Но в тот самый момент, когда он закрыл глаза и затратил на то, чтобы задремать, ровно столько времени, сколько нужно для одного вдоха, аромат покинул его, неожиданно покинул его, и вместо его собственного в сарае повис резкий запах овечьего стойла.

Гренуй вздрогнул. Что если, подумал он, если этот аромат, которым я буду обладать... что, если он закончится? Это же не так, как в памяти, где все запахи никогда не подходят к концу. Действительные запахи истощаются, распространяясь по миру. Запахи летучи и нестойки. И когда он исчерпается, то источника, из которого он исходит, больше не будет. И я снова останусь голым, как и прежде, и снова буду вынужден прикрываться своими суррогатами. Нет, это будет еще хуже, чем раньше! Потому что я буду знать его и буду владеть им, моим собственным великолепным запахом, и я не смогу его забыть, потому что я никогда не забываю ни одного запаха. И поэтому я до конца своей жизни буду питаться воспоминанием о нем, как я уже сейчас, прямо сейчас, питаюсь им из моей памяти... Зачем же он мне тогда вообще?

Эта мысль показалась Греную в высшей степени неприятной. Его безумно испугало, что запах, которым он еще не обладал, будет им, когда он будет им обладать, не-

отвратимо потерян. На сколько же ему хватит этих чудесных духов? На несколько дней? Несколько недель? Может быть, на месяц, если он будет использовать их очень экономно. А потом? Он увидел себя выжимающим из флакона последнюю каплю, ополаскивающим флакон винным спиртом, чтобы не было потеряно ни толики, и видел, чувствовал носом, как любимый его аромат улетучивался навсегда и безвозвратно. Это будет подобно медленной смерти, своеобразным удушьем наоборот, мучительным постепенным испарением самого себя в ужасный мир.

Его охватил озноб. Его обуяло желание отказаться от своих планов, выйти прямо во тьму ночи и уйти куда попало. Он хотел брести через заснеженные горы, без отдыха, за сотни миль в Оверни, и там забиться в свою старую пещеру и заснуть в ней навсегда. Но он этого не сделал. Он продолжал сидеть и не поддавался искушению, каким бы сильным оно ни было. Он не поддавался ему, потому что это было старое желание, уйти отсюда и забиться в какую-нибудь пещеру. Это он уже знал. Но чего он еще не знал, так это обладания человеческим запахом, таким прекрасным, как запах девушки за городской стеной. И даже когда он понял, что за обладание этим запахом нужно будет заплатить ужасную цену — потерять его, — ему все-таки казалось, что обладание *и* потеря для него более желанны, чем лапидарный отказ от одного и другого. Ибо отказывался он на протяжении всей своей жизни. Но что бы обладать и потерять — никогда.

Постепенно сомнения ушли, а вместе с ними исчез и озноб. Он чувствовал, как горячая кровь снова его оживляла и как воля сделать то, что он себе задумал, снова прочно проникла в него. И еще сильнее, чем прежде, потому что воля эта основывалась теперь не только на голом желании, а на взвешенном решении. Клещ Гренуй, пос-

тавленный перед выбором — засохнуть ли или упасть вниз — выбрал второе, хорошо понимая, что это падение будет его последним. Он снова растянулся на своем лежаке, наслаждаясь мягкостью соломы, нежась под одеялом, и казался сам себе героем.

Но Гренуй не был бы Гренуем, если бы фаталистически-героическое чувство могло бы долго его удовлетворять. Для этого он обладал слишком жесткой самоутверждающей волей, слишком хитрой сущностью и слишком уж рафинированным духом. Хорошо — он принял для себя решение заполучить тот запах девочки за городской стеной. И если он снова потеряет его через несколько недель и умрет от этой потери, то так тому и быть. Но лучше было бы не умирать и тем не менее все-таки обладать запахом, или, по крайней мере, как можно дальше оттянуть момент его потери. Его нужно было сделать более стойким. Нужно было обуздать его летучесть, не отнимая при этом его характера — чисто парфюмерная проблема.

Существуют запахи, которые держатся десятилетиями. Натертый мускусом шкаф, пропитанный циметиновым маслом кусок кожи, комочек амбры, шкатулка из кедрового дерева с точки зрения запахов живут почти вечно. А другие — лиметиновое масло, бергамот, экстракты нарцисса и клубники и многие цветочные запахи — улетучиваются уже через несколько часов, если их подставить под свежий воздух. Парфюмер сталкивается с этими фатальными обстоятельствами, когда связывает сверхлетучие запахи другими, то есть одевает на них оковы, ограничивая свободу, причем искусство заключается в том, чтобы оковы сделать настолько просторными, чтобы создавалось впечатление полной свободы обузданного запаха, а вместе с этим привязать его так плотно, чтобы он не смог улетучиться. Греную однажды это в лучшем виде удалось с клубничным маслом, чей эфемерный аромат он

сковал крошечным количеством цибетина, ванили, ладана и кипариса и тем самым получил ценный продукт. Почему же нечто подобное невозможно было сделать с запахом девушки? Чего же ради ему нужно было использовать и расходувать самый прекрасный и самый хрупкий из всех запахов в чистом виде? Какая несуразность! До чего же глупо! Разве бриллианты оставляют неотшлифованными? Разве золото носят на шее самородком? Разве он, Гренуй, был таким же примитивным грабителем ароматических веществ, как Дрюо и другие мацераторы, перегонщики и даватели цветов? Или не был он величайшем парфюмером в мире?

Ему просто ударило в голову от ужаса, что эта мысль не пришла ему раньше: конечно же этот уникальный запах нельзя было употреблять в сыром виде. Его нужно было обрамить, как самый драгоценный камень. Он должен был выковать ароматическую диадему, на самом почетном месте которой, в тесной связи с другими ароматами, владея ими, будет сиять *его* запах. Он изготовит духи по всем правилам искусства, а аромат девушки из-за стены станет в них доминирующей нотой.

Конечно же, как доминанта, как базовая, средняя и высшая нота, как тончайший запах, но как фиксатор должны были использоваться не мускус и цибетин, сюда не подходили розовое масло или фиалки, это было ясно. Для таких духов, для человеческих духов, требовались другие ингредиенты.

40

В мае этого же года в розовом поле на половине пути между Грасом и расположенным восточнее поселком Опио был найден обнаженный труп пятнадцатилетней девочки. Она была убита ударом толстой палки по затыл-

ку. Крестьянин, обнаруживший ее, был настолько ошеломлен ужасной находкой, что сам на себя навлек подозрение, когда дрожащим голосом сообщил полицейскому лейтенанту, что ничего более прекрасного он еще никогда не видел — вместо того, чтобы, как он хотел, сказать, что еще не видел ничего более ужасного.

Девочка была на самом деле необыкновенно красивой. Она принадлежала к женщинам такого типа, при виде которых кажется, будто они созданы из темного меда, гладкого и сладкого; которые мимолетным мягким жестом, взмахом головы, одним единственным движением глаз овладевали всем вокруг, причем сами оставались стоять спокойно, словно в центре смерча, без видимого осознания собственной гравитационной силы, при помощи которой они овладевают чувствами и душами как мужчин, так и женщин. И она была совсем молодой, как бутон, прелесть ее типа еще не была испорчена зрелыми семенами. Ее тяжелые конечности были еще гладкими и крепкими, груди, словно очищенные от кожуры яйца, а ее плоское лицо, обрамленное черными волосами, все еще не потеряло нежных контуров и загадочности. Но сами волосы исчезли. Убийца обрезал их и забрал с собой, точно также, как и одежду.

Подозрение пало на цыган. От цыган можно было ожидать всего. Было известно, что цыгане ткали из старой одежды ковры и набивали человеческими волосами свои подушки, а из кожи и зубов убитых мастерили маленькие куклы. И поэтому в столь извращенном преступлении можно было заподозрить лишь цыган. Но в это время там не было никаких цыган, нигде в округе, последний раз цыган, кочующих в окрестностях, видели в декабре.

Из-за отсутствия цыган в преступлении заподозрили сезонных итальянских рабочих. Но итальянцев пока тоже не было, их сезон еще не наступил, они появлялись здесь лишь в июне, чтобы поработать на сборе жасмина, так что

они тоже не могли оказаться причастными. Наконец под подозрение попали изготовители париков, у которых произвели обыски в надежде найти волосы убитой девушки. Напрасно. Тогда стали подозревать евреев, затем похотливых монахов бенедиктинского монастыря — всем им было уже далеко за семьдесят, — затем монахов ордена цистерцианцев, затем масонов, затем душевнобольных из Шарите, затем угольщиков, затем нищих и, наконец, безнравственных дворян, особенно маркиза де Кабри, который был женат уже в третий раз, устраивал, как поговаривали, в своих подвалах оргии и пил при этом кровь девиственниц, чтобы повысить свою потенцию. Конкретных же доказательств никто естественно привести не мог. Никто не видел убийства, одежду и волосы убитой так и не нашли. Через несколько недель полицейский лейтенант прекратил поиски.

В середине июня приехали итальянцы, многие со своими семьями, чтобы наняться сборщиками фруктов. Крестьяне наняли их на работу, но, помня об убийстве, запретили своим женам и дочерям с ними общаться. На всякий случай. Ведь хотя сезонные рабочие на самом деле и не несли ответственности за случившееся убийство, но в принципе они могли быть к нему причастными, и поэтому было лучше держать с ними ухо остро.

Вскоре после начала сбора жасмина произошли два следующих убийства. Жертвами снова оказались красивые, как с картинки, девочки, снова они относились к тому же самому полнокровному, черноволосому типу женщин, снова их обнаружили голыми и остриженными, лежащими с тупыми ранами на затылке в цветочном поле. И снова убийца не оставил никаких следов. Весть об этом разнеслась, как лесной пожар, и на пришлый народ грозило уже обрушиться негодование, как вдруг выяснилось, что обе жертвы были итальянками, дочерьми поденщика из Генуи.

И над окрестностями повис страх. Люди больше не знали, против кого им направить свой безумный гнев. Конечно, оставались еще такие, которые подозревали сумасшедших или сомнительного маркиза, но никто всерьез в это не верил, ибо первые день и ночь находились под неусыпным надзором, а второй уже давно отправился в Париж. Поэтому все еще больше сплотились. Крестьяне открыли пришлым рабочим, которые до этого спали под открытым небом, свои сараи. Горожане организовали в каждом квартале ночную патрульную службу. Полицейский лейтенант усилил стражу на воротах. Но все эти приготовления ничего не дали. Через несколько дней после двойного убийства был найден труп еще одной девушки, точно в таком же виде, как и предыдущие. На этот раз речь шла о прачке с Сардинии, работавшей в епископском дворце, которая была убита неподалеку от большого бассейна у Фонтен-де-ла-Фу, то есть прямо у городских ворот. И хотя консулы, вынужденные взволнованными горожанами, предприняли дальнейшие мероприятия — строжайший контроль у ворот, усиление ночной стражи, запрет выхода для всех особ женского пола после наступления сумерек, — этим летом не проходило больше ни одной недели, когда бы не обнаруживали труп молодой девушки. И всегда это были такие, которые только превращались в женщин, и всегда это были самые красивые и почти всегда относящиеся к тому темному, обворожительному типу. Хотя убийца вскоре перестал чураться и преобладающего у местного населения мягкого, белокожего и более нежного типа девушек. Даже брюнетки, даже шатенки — если они не были слишком худыми — становились теперь его жертвами. Он достигал их везде, не только в окрестностях Граса, но и посреди города, и даже в домах. Дочь одного плотника была найдена убитой в своей комнате на пятом этаже, и никто в доме не слышал

ни малейшего шума, и ни одна их собак, которые обычно чуяли чужаков и не упускали случая их облаять, не забилла тревоги. Убийца казался неуловимым, бестелесным, словно призрак.

Люди возмущались и ругали власть. Наименьший слух приводил к массовым беспорядкам. С бродячим торговцем, продававшим любовный порошок и другие знахарские снадобья, едва жестоко не расправились, ибо кто-то сказал, что его средства содержат молотые девичьи волосы. В особняке маркиза де Кабри и в больнице Шарите были предприняты попытки поджога. Торговец платками Александр Минар застрелил своего домашнего слугу, когда тот ночью возвращался домой, приняв его за пресловутого убийцу девушек. Тот, у кого была возможность, отправил своих подрастающих дочерей к живущим в других местах родственникам или в пансионаты в Ниццу, Экс или Марсель. По требованию городского совета полицейский лейтенант был снят со своей должности. Его преемник распорядился провести обследование трупов остриженных девушек во врачебной коллегии на предмет нарушения их девственности. Было установлено, что все они оказались непорочными.

Странным образом это обстоятельство еще больше усилило ужас, вместо того, чтобы его уменьшить, потому что каждый про себя думал, что девушки были изнасилованы. В этом случае был хотя бы понятен мотив убийцы. Теперь же никто ничего не понимал, и все оказались совершенно беспомощными. И тот, кто верил в Бога, искал спасения в молитвах, дабы спасти хотя бы собственный дом от этой дьявольской кары.

Городской совет, высший орган, состоявший из тридцати самых богатых и уважаемых граждан и дворян Граса, в большинстве своем свободомыслящие и антиклерикальные настроенные мужи, которые до сих пор считали епис-

копа просто добрым малым и с удовольствием превратили бы монастыри и аббатства в склады и фабрики — гордые, могущественные мужи из городского совета снизошли в своей нужде до просьбы, составленной в духе покорности петиции, к монсеньеру епископу, дабы тот соблаговолил проклясть убивающего девушек монстра, которого мирская власть схватить была не в состоянии, и предать его анафеме, как это сделал его светлейший предшественник в 1708 году с ужасной саранчой, грозящей тогда всей стране. И действительно, в конце сентября убийца девушек из Граса, лишивший к тому времени жизни не менее двадцати четырех девственниц из всех слоев общества, был торжественно предан анафеме и проклятию в письменной грамоте, а также устно во всех церквях города, в том числе с кафедры Нотр-Дам-дю-Пюи.

Успех был потрясающим. Убийства прекратились буквально на следующий день. Октябрь и ноябрь прошли без новых трупов. В начале декабря поступили сообщения из Гренобля, что там в последнее время появился убийца девушек, который душит свои жертвы и клочьями срывает одежду с их тел, а волосы с головы. И хотя эти грубые преступления никак не сочетались с чисто исполненными убийствами в Грасе, весь свет все-таки был уверен, что речь идет об одном и том же преступнике. Обитатели Граса трижды перекрестились от облегчения, что бестия бушует уже не у них, а в расположенном в семи днях пути Гренобле. Они организовали факельное шествие во славу епископа и провели 24 декабря грандиозное благодарственное богослужение. К 1 января 1766 года все меры безопасности в городе были ослаблены, и ночной запрет выхода женщин на улицу был отменен. С невероятной быстротой общественная и частная жизнь вернулась в нормальные рамки. Страх словно ветром сдуло, никто больше не говорил об ужасе, который владел городом и

окрестностями еще несколько месяцев назад. Даже в семьях, которые пострадали от этого, никто ни разу ни о чем не вспомнил. Казалось, что проклятье епископа унесло не только убийцу, но и воспоминания о нем. И люди считали это справедливым.

Лишь те, у кого были дочери, вступающие в чудесный возраст, предпочитали все еще не оставлять их без присмотра, им становилось не по себе, когда спускались сумерки, а утром, когда они находили дочерей здоровыми и бодрыми, то были счастливы — правда, не желая даже себе признаться в действительной причине этого счастья.

41

Но был в Грасе один человек, который не верил в наступивший мир. Звали его Антуан Риши, он занимал пост Второго Консула и жил в видном владении в начале улицы Друат.

Риши был вдовцом, и у него была дочь по имени Лаура. Хотя ему не было еще и сорока лет и его вера в жизнь была непоколебимой, он все еще хотел повременить с новым браком. Сначала он хотел отдать замуж свою дочь. И не просто за первого встречного, а за человека с соответствующим положением. Существовал некий барон де Буйон, у которого был сын и ленное поместье неподалеку Ванса, который имел хорошую репутацию и жалкое финансовое положение и который достиг соглашения с Риши о будущей женитьбе детей. И после того как Лаура была бы уже замужем, сам он хотел запустить свои жениховские щупальца в направлении высокочтимых домов Дре, Мобер или Фонмишель — не потому, что он был тщеславным и хотел заполучить дворянскую супружескую спальню, а потому что хотел основать династию и поставить своих потомков на крепкие рельсы, кото-

рые привели бы их в наивысшее общество и к политическому влиянию. Для этого ему нужны были еще как минимум два сына, один из которых унаследовал бы его дело, в то время как второй по законной линии и через парламент в Эксе сам бы поднялся до высших дворянских кругов. Правда, с такими амбициями как человек его положения он мог рассчитывать на успех лишь в том случае, если бы себя и свою семью самым тесным образом связал с провинциальной знатью.

То, что вообще давало ему право на столь далеко идущие планы, так это его сказочное богатство. Антуан Риши был самым богатым человеком во всей округе. Он владел латифундиями не только в окрестностях Граса, где выращивал апельсины, маслянистые растения, пшеницу и коноплю, но и неподалеку от Ванса, и в районе Антиба, которые он сдавал внаем. Он владел домами в Эксе, домами в сельской местности, имел долю от кораблей, курсирующих в Индию, постоянную контору в Генуе и крупнейшие во всей Франции склады ароматических веществ, специй, масел и кожи.

Но все-таки самым ценным, чем владел Риши, была его дочь. Она была его единственным ребенком, ей исполнилось шестнадцать лет, у нее были темно-рыжие волосы и зеленые глаза. У нее было такое восхитительное лицо, что посетители всех возрастов и обоих полов застывали на мгновение и не могли отвести от нее взгляда, буквально облизывали глазами ее лицо, как лизут языком мороженое, причем их лица в этот момент принимали типичное для всех лизущих глупое выражение. Даже сам Риши, когда смотрел на собственную дочь, ловил себя на том, что на неопределенное время, на четверть часа, даже, может быть, на полчаса, забывал о всех своих делах и об окружающем мире — чего с ним не случалось даже во сне, — полностью расслаблялся, наблюдая за прекрасной девушкой, а после этого был не в состоянии сказать, что

же он делал до этого. А в последнее время,— и он сам это с неудовольствием признавал,— по вечерам, когда проводил ее спать, или иногда утром, когда приходил ее будить, видел ее еще спящей, словно положенной Божьими руками, и сквозь тонкую ткань ночной рубашки проступали формы ее бедер и ее груди, а из четырехугольника между грудью, плечами, локтями и гладкой подмышкой, в которую она уткнула свое лицо, поднималось ее дыхание, спокойное и горячее... — и тогда у него все сжималось в животе, и перехватывало горло, и он сглатывал слюну, и, Бог свидетель, он проклинал себя за то, что был отцом этой женщины, а не чужим человеком, не каким-либо мужчиной, перед которым она лежала бы так же, как перед ним сейчас, и который без всякой оглядки мог бы лечь рядом с ней, на нее со всей своей страстью. У него выступал пот, и руки и ноги его дрожали, когда он подавлял в себе это ужасное искушение и склонялся над ней, чтобы разбудить ее целомудренным отцовским поцелуем.

В прошлом году, в то время, когда происходили убийства, это фатальное искушение еще не приходило к нему. Очарование, которое дочь производила на него в то время, было — так ему хотелось по крайней мере думать,— было еще детским очарованием. И поэтому он никогда всерьез не опасался того, что Лаура могла бы стать жертвой того убийцы, который, как это было известно, нападал ни на женщин, ни на детей, а исключительно на девочек, становящихся девушками. Правда, он усилил охрану своего дома, распорядился поставить на окна первого этажа новые решетки и приказал камеристке спать в одной комнате с Лаурой. Но он не мог решиться отправить ее, как это сделали равные ему по положению со своими дочерьми и даже со всеми своими семьями. Он считал такое поведение недостойным члена совета и Второго Консула, который, по его мнению, должен быть примером для своих сограждан в спокойствии, мужестве и непоколебимос-

ти. Кроме того, он был человеком, который принимал свои решения без оглядки на других, на охваченную паникой толпу, а тем более на какое-то неизвестное преступное отродье. И таким образом, на протяжении всего этого ужасного времени он был одним из немногих в городе, кто противостоял горячке страха и сохранял холодный ум. Но теперь все это странным образом изменилось. В то время, как все остальные люди, будто они уже казнили убийцу, праздновали окончание своих треволений и вскоре забыли кошмарное время, в сердце Антуана Риши словно ужасный яд закрался страх. Долгое время он никак не хотел себе признаться, что это был страх перед долгими отъездами из дому, он неохотно выходил из дома, хотел сократить все визиты и заседания, лишь бы только он мог как можно скорее вернуться домой. Он извинялся перед собой самим, объясняя это недомоганием и большим количеством работы, признаваясь, правда, себе, что испытывает некоторое беспокойство, какое испытывает каждый отец, имеющий дочь на выданьи, вполне нормальное беспокойство... Ведь разве слава о ее красоте не разнеслась уже по всему городу? Разве не выворачивались уже шеи, когда по воскресеньям они вместе ходили в церковь? Разве не заводили в совете некоторые его члены об этом речь от своего имени или от имени своих сыновей?...

42

Но однажды мартовским днем Риши сидел в салоне и увидел, как Лаура выходила в сад. На ней было голубое платье, по которому рассыпались рыжие волосы, сверкавшие в солнечном свете, и он впервые заметил, что она так красива. За живой изгородью она исчезла. И затем задержалась за этой изгородью наверное на целых два удара

сердца дольше ожидаемого, прежде чем снова появилась в его поле зрения — и он до смерти испугался, ибо целых два удара сердца думал, что потерял ее навсегда.

Этой же ночью он проснулся от ужасного сна, содержания которого вспомнить не мог, но который касался Лауры, и он ворвался в ее комнату, уверенный, что она мертва, подло убита, обещана и острижена в кровати — и нашел ее целой и невредимой.

Он отправился обратно в свои покои, мокрый от пота, дрожа от возбуждения, нет, не от возбуждения, а от страха, теперь он наконец себе признался, что его сковал настоящий страх, и признавшись себе в этом, сознание его успокоилось и прояснилось. Он честно признался себе, что с самого начала не верил в действие епископского проклятия; не верил, что убийца теперь орудует в Гренобле; не верил даже, что он вообще покинул пределы города. Нет, он все еще продолжал жить здесь, прямо среди жителей Граса, и когда-нибудь он снова нанесет удар. В августе и сентябре Риши видел некоторых из убитых девушек. Их вид привел его в ужас и вместе с тем, и он был вынужден в этом признаться, восхитил, ибо все они, причем каждая по-своему, были необычайной красоты. Убийца открыл ему глаза. Убийца обладал изысканным вкусом. И он использовал систему. Не только потому, что все убийства были исполнены одним и тем же способом, но и выбор жертв представлял собой почти математически спланированный умысел. Правда Риши не знал, *чего* именно жаждал убийца от своих жертв, ибо лучшее, что у них было — красота и прелесть молодости — он отнять не мог... или все же? Но в любом случае убийца обладал, как ему это представлялось и как ни абсурдно могло это показаться, никак не деструктивным умом, а старательно собирающим. Если же представить себе, — размышлял Риши, — все эти жертвы не в качестве отдельных индиви-

дуумов, а в качестве частей некоего более высокого принципа и попытаться умственно сплавить в единое целое их соответственные свойства, то из этих кусочков мозаики вполне может получиться образ идеальной красоты, а очарование, от него исходящее, было бы уже не человеческого, а божественного свойства. (Как мы видим, Риши был мыслящим человеком, свободным от предрассудков, не пасовал и перед кощунственными умозаключениями, и хотя думал не обонятельными, а оптическими категориями, он весьма близко подошел к правде.)

Если это действительно так, — продолжал думать Риши, — и убийца действительно являлся таким собирателем красоты и работал над портретом Совершенства, пусть даже это лишь плод фантазии его большого ума, если он был человеком с наивысшим вкусом и отличным методом, каким он и казался в действительности, то тогда никак нельзя было предположить, что он откажется от самого драгоценного камешка для той картины, которого было не сыскать во всем мире: от красоты Лауры. Вся его предыдущая смертельная работа без нее ничего бы не стоила. Она была фундаментом для всего его здания.

Риши, когда сделал этот ужасный вывод, сидел в ночной рубашке на своей кровати и сам удивлялся тому, насколько он спокоен. Его больше не знобило, и он больше не дрожал. Невнятный страх, который мучил его уже на протяжении нескольких недель, исчез и сменился осознанием конкретной опасности: помыслы и цели убийцы были совершенно явно направлены на Лауру, причем с самого начала. И все остальные убийства были приложением к этому главному, венчающему все дело убийству. Правда, оставалось неясным, какой материальный смысл должны были иметь убийства и был ли он вообще. Но самое главное, а именно систематический мотив убийства и его духовный мотив, Риши таки увидел. И чем дольше

он над этим думал, тем больше они ему нравились и тем большим становилось его уважение к убийце — конечно же уважение, которое подобно отражению из отполированного зеркала падало на него самого, потому что все-таки это он, Риши, был тем, который своим тонким аналитическим умом раскрыл замыслы противника.

Если бы он, Риши, сам был убийцей и сам был бы одержим страстными идеями убийцы, то сам он не смог бы поступать никак иначе, чем следовать этим идеям, и делал бы все для их осуществления, во имя осуществления своего плана убить Лауру, великолепную, единственную, как венец своих замыслов.

Эта последняя мысль особенно понравилась ему. То, что он был в состоянии мысленно прочувствовать состояние убийцы своей дочери, возвышало его над убийцей так, словно дом над улицей. Потому что убийца, и это было ясно, при всем своем уме был совершенно не в состоянии прочувствовать ход мыслей Риши — хотя бы только потому, что он наверняка и предположить не мог, что он, Риши, уже давно проник в его, убийцы, мысли. В общем-то, это было точно также, как и в торговле. Конкурентов, намерения которых можно было предугадать, всегда побеждали; от них не оставалось совершенно ничего, ничего, ибо Антуан Риши был стреляным волком и имел бойцовский характер. В конце концов, крупнейшие торговые дома ароматическими веществами Франции, его богатство и должность Второго Консула достались ему не от блаженного созерцания, он их завоевал, отбил, добился, когда до его сведения в свое время дошло, что можно хитро разузнать планы конкурентов и этим самым превзойти противников. И следующих своих целей, как то власти и знатности своего потомства, он тоже добьется. И точно так же он перечеркнет планы этого убийцы, его конкурента в борьбе за владение Лаурой — и это будет лишь толь-

ко потому, что Лаура была фундаментом и в здании его, Риши, собственных планов. Конечно, он любил ее, но в то же время он в ней и нуждался. А того, в чем он нуждался для выполнения наивысших своих амбиций, он не давал касаться никому, за это он цеплялся зубами и когтями.

Он почувствовал себя лучше. После того, как ему удалось сбить свои ночные размышления относительно борьбы с демоном на уровень деловых недоразумений, он почувствовал, как его охватило мужество, героическое чувство. Все остатки страха исчезли, исчезли малодушие и мрачное волнение, которые мучили его, словно старческое дрожание, улетучился туман мрачных предчувствий, которые висели над ним уже неделями. Теперь он оседлал знакомую лошадку и чувствовал себя готовым ответить на любой вызов.

43

С облегчением, почти испытывая чувство удовлетворения, он спрыгнул с кровати, дернул за шнурок звонка и приказал своему сонному, еще не проснувшемуся слуге, сложить одежду и провиант, ибо он планирует с рассветом отправиться сопровождать свою дочь в Гренобль. Затем он оделся и повытаскивал из кроватей всех остальных слуг.

Среди ночи дом на улице Друат проснулся и приступил к работе. На кухне разжигали огонь, по коридорам носились взволнованные камеристки, по лестницам вверх и вниз сновали слуги, под сводами подвала звенели ключи управляющего кладовыми, во дворе горели факелы, охранники бежали к лошадям, другие выводили из загонных мулов, вокруг взнуздывали, седлали, бегали, грузили — можно было подумать, что надвигаются опустошающие австросардинские орды, как в 1746 году, и господин в

ПАТРИК ЗЮСКИНД

панике готовится к бегству. Но как бы не так! Господин сидел независимо, как маршал Франции, за письменным столом в своей конторе,пил кофе с молоком и раздавал указания постоянно забегающим домочадцам. Параллельно он писал письма бургомистру и Первому Консулу, своему нотариусу, своему банкиру в Марселе, барону де Буйону и другим своим деловым партнерам.

К шести часам утра он написал все письма и создал все необходимые для своего плана условия. Он заткнул себе за пояс два небольших дорожных пистолета, застегнул свой пояс с кошельком и запер письменный стол. После этого он отправился будить дочь.

В восемь маленький караван тронулся в путь. Риши скакал впереди, он пышно выглядел в ярко-красном, отделанном золотом платье, черном рединготе и черной шляпе с шикарным букетом перьев. За ним ехала его дочь, одетая скромнее, но столь ярко красивая, что народ на улицах и в окнах просто пожирал ее глазами, по толпе проносились недвусмысленные ахи и охи, и мужчины снимали шляпы — вроде бы перед Вторым Консулом, в действительности же перед ней, достойной королей женщиной. Затем, едва замечаемая, следовала камеристка, затем слуги Риши с двумя выючными лошадьми — воспользоваться каретой не решились из-за знаменито плохого состояния дороги на Гренобль, — а замыкал караван десяток нагруженных всевозможными товарами мулов под присмотром двух охранников. У заставы Дю-Кур охрана обнажила оружие и спрятала его лишь тогда, когда последний мул протопал мимо них. И еще долго сзади бежали дети, махали вслед обозу, медленно удаляющемуся по крутой, разбитой дороге вверх в горы.

На людей отъезд Антуана Риши со своей дочерью произвел на удивление глубокое впечатление. Им показалось, будто они стали свидетелями какого-то архаичного жертвенного шествия. Пошли разговоры, что Риши от-

правился в Гренобль, то есть в тот самый город, где орудовал сейчас убивающий девушек монстр. Люди просто не знали, что им об этом и думать. Было ли то, что делал Риши, непростительным легкомыслием или достойным восхищения мужеством? Было это вызовом или усмирением Богов? Они лишь где-то понимали, что видели красивую девушку с рыжими волосами тоже в последний раз. Они полагали, что Лаура Риши была потеряна.

Это предположение должно было оказаться правильным, хотя и основывалось на неправильной информации. Риши конечно же отправился не в Гренобль. Помпезный выезд был ничем иным, как уловкой. В полутора милях северо-западнее Граса, неподалеку от деревни Сен-Валье, он приказал остановиться. Он передал своим слугам полномочия и сопроводительные письма и приказал им самим вместе с охранниками доставить обоз мулов в Гренобль.

Сам же он вместе с Лаурой и камеристкой повернул в направлении Кабри, где остановился пообедать, после чего поскакал через горы Таннерона на юг. Дорога была чрезвычайно трудной, но она давала возможность обойти Грас и грасскую низменность по длинной кривой с западной стороны и до вечера, неузнанным, добраться до побережья... На следующий день — таким был план Риши — он с Лаурой собирался переправиться на Леренские острова, на самом меньшем из которых находился хорошо укрепленный монастырь Сент-Онора. В нем проживала кучка старых, но еще способных успешно обороняться монахов, с которыми Риши был прекрасно знаком, потому что он уже много лет покупал и сбывал всю монастырскую продукцию в виде эвкалиптового ликера, орешков итальянской сосны и кипарисового масла. И именно там, в монастыре Сент-Онора, стоящем рядом с тюремным замком Иф и государственной тюрьмой на острове Сен-Маргерит, наверняка самом надежном месте в Провансе,

он решил на первое время оставить свою дочь. Сам он собирался тут же вернуться на материк, обойти на этот раз Грас с восточной стороны, через Антиб и Кан, чтобы еще вечером того же дня добраться до Ванса. Туда же он предварительно вызвал своего нотариуса по причине предстоящей встречи с бароном де Буйоном по поводу брака их детей Лауры и Альфонса. Он собирался сделать Буйону предложение, от которого тот не смог бы отказаться: принятие на себя долгов в размере 40000 ливров, приданое, состоящее из такой же суммы, различных угодий и маслобойки в районе Маганоска, годовой ренты в размере 3000 ливров для молодоженов. Единственным условием Риши было, чтобы бракосочетание состоялось не позже, чем через десять дней, включая все торжества, и чтобы молодожены после этого поселились в Вансе.

Риши понимал, что такие спешные действия невообразимо увеличивают цену за породнение его дома с домом этого Буйона. Если бы он подождал подольше, то это обошлось бы ему намного дешевле. А барон согласился бы поднять дочь крупного торговца из мещан в ее общественном положении при помощи своего сына, потому что слава о красоте Лауры будет продолжать расти точно так же, как богатства Риши и его, Буйона, финансовая нужда. Но так тому и быть! Не барон был противником в этой сделке, а им был неизвестный убийца. И это должно было, по-видимому, испортить ему все дело. Замужняя женщина, дефлорированная и возможно уже забеременевшая, не подходила более в его эксклюзивную галерею. Последняя ячейка мозаики осталась бы незаполненной, Лаура потеряла бы для убийцы всю свою ценность, все его дело потерпело бы крах. И это поражение он должен был бы почувствовать! Риши хотел устроить свадьбу в Грасе, с большой помпой и при большом стечении народа. И пусть он даже не знал своего врага и никогда его не узнает, но для него будет огромным наслаждением знать, что

тот является свидетелем происходящего и должен собственными глазами видеть, как у него из-под носа уводят то, что было для него самым желанным.

План был продуман прекрасно. И нам снова остается лишь удивиться интуиции Риши, при помощи которой он вплотную подошел к правде. Потому что на самом деле женитьба Лауры Риши на сыне барона де Буйона означала для убийцы девушек из Граса полное поражение. Но пока что план оставался лишь планом. Пока что Риши еще не привел свою дочь под спасительный венец. Пока что он еще не успел переправить ее в надежный монастырь Сент-Онора. Пока что трое всадников все еще пробирались по безлюдным горам Таннерона. Иногда дорога становилась такой плохой, что приходилось спешиваться. Они продвигались очень медленно. К вечеру они рассчитывали добраться до побережья у Ла-Напули, маленького городка западнее Кана.

44

В то время, когда Лаура Риши вместе со своим отцом выехала из Граса, Гренуй находился на другом конце города в мастерской Арнульфи и мацерировал жонкиль. Он был один, и у него было хорошее настроение. Его пребывание в Грасе приближалось к концу. Ему предстоял день триумфа. В его сарае в ящичке с ватой лежали двадцать четыре крошечных флакона с превратившейся в капли аурой двадцати четырех девственниц — драгоценнейшей эссенцией, которую Гренуй получил в прошлом году путем холодного обертывания тел в жир, настаивания волос и одежды, отжимания и перегонки. А двадцать пятую, самую ценную и самую важную, он хотел заполучить сегодня. Он уже приготовил для последней охоты горшочек с многократно очищенным жиром, платок из тончайшего

полотна и банку с высокопроцентным спиртом. Местность была тщательно изучена и прощупана. Было новолуние.

Он понимал, что попытка проникнуть в хорошо защищенное имение на улице Друат была бессмысленной. Поэтому он хотел вместе с сумерками, пока еще не закрывали ворота, проскользнуть внутрь и, пользуясь полным отсутствием собственного запаха, которое он применял в качестве шапки-невидимки против людей и животных, затаиться в каком-нибудь углу. А потом, когда все заснут, он поднимется, пользуясь в полной темноте своим носом как компасом, в комнату своего сокровища. Он обработает ее на месте при помощи заранее пропитанного платка. Лишь волосы и одежду он, как обычно, возьмет с собой, чтобы эти части можно было опустить непосредственно в спирт, что было удобнее делать в мастерской. Для окончательной обработки помады и перегонки ее в концентрат он отвел следующую ночь. И если все удастся,— а у него не было ни малейшего повода сомневаться в том, что все удастся,— то уже послезавтра он станет обладателем всех эссенций для самых лучших духов в мире, и он уйдет из Граса как человек с наилучшим запахом на земле.

К обеду он закончил обработку жонкили. Он затушил огонь, закрыл крышкой котел с жиром и вышел из мастерской, чтобы немного остыть. Дул западный ветер.

Уже с первым вздохом он заметил, что что-то было не в порядке. Не в порядке была атмосфера. В состоящем из запахов одеянии города, в этой сотканной из тысяч нитей ткани, отсутствовала золотая нить. За последние недели эта ароматная нить окрепла настолько, что Гренуй мог ясно чувствовать ее и на другом конце города, рядом со своим сараем. Сейчас же она пропала, исчезла, и, даже интенсивно втягивая носом воздух, он не мог ее почувствовать. Гренуй словно парализовало от ужаса.

Она умерла, подумал он. А затем еще более ужасная мысль: меня кто-то опередил. Кто-то ощипал мой цветок и забрал его запах себе! У него не вырвался крик лишь потому, что потрясение было слишком большим, но слезы появились, они собрались в уголках глаз и вдруг ручьем потекли по обеим сторонам носа.

Вскоре из «Четырех Дофинов» на обед домой пришел Дрюо и между прочим рассказал, что сегодня утром Второй Консул с двенадцатью мулами и своей дочерью отправился в Гренобль. Гренуй проглотил слезы и помчался через весь город, к заставе Дю-Кур. На площади перед воротами он остановился и потянул воздух. И действительно, в чистом, нетронутом городскими запахами западном ветре он снова обнаружил свою золотую нить, правда тонкую и слабую, но тем не менее ни с чем не сравнимую. Правда, милый сердцу запах доносился не с северо-запада, куда вела дорога на Гренобль, а со стороны Кабри — а это было на юго-западе.

Гренуй спросил у охраны, по какой дороге поехал Второй Консул. Поставшие указали на север. Но разве не по дороге на Кабри? Или по другой, ведущей южнее на Орибо и Ла-Напуль? — Ни в коем случае, ответил часовой, он видел это собственными глазами.

Гренуй помчался через город назад к своему сараю, сложил суконный платок, горшок для помады, шпатель, ножницы и маленькую гладкую палку из оливкового дерева в свой дорожный мешок и немедленно отправился в путь — не в сторону Гренобля, а в сторону, которую подсказывал ему его нос: на юг.

Эта дорога, прямая дорога на Ла-Напуль, вела вдоль отрогов Таннерона, через низины Фрайеры и Сианьи. Идти было приятно. Гренуй быстро продвигался вперед. Когда с правой стороны показался Орибо, прижавшись вверху к горным склонам, он унюхал, что почти догнал

беглецов. Через некоторое время он уже был на одной высоте с ними. Теперь он чувствовал запах каждого из них, и даже чувствовал запах пота их лошадей. Они находились максимум в полумиле западнее, где-то в лесах Таннерона. Они держали курс на юг, к морю. Точно так же, как и он.

К пяти часам вечера Гренуй добрался до Ла-Напули. Он зашел в гостиницу, перекусил и попросил дешевого ночлега. Он сказал, что сам он подмастерье кожевенника из Ниццы, направляющийся в Марсель. Ему сказали, что он может переночевать в хлеву. Там он устроился в углу и затих. Он чувствовал своим обонянием, что три всадника приближались. Ему было нужно лишь ждать.

Через два часа — сумерки уже изрядно сгустились — они появились. Чтобы сохранить инкогнито, они сменили платья. Обе женщины были теперь одеты в темные платья со шлейфами, Риши в темный камзол. Он выдавал себя за дворянина, едущего из Каstellаны; завтра он собирался переправиться на Леренские острова, хозяин должен позаботиться о лодке и подготовить ее еще до рассвета. Есть ли кроме него и его людей в доме еще гости? Нет, сказал хозяин, только лишь один подмастерье кожевенника из Ниццы, который ночует в хлеву.

Риши отправил женщин в номера. Сам он пошел в хлев, чтобы взять еще что-то из вьючных сумок, как он сам это объяснил. Поначалу он не обнаружил там подмастерья кожевенника и поэтому взял у конюха лампу. После этого он увидел его, лежащего в углу на соломе и старом одеяле, положившего голову на свой дорожный мешок и крепко спящего. Он выглядел настолько неприметно, что у Риши на какое-то мгновение возникло впечатление, что его вообще здесь не было, а вместо него присутствовала лишь отбрасываемая светом лампы зыбкая химерная тень. Во всяком случае, Риши тут же понял, что от этого до

трогательности безобидного существа не стоило ожидать ни малейшей опасности, и он тихо удалился, чтобы не потревожить спящего, и возвратился в дом.

Ужинал он вместе с дочерью в комнате. Он не объяснил ей ни цели, ни смысла этого путешествия, и не стал делать этого даже теперь, как она его об этом ни просила. Завтра он расскажет ей все, сказал он, и она может поверить, что все, что он запланировал и делает, направлено лишь на ее благо и будущее счастье.

После еды они сыграли несколько партий в ломбер, которые он все проиграл, потому что вместо того, чтобы смотреть в свои карты, он смотрел на ее лицо и наслаждался его красотой. В девять часов вечера он проводил ее в комнату, находившуюся прямо напротив его, поцеловал ее, пожелав спокойной ночи, и запер дверь снаружи. После этого он и сам отправился спать.

Риши очень устал после всего напряжения этого дня и прошедшей ночи, но вместе с тем был очень доволен ходом событий. Без малейших, омрачающих настроение мыслей, без мрачных предположений, которые еще до вчерашнего дня начинали мучить его каждый раз, когда он гасил лампу, и не давали спать, он тут же заснул и спал без сновидений, без стонов, без судорожных вздрагиваний и не ворочаясь нервно в постели. Впервые за долгое время Риши спал глубоким, спокойным, освежающим сном.

В это же время Гренуй поднялся со своей лежанки в хлеву. И он тоже был доволен собой и тем, как развивались события, и чувствовал себя в высшей степени свежим, хотя и не заснул ни на секунду. Когда Риши пришел в хлев, чтобы его найти, он лишь притворился спящим, чтобы еще больше усилить впечатление безобидности, которое и так исходило от него из-за его незаметного запаха. Иначе, чем Риши его, воспринял он сам Риши, в высшей мере точно, при помощи своего обоняния, а об-

лечение Риши после того, как тот его увидел, никак не ускользнуло от его внимания.

Таким образом, оба они во время своей короткой встречи убедились в полной безобидности друг друга, правы они в этом были или нет, и было прекрасно, как считал Гренуй, ибо его мнимая и Риши действительная безобидность, облегчали ему, Греную, все дело — мнение, впрочем, которое вполне разделял со своей стороны и Риши.

45

С профессиональным спокойствием приступил Гренуй к делу. Он открыл дорожный мешок, достал оттуда полотняный платок, помаду и шпатель, расстелил платок на одеяле, на котором он лежал, и принялся смазывать его жиром. Это была работа, на которую нужно было затратить немало времени, потому что местами нужно было наносить более толстый слой жира, местами более тонкий, в зависимости от того, на какую часть тела должна была лечь та или иная часть платка. Рот и плечи, грудь, половые органы и ноги отдавали большее количество запаха, чем, например, область большой берцовой кости, спина или локти; ладони больше, чем обратная их сторона; брови больше, чем ресницы и так далее — и поэтому соответственно для них нужно было предусмотреть больше жира. Этим самым Гренуй одновременно моделировал на куске полотна диаграмму запахов тела, с которым он работал, и эта часть работы была для него самой приятной, ибо здесь главной была техника искусства, ум, фантазия и руки, которые были задействованы в равной степени, и ко всему этому примешивалось наслаждение ожидаемого окончательного результата, который уже был представлен в его уме.

Когда он использовал весь горшочек жирной помады, он еще раз местами ее промокнул, с одного места на платке снял жир вообще, на другом добавил, подретушировал, еще раз перепроверил смоделированный жировой пейзаж — конечно же носом, а не глазами, ибо все это происходило в полнейшей темноте, что, вероятно, было второй причиной чересчур уж прекрасного настроения Гренуя. Этой ночью новолуния его ничего не отвлекало. Весь мир не был ничем иным, как только запахом и чуть-чуть шумом прибоя, доносившимся со стороны моря. Он был в своей стихии. Наконец он свернул ткань, словно шпалеру, так что смазанная жиром поверхность соприкасалась друг с другом. Этот этап действия был для него весьма болезненным, потому что он хорошо понимал, что даже при всей осторожности часть выпуклых форм и контуров сплющится и размажется. Но никакой другой возможности для того, чтобы перенести платок, не было. Когда он сложил его во столько раз, что мог без особого труда нести его под мышкой, то взял шпатель, ножницы и дубинку из оливкового дерева и выскользнул из хлева.

Небо было затянутым. В доме больше свет не горел. Единственная искорка в этой непроглядной ночи мерцала на востоке на маяке форта на острове Сен-Маргерит, до которого было больше мили, крошечный светлый стежок на черном, как воронье крыло, платке. Со стороны бухты долетал ветерок, пропитанный запахом рыбы. Собаки спали.

Гренуй направился к гумну, возле которого стояла лестница. Он поднял лестницу и, удерживая в вертикальном положении, зажал три ступеньки под свободной правой рукой, прижал выступ к правому плечу и пошел через двор, пока не оказался под ее окном. Окно было полуоткрыто. Когда он поднимался вверх по приставной лестнице, причем так уверенно, словно по каменной, он поздравил себя с тем обстоятельством, что ему удастся получить

запах девушки здесь, в Ла-Напули. В Грассе, где были за-решечены окна и дом строго охранялся, все это оказалось бы намного сложнее. Здесь же она спала одна. Ему даже не нужно было отключать камеристку.

Он открыл створку окна, проскользнул в комнату и положил полотно в сторону. Затем он повернулся к кровати. Доминировал запах ее волос, потому что лежала она на животе, а лицо, прикрытое руками, вжала в подушку так, что ее затылок идеально был подставлен для удара дубиной.

Звук удара получился глухим и скрипучим. Он это ненавидел. Он ненавидел это лишь из-за того, что это был уже шорох, звук в его во всем остальном беззвучном деле. Лишь крепко сжав зубы, он был в состоянии вынести этот ужасный звук, и когда тот уже утих, он еще некоторое время неподвижно стоял рядом с кроватью, сцепив зубы и зажав в руке дубину, словно боялся, что звук может вернуться в виде эха с какой-нибудь стороны. Но звук не вернулся, а в комнате снова воцарилась тишина, даже усилившаяся тишина, потому что теперь больше ее не нарушало даже дыхание девушки. Наконец Гренуй сменил свою напряженную позу (которая, наверное, могла еще быть позой благоговения или своеобразной судорожной минутой молчания), и тело его мягко осело.

Он отставил дубинку в сторону, и теперь его заполняла только лишь усердная деловитость. В первую очередь он развернул платок с жиром, свободно положил его на стол и стулья, следя за тем, чтобы слой жира остался неповрежденным. Затем он отбросил в сторону одеяло. Великолепный аромат девушки, ударивший ему в ноздри сильным и теплым потоком, совершенно его не тронул. Он был ему знаком, а наслаждаться им, наслаждаться до опьянения, он будет позже, когда по-настоящему им завладеет. Сейчас же речь шла о том, чтобы как можно большую его часть поймать, как можно меньшую часть

упустить, сейчас необходимы были концентрация и топорливость.

Быстрыми движениями ножниц он разрезал ночную рубашку, стащил ее с девушки, схватил смазанную жиром материю и набросил на обнаженное тело. Затем приподнял ее, подстелил свисающий край платка под нее, закатал ее, как кондитер закатывает яблочный пирог, загнул углы, закутал ее от пальцев ног до самого лба. Лишь только ее волосы выглядывали из похожего на мумию рулона. Он обрезал их под самый корень, сложил в ее же ночную рубашку, которую завязал, как мешок. Потом он накинуд остававшийся свободным конец материи на остриженный череп, пригладил отдувавшийся конец, прижал его нежным надавливанием пальца. Он перепроверил весь сверток. Он не обнаружил ни малейшей щели, ни дырочки, ни разошедшейся складочки, через которые мог бы улетучиться запах девушки. Упакована она была великолепно. Больше ничего не оставалось делать, как ждать, целых шесть часов, пока не забрезжит рассвет.

Он взял маленькое кресло, на котором лежала ее одежда, пододвинул его к кровати и сел. В широкой черной одежде еще хранилось нежное дуновение ее аромата, смешанного с ароматом анисовых лепешек, которые она сунула в карман в качестве дорожного провианта. Он положил свои ноги на край кровати, совсем рядом с ее ногами, накрылся ее одеждой и принялся есть анисовые лепешки. Он устал. Но спать он не хотел, потому что не хорошо было во время работы спать, даже если работа состояла лишь из ожидания. Он вспоминал ночи, которые проводил за перегонкой в мастерской Балдини: черный от сажи перегонный аппарат, мерцающий огонь, тихий булькающий звук, с которым дистиллят капал из охлаждающей трубки в банку. Время от времени надо было смотреть за огнем, доливать воды, менять наполненные банки, выливать использованное сырье перегонки. И тем не ме-

нее ему все время казалось, что бодрствовать приходилось не из-за того, что надо было исполнить всю эту накопившуюся работу, а что бодрствование само по себе имело свой собственный смысл. Даже здесь, в этой комнате, где процесс впитывания запахов шел совершенно сам по себе и где несвоевременная проверка, поворот или вмешательство в ароматный пакет могли лишь повредить — даже здесь, так казалось Греную, было важно его бодрствующее пребывание. Сон мог лишь отпугнуть духа удачи.

В общем-то ему удавалось без большого труда не заснуть и ждать, несмотря на усталость. *Это* ожидание он любил. Он любил его и в случаях с двадцатью четырьмя другими девушками, потому что это было не просто глухое ожидание чего-то и даже не страстное ожидание, а сопровождающее, полное смысла, в некоторой степени созидательное ожидание. Что-то делалось во время этого ожидания. Делалось нечто значительное. И пусть даже делал это не он сам, но это все делалось с его участием. Он отдал этому лучшее, что у него было. Он вложил сюда все свое искусство. Он не допускал ни единой ошибки. Дело это было уникальным. Оно будет увенчано успехом... Ему нужно подождать еще несколько часов. Оно, это ожидание, до глубины души радовало его. Он никогда в жизни не чувствовал себя так прекрасно, так спокойно, так свободно, в таком единстве с самим собой — даже тогда, в своей горе — как в эти часы, во время перерыва в работе, когда он глубокой ночью сидел рядом со своей жертвой и бодрствуя ждал. Лишь в это время, очень непродолжительное время в его мрачном мозге возникали почти веселые мысли.

Станным образом эти мысли не были обращены в будущее. Он не думал об аромате, который он будет собирать еще несколько часов, о духах из двадцати пяти девичьих аур, о будущих планах, счастье и успехе. Нет, он

думал о своем прошлом. Он вспоминал эпизоды своей жизни от дома мадам Гайар и сырых и влажных дров до сегодняшнего путешествия в маленькую, пахнущую рыбой деревню Ла-Напуль. Он вспоминал дубильщика кож Грималья, Джузеппе Балдини, маркиза де ла Тайад-Эспинасса. Он вспоминал город Париж, его тяжелые, переливающиеся тысячами оттенков, тошнотворные испарения, он вспоминал рыжеволосую девушку с улицы Марэ, чистые поля, слабый ветерок, леса. Вспоминал он и гору в Оверни — он никогда не обходил это воспоминание, — свою пещеру, неиспорченный человеческим запахом воздух. Вспоминал он и о своих снах и мечтах. И вспоминал он все это с огромным удовольствием. Да, ему казалось, когда он вспоминал о прошлом, что он самый счастливый человек в мире и что судьба его вела хоть и запутанным, но, в конце концов, правильным путем — как было бы иначе возможно, что он пришел сюда, в эту темную комнату, к цели своих мечтаний? Он был, стоило лишь тщательно поразмыслить, действительно отмеченный милостью индивидуумом.

Он был тронут, в нем появилось чувство покорности и благодарности.

— Благодарю тебя, — тихо сказал он. — Я благодарю тебя, Жан-Батист Гренуй, что ты такой, какой ты есть! — В таком восторге он бы сам от себя.

Затем он закрыл глаза — не для того, чтобы спать, а для того, чтобы полностью отдаться миру этой священной ночи. Мир заполнил все его сердце. Но ему казалось, что он царил повсюду. Он носом чувствовал мирный сон камеристки в соседней комнате, глубокий и мирный сон Антуана Риши с другой стороны коридора, он чуял мирное посапывание хозяина и слуг, собак, скотины в хлеву, всего городка и моря. Ветер утих. Все было окутано тишиной. Ничто не мешало миру.

Один раз он отклонил свою ногу в сторону и нежно

дотронулся до ноги Лауры. Даже не ее ноги, а платка, в который она была укутана, с тонким слоем жира с другой стороны, насыщающимся ее ароматом, ее великолепным ароматом, его ароматом.

46

Когда первые птицы проснулись и защebetали — то есть незадолго до предрассветных сумерек, — он поднялся и завершил свою работу. Он откинул края платка и снял его с покойницы, как пластырь. Жир хорошо отставал от кожи. Лишь на некоторых неровностях оставалось небольшое его количество, которое ему приходилось собирать шпателем. Остальные следы помады он вытер нижней рубашкой Лауры, которой он напоследок протер все тело с ног до головы так тщательно, что стер даже жир из ее пор во всех складках, а вместе с этим последние капельки и частички ее запаха. И лишь теперь она для него умерла по-настоящему, увядшая, бледная и мягкая, словно поникший цветок.

Он бросил нижнюю рубашку в большой, пропитанный ее запахом платок, в котором, и лишь в нем одном, она еще продолжала жить, положил туда же ночную рубашку с ее волосами и свернул это все в маленький тугой сверток, который зажал у себя под мышкой. Он даже не потрудился накрыть лежащий на кровати труп. И хотя темнота ночи уже превратилась в серо-голубые утренние сумерки и вещи в комнате стали принимать свои очертания, он даже не посмотрел на кровать, чтобы увидеть девушку хотя бы один раз в жизни глазами. Ее фигура его не интересовала. В качестве тела она для него теперь вообще не существовала, а лишь как бестелесный аромат. А его он нес у себя под мышкой, уносил его с собой.

Он тихонько скользнул через окно и спустился по

лестнице вниз. Снаружи снова поднялся ветер, небо прояснилось, и на землю упал холодный, темно-голубой свет.

Получасом позже служанка развела на кухне огонь. Выйдя за дом, чтобы принести дров, она увидела прислоненную к стене лестницу, но была еще слишком заспанной, чтобы что-либо понять. После шести часов взошло солнце. Огромное и золотисто-красное, оно поднялось прямо из моря между обоими Леренскими островами. На небе не было ни облачка. Наступил великолепный весенний день.

Риши, чья комната выходила на запад, проснулся в семь. В первый раз за несколько месяцев он по-настоящему великолепно поспал и вопреки своим привычкам еще четверть часа пролежал, потягиваясь и вздыхая от удовольствия, прислушиваясь к приятному шуму возни, доносившемуся с кухни. Когда он встал и широко распахнул окно, и обнаружил прекрасную погоду, и втянул носом свежий, солоноватый утренний воздух, и услышал шум моря, его хорошее настроение перешагнуло все границы и он, выпятив вперед губы, стал насвистывать бодрящую мелодию.

Одеваясь, он продолжал насвистывать, и продолжал насвистывать, когда вышел из своей комнаты, и когда шел мягкими шагами через коридор к двери комнаты своей дочери. Он постучал. Постучал снова, тихо, очень тихо, не желая ее будить, почти надеясь застать ее еще спящей, он собирался пробудить ее нежным поцелуем, еще раз, в последний раз, прежде чем он вынужден будет отдать ее другому мужчине.

Дверь распахнулась, он вошел, и солнечный свет ударил ему в глаза. Комната словно была наполнена сверкающим серебром, все сверкало, и от боли ему пришлось на мгновение закрыть глаза.

Когда он их снова открыл, он увидел Лауру лежащей на кровати, голую и мертвую, и наголо стриженную, и

ослепительно белую. Это было, как в кошмаре, привидевшемся ему предыдущей ночью в Грасе и снова забытом, и содержание которого теперь, словно молния, пронзило его сознание. Все вдруг предстало перед ним точь-в-точь, как в том кошмаре, только намного четче.

47

Известие об убийстве Лауры Риши распространилось по окрестностям Граса так быстро, словно это было известие типа «Король умер!» или «Пираты высадились на берег!», и известие это породило подобные и еще худшие страхи. Моментально тщательно забытый страх появился снова, передаваясь от человека к человеку, как и прошлой осенью, со всеми сопутствующими ему явлениями: паникой, возмущением, гневом, истерическими подозрениями, отчаянием. По ночам люди не выходили из домов, запирали своих дочерей, баррикадировали свои двери, подозревали друг друга и больше не спали. Каждый думал, что это будет продолжаться, как и тогда, каждую неделю одно убийство. Казалось, что время возвратилось на полгода назад.

Страх был еще более парализующим, чем полгода назад, потому что неожиданное возвращение опасности, о которой думали, что она уже давно миновала, породило у людей чувство беспомощности. Если уже не помогло проклятие самого епископа! Если уж Антуан Риши, великий Риши, самый богатый гражданин города, Второй Консул, могущественный, умный человек, в распоряжении которого были все подручные средства, не смог уберечь своего собственного ребенка! Если рука убийцы даже не дрогнула при виде божественной красоты Лауры — потому что она на самом деле всем, кто ее знал, казалась святой, особенно сейчас, после всего, когда она уже была мертва.

Какие же еще оставались надежды на то, чтобы избавиться от убийцы? Он был более ужасен, чем чума, потому что от чумы можно было убежать, а от этого убийцы — нет, что убедительно доказал пример Риши. Он явно обладал дьявольскими способностями. Совершенно ясно, что он состоял в союзе с дьяволом, если только он сам не был этим дьяволом. И так думали очень многие, прежде всего наивные умы, и не видели другого выхода, как отправиться в церковь и молиться, представитель каждого ремесла своему покровителю: слесари — святому Алоизию, ткачи — святому Криспину, парфюмеры — святому Иосифу. И они брали с собой своих жен и дочерей, молились вместе, ели и спали в церкви, не выходили из нее даже днем, уверенные в том, что только под защитой растерявшейся общины и перед ликом Мадонны можно найти единственное спасение от чудовища, если только еще существовало какое-то спасение.

Другие же, умные головы, объединились, так как церковь один раз уже не помогла, в оккультные группы, пригласили за большие деньги апробированную ведьму из Гурдона, забили в одну из множества известковых пещер, находящихся под Грасом, и проводили сатанинские мессы, чтобы получить благосклонность злого духа. Еще одни, преимущественно представители высшей буржуазии и образованного дворянства, сделали ставку на новейшие исторические методы, магнетизировали свои дома, гипнотизировали своих дочерей, сотворяли в своих салонах флюидальные круги молчания и пытались совместным потоком мыслей при помощи телепатии обуздать дух убийцы. Объединения организовывали покаянные процессии из Граса в Ла-Напуль и обратно. Монахи пяти городских монастырей организовали непрерывное просительное богослужение, с продолжительными песнопениями, так что то в одном, то в другом конце города слыша-

лись непрерывные причитания как днем, так и ночью. В городе почти никто не работал.

Так жители Граса ожидали в своем лихорадочном бездействии, даже с нетерпением, следующего убийства. То, что оно вот-вот случится, не сомневался никто. И каждый в глубине души ожидал ужасного известия с единственной надеждой, что коснется оно не его самого, а кого-то другого.

Властям же в городе, в окрестностях и в провинции на этот раз истерическое настроение населения не передалось. Впервые с того самого времени, когда убийца девушек первый раз проявился, дело дошло до планомерной и плодотворной работы между властями Граса, Драгиньяна и Тулона, между магистратами, полицией, интендантом, парламентом и военно-морскими силами.

Основанием для этих солидарных действий власть имущих было, с одной стороны, опасение общего народного восстания, с другой же стороны, тот факт, что после убийства Лауры Риши появилась отправная точка, которая вообще впервые дала возможность для поисков убийцы. Убийцу впервые увидели. Речь явно шла о некоем одиозном подмастерье кожевенника, который в ночь убийства остановился в хлеву гостиницы Ла-Напули и на следующее утро бесследно исчез. Исходя из похожих друг на друга показаний хозяина, конюха и Риши, это был неприметный, низкорослый человек, одетый в коричневое платье, у которого с собой был дорожный мешок из грубого полотна. Хотя в остальном воспоминания трех свидетелей были до странного расплывчатыми, они почти не могли описать лица, цвета волос или особенности речи, хозяин еще смог сказать, что ему, если он не ошибается, бросилось в глаза в позе и походке неизвестного что-то неуклюжее, хромое, как у калеки.

Уже к полудню дня убийства снабженные такими приметами два отряда всадников береговой охраны бросились в погоню за убийцей в направлении Марселя — один вдоль берега, другой по дороге, идущей в глубь страны. Ближайшие окрестности Ла-Напули были прочесаны отрядами добровольцев. Два комиссионера земельного суда Граса отправились в Нишцу, чтобы там собрать информацию о подмастерье кожевенника. В портах Фрежюса, Кана и Антиба проверке подвергались все уходящие корабли, на границе возле Савоя были перекрыты все дороги и у всех путников проверяли документы. Всем, кто стоял на воротах Граса, Ванса, Гурдона и у дверей церквей в деревнях и умел читать, было роздано описание преступника. Три раза в день они должны были его оглашать. То, что у преступника вроде бы была кривая нога, конечно же усиливало мнение, что речь шла о самом сатане в обличье преступника, и скорее вызвало у людей панику, чем дало возможность найти свидетелей.

Лишь после того, как президент суда Граса по поручению Риши назначил вознаграждение в сумме не менее двухсот ливров за информацию, способствующую поимке убийцы, последовали доносы и аресты нескольких подмастерьев кожевенников в Грасе, Опио и Гурдоне, единственным проступком которых было то, что они хромали. Их, несмотря на подтвержденные многими свидетелями алиби, подвергли пыткам, пока на десятый день после совершенного убийства один из охранников городских ворот не сообщил в магистрат и судьям буквально следующее: в полдень того самого дня он, Габриэль Тальяско, капитан охраны, нес, как обычно, службу у заставы Дю-Кур, когда к нему обратился какой-то индивидуум, к которому, как он теперь понимает, очень подходит описание из розданного циркуляра, и запыхавшись и очень торопливо спросил, по какой дороге двинулся караван, с которым Второй Консул утром выехал из города. Этому слу-

чаю он бы ни раньше, ни сейчас не придал бы никакого значения, и даже этого индивидуума он при всем своем желании больше бы не вспомнил — тот был в высшей степени невзрачным и неприметным, — если бы вчера он случайно его не увидел снова, прямо здесь в Грасе, на улице Де-ла-Лув, перед мастерской метра Дрюо и мадам Арнульфи, и теперь ему бросилось в глаза, что этот человек, возвращаясь в мастерскую, явно хромал.

Часом позже Гренуй был арестован. Хозяин гостиницы и конюх из Ла-Напули, которые находились в Грасе в связи с опознанием других подозреваемых, тут же узнали его, ученика кожевенника, который у них ночевал: именно этот и никто другой, именно он и есть разыскиваемый убийца.

Был произведен обыск в мастерской, обыскали хлев в оливковом саду позади францисканского монастыря. В одном из углов, едва прикрытые, лежали ночная рубашка, нижняя рубашка и рыжие волосы Лауры Риши. А когда разрыли пол, перед взором одни за другими предстали одежды и волосы остальных двадцати четырех девушек. Была найдена деревянная дубинка, которой были убиты все жертвы, а также полотняный дорожный мешок. Улик было больше, чем достаточно. Приказали звонить в колокола. Президент суда сообщил через глашатаев и письменными извещениями, что одиозный убийца девушек, за которым охотились уже почти целый год, наконец схвачен и теперь содержится в надежной темнице.

48

Поначалу люди не поверили этому сообщению. Они считали это уловкой, финтом, с помощью которого власти хотели скрыть свою беспомощность, а также успокоить опасное раздражение населения. Еще слишком свежо

было воспоминание о том времени, когда пошли разговоры, будто убийца отправился в Гренобль. Слишком уж глубоко проник на этот раз страх в людские души.

И лишь когда на следующий день на обозрение публики перед зданием суда выставили вещественные доказательства — это была жуткая картина, двадцать пять платьев с двадцатью пятью пучками волос, надетые на палки, как огородные пугала, были поставлены в начале площади, напротив собора, в один ряд — тогда общественное мнение изменилось.

Сотнями проходили люди мимо мрачной галереи. Родственники жертв, которые узнавали их одежду, с криком падали на землю. Остальная же толпа, часть из жажды сенсаций, часть для того, чтобы полностью убедиться, желали увидеть убийцу. Крики с требованием показать его стали настолько громкими, беспокойство на маленькой, полной людей площади столь угрожающим, что президент принял решение вывести Гренуя из камеры и показать его из окна второго этажа здания суда.

Когда Гренуй подошел к окну, все разговоры смолкли. Моментально стало так тихо, как в полдень жаркого летнего дня, когда все либо работают в поле, либо заползают в тень домов. Ни шага, ни шелеста, ни вдоха слышно больше не было. Вся толпа лишь широко раскрыла глаза и открыла рты, и стояла так на протяжении многих минут. Ни один человек не был в состоянии сразу понять, что этот тонкий, маленький, сгорбленный человек, стоявший там, в окне, этот червячок, эта жалкая кучка, это ничтожество было исполнителем более, чем двадцати убийств. Он был просто не похож на убийцу. Правда, никто не мог сказать, *как* он представлял себе этого убийцу, этого дьявола, но все были едины во мнении: не так! И тем не менее — хотя убийца совершенно не соответствовал представлениям людей и его демонстрация, вероятно, могло иметь не очень убедительное действие, само

по себе появление этого человека в окне и факт, что именно он и никто другой был представлен как убийца, парадоксальным образом возымело самое убедительное воздействие. Все они думали: но этого же не может быть! — и понимали в тот же самый момент, что это действительно так.

Конечно же, еще до того как охрана увела человечка обратно в тень комнаты, то есть прежде чем он перестал быть явным и видимым, и перед тем как он должен был превратиться в воспоминание, так и хочется сказать, стать лишь понятием, образом отвратительного убийцы в людских умах — лишь тогда растерянность толпы исчезла и дала место соответствующей реакции: рты закрылись, тысячи глаз снова ожили. И в едином громовом крике гнева и жажды мести по площади прокатилось: «Отдайте его нам!» Они уже даже намеревались штурмовать здание суда, чтобы собственными руками задушить его, разорвать, разделать на куски. Охране стоило немалых усилий, чтобы забаррикадировать ворота и отбросить чернь назад. Гренуй был самым срочным образом отправлен обратно в свою камеру. Президент подошел к окну и пообещал быстрый и показательно строгий суд. Тем не менее прошло еще несколько часов, пока толпа разошлась, и несколько дней, пока город наконец более-менее успокоился.

Дело против Гренуя действительно было возбуждено очень быстро, потому что было не только предостаточно вещественных доказательств, но и сам обвиняемый на допросах безоговорочно принял на себя груз совершенных убийств.

Лишь только тогда, когда ему задали вопрос о мотивах, он не смог дать какого-либо внятного ответа. Он лишь все время повторял, что девушки были ему нужны и поэтому он их убил. Для чего они ему были нужны и что все это вообще должно было значить, «они были ему нуж-

ны» — по этому поводу он не сказал ничего. Из-за этого его жестоко пытали, на несколько часов подвешивали за ноги, закачивали в него семь пинт воды, зажимали ноги в тисках — все без малейшего успеха. Казалось, этот человек совершенно невосприимчив к физической боли, он не издавал ни звука, и когда ему задавали вопросы, не отвечал ничего, кроме: «Они были мне нужны». Судьи посчитали его душевнобольным. Они прекратили пытки и решили как можно скорее довести дело до конца без дальнейших допросов

Единственной задержкой, которая все еще оставалась, была юридическая перебранка между магистратом Драгиньяна, в чьих владениях находилась Ла-Напуль, и парламентом в Эксе — каждый хотел, чтобы процесс состоялся именно у них. Но судьи Граса не дали отнять у них дело. Именно они были теми, кто схватил преступника, в пределах их влияния было совершено подавляющее количество убийств, и именно им грозил накопившийся народный гнев в случае, если убийцу передали бы в другой суд. Кровь его должна была оросить землю Граса.

15 апреля 1766 года приговор был вынесен и зачитан обвиняемому в его камере. «Подмастерье парфюмера Жан-Батист Гренуй, — говорилось в нем, — должен быть в течение сорока восьми часов отведен на заставу Дю-Кур перед городскими воротами, там, лицом к небу, привязан к деревянному кресту, ему нанесут по живому телу двенадцать ударов железным прутом, которые раздробят ему суставы на руках, ногах, бедрах и плечах, после чего крест, к которому он будет привязан, будет поставлен и простоят до самой его смерти». Обычная милосердная практика, когда приговоренного после раздробления удушали тонким шнуром, была однозначно отвергнута судьей, пускай даже предсмертные судороги будут продолжаться несколько дней. Труп предписывалось закопать на живодерне, не указывая места захоронения.

Гренуй выслушал приговор без каких бы то ни было эмоций. Судебный исполнитель спросил о его последнем желании.

— Ничего,— сказал Гренуй; у него было все, что он хотел.

В камеру пришел священник, чтобы его исповедовать, но уже через четверть часа безуспешных попыток проникнуть в душу, он вышел. Осужденный при упоминании имени Божьего посмотрел на него с абсолютным непониманием, словно слышал он это имя впервые, после чего забрался на свои нары, чтобы тут же погрузиться в глубочайший сон. Все остальные слова оказались бы бессмысленными.

На протяжении двух следующих дней приходило много людей, чтобы вблизи посмотреть на знаменитого убийцу. Охранники разрешали посмотреть им через окошко в двери камеры и получали с каждого по шесть солей. Гравер по меди, который хотел сделать наброски, был вынужден заплатить два франка. Но всех их ждало скорее разочарование. Заключенный, скованный по рукам и ногам, все время лежал на нарах и спал. Лицо он отвернул к стене и не реагировал ни на стук, которым его пытались разбудить, ни на крики. Входить посетителям в камеру было категорически запрещено, и охранники не решались, несмотря на привлекательные предложения, преступить через этот запрет. Опасались того, что кто-нибудь из родственников жертв убьет его преждевременно. По этой же причине было запрещено давать ему какую бы то ни было еду. Его могли отравить. На протяжении всего своего заключения Гренуй получал еду с кухни для прислуги епископского дворца, которую дегустировал лично старший надзиратель. Правда, два последних дня он не ел вообще ничего. Он лежал и спал. Иногда звенели его цепи, и тогда охранник торопился подойти к окошку в двери, он мог принять глоток воды из фляги, снова лечь

на свои нары и тут же заснуть. Казалось, что этот человек настолько устал от своей жизни, что он даже не хотел прожить последние ее часы в бодрствующем состоянии.

Тем временем заставу Дю-Кур подготавливали к казни. Плотники сооружали эшафот, три на три метра и два метра в высоту, с перилами и крепкой лестницей — такого в Грасе еще никогда не было. А еще деревянная трибуна для местной знати и забор для защиты от остального люда, который должен был оставаться на некотором удалении. Места у окон в домах справа и слева от заставы Дю-Кур и в здании охраны были уже давно сданы за изрядные суммы. Даже в расположенной на некотором расстоянии богадельне помощник палача выторговал палаты у больных и с большой выгодой перепродал их любителям подобных зрелищ. Продавцы лимонада канистрами смешивали воду с экстрактом солодкового корня про запас, гравер по меди сотнями экземпляров печатал нарисованный в тюрьме портрет убийцы, которому его фантазия придала более бешеные черты, бродячие торговцы десятками бродили по городу, пекари выпекали памятные лепешки.

Палач, мосье Папон, который уже несколько лет не имел возможности дробить ни одного осужденного, заказал выковать тяжелый четырехугольный железный стержень и отправился с ним на бойню, чтобы испытать свой удар на трупах животных. Он имел возможность нанести всего лишь двенадцать ударов, которые должны были наверняка раздробить двенадцать суставов, причем важные части тела, как грудь или голова, задеты быть не могли — щекотливое дело, требующее большого мастерства рук.

Горожане готовились к этому событию, как к большому празднику. То, что в этот день никто не будет работать, было понятно само собой. Женщины выглаживали праздничные одеяния, мужчины выбивали пыль со своих

платьев и начищали сапоги до блеска. Кто имел военный чин или занимал какой-либо пост, кто был мастером гильдии, адвокатом, нотариусом, директором какого-нибудь братства или еще чего-нибудь значимого, тот готовил форму, с орденами, лентами, цепями и белоснежно напудренными париками. Верующие собирались по окончании экзекуции собраться на богослужение, приверженцы сатаны — на свою тяжелую люциферскую благодарственную мессу, образованная знать — на магнетические сеансы в особняки семейств Кабри, Вильнев и Фонмишель. В кухнях уже всюду пекли и жарили, из подвалов доставали вино, а с базаров несли цветочные украшения, в соборе репетировали органист и церковный хор.

В доме Риши на улице Друат все было тихо. Риши запретил любую подготовку ко Дню освобождения, как в народе называли день казни убийцы. Ему это было противно. Противным был для него вдруг снова проявившийся страх людей, противной была их лихорадочная радость предвкушения. И сами они, все люди, все вместе, были ему противны. Он не принимал участия в показе преступника и его жертв на площади перед собором, не участвовал в процессе, в отвратительном дефилировании любителей сенсаций перед камерой осужденного. Для опознания волос и одежды своей дочери он пригласил суд к себе домой, коротко и сжато дал показания и попросил оставить ему эти вещи на память, что и было сделано. Он перенес их в комнату Лауры, положил разрезанную ночную рубашку и лифчик на ее кровать, расстелил рыжие волосы на подушке, сел напротив и не выходил больше из комнаты ни днем, ни ночью, словно хотел этой бессмысленной вахтой исправить то, что произошло ночью в Ла-Напули. Он был переполнен отвращением, отвращением к миру и к себе самому так, что даже не мог плакать.

И по отношению к убийце он испытывал отвращение. Он хотел смотреть на него, не как на человека, а лишь как

на жертву, которая будет убита. Он хотел увидеть его лишь во время казни, когда тот уже будет на кресте и на него обрушатся двенадцать ударов, лишь тогда он хотел его увидеть, тогда он хотел его увидеть вблизи, он зарезервировал себе место в самом первом ряду. И когда народ разойдется, через несколько часов, он собирался подняться к нему, на окровавленный эшафот, и сесть рядом с ним, и держать вахту, днями, ночами, если это понадобится, и смотреть при этом ему в глаза, убийце своей дочери, отдавая по капле все свое отвращения в его глаза, все отвращение, которое в нем скопилось, прямо в его смертельные муки, словно горящую кислоту, так долго, пока тот не сохнет...

А потом? Что он будет делать потом? Этого он не знал. Может быть, вернется к привычной своей жизни, может быть, женится, может быть, произведет на свет сына, может быть, ничего не будет делать, а может быть, умрет. Ему было совершенно безразлично. Думать о подобных вещах казалось ему совершенно бессмысленным, точно так же, как думать о том, что он будет делать после собственной смерти: конечно же, ничего. Ничего, как мог он понять уже сейчас.

49

Казнь была назначена на пять часов дня. Уже утром стали собираться первые любители острых ощущений и забивали себе места. Они приносили с собой стулья и скамеечки для ног, подушки для сиденья, еду, вино и своих детей. Когда к полудню со всех сторон хлынули массы народа из окрестностей, застава Дю-Кур была уже так забита людьми, что новоприбывшие вынуждены были занимать места на поднимающихся террасах садов и полей по другую сторону площади и прямо на дороге, ведущей в

Гренобль. У торговцев дела уже шли прекрасно, все ели, пили, стоял гул и все шевелилось, словно на ярмарке. Вскоре число собравшихся перевалило за десять тысяч человек, больше, чем на празднике королевы жасминов, больше, чем на любой процессии, больше, чем когда либо в Грасе. Они стояли на всех склонах холмов, поднимаясь все выше и выше. Они висели на деревьях, сидели на стенах и крышах, они высывались по десять-двенадцать человек из открытых окон. Только лишь в середине Дю-Кур, защищенное крепким забором, словно вытолкнутое из теста человеческой толпы, оставалось еще свободное место для трибуны и для эшафота, который вдруг стал казаться чрезвычайно маленьким, словно игрушка или сцена кукольного театра. Кроме того, свободным оставался один из переулков, от суда до заставы Дю-Кур и улицы Друат.

После трех часов появились мосье Папон и его подручные, в чью честь раздались аплодисменты. Они поднесли к эшафоту сделанный из деревянных балок крест святого Андрея и установили его на нужной рабочей высоте, подставив тяжелые плотницкие козлы. Подмастерье плотника крепко прибил крест гвоздями. Каждое движение подручных палача и плотника толпа приветствовала аплодисментами. Когда затем Папон появился с железным стержнем, обошел вокруг крест, выверил свои шаги, сымитировал удары то с одной, то с другой стороны, разразилось настоящее ликование.

В четыре часа начала заполняться трибуна. Там было много достойных внимания людей, богатых господ с лакеями и хорошими манерами, красивых дам, больших шляп, блестящих платьев. Здесь было представлено все дворянство города и окрестностей. Господа из совета пришли все вместе, ведомые обоими консулами. Риши был одет в черное платье, черные чулки, черную шляпу. Позади совета в полном составе шел магистрат под руководством судебно-

го президента. Последним появился епископ в открытых носилках, в святающейся фиолетовой мантии и зеленой шапочке. Кто еще не успел снять головной убор, сделал это сейчас. Воцарилась атмосфера праздника.

Затем примерно десять минут не происходило ничего. Господа заняли свои места, народ замер без движения, никто больше не ел, все ждали. Папон и его подручные стояли на сцене эшафота, словно прибитые гвоздями. Солнце висело большое и желтое. С грасской низменности легкий ветерок нес аромат апельсинового цвета. Было очень тепло и невероятно тихо.

Наконец, когда уже казалось, что напряжение сдерживаться больше не сможет, а выльется в тысячеголосый крик, сумятицу, неистовство или в другие массовые беспорядки, в тишине послышалось цоканье лошадиных копыт и скрип колес.

По улице Друат вниз двигался закрытый экипаж, запряженный двумя лошадьми, экипаж полицейского лейтенанта. Он проехал сквозь городские ворота и появился, хорошо видимый каждому, в маленьком переулке, ведущем к месту казни. Полицейский лейтенант настоял на таком маршруте следования, ибо иначе, как ему казалось, он не мог гарантировать безопасности осужденного. Все это выглядело необычно. Тюрьма находилась в каких-то пяти минутах от места казни, и если осужденный по какой бы то ни было причине не мог пройти это короткое расстояние пешком, его привозили в открытой повозке, запряженной ослиами. Такого, чтобы кого-либо привозили на казнь в экипаже, с кучером, одетыми в ливреи слугами и в конном сопровождении, не мог припомнить никто.

Тем не менее в толпе не возникло ни волнений, ни негодования, а даже наоборот. Люди были довольны, что вообще что-либо происходит, посчитали вариант с каретой удавшейся затеей, также, как в театре, где ценится, когда известный спектакль представляется совершенно

новым образом. Правда, многие посчитали, что сцена была соответствующей. Такому чрезвычайно отвратительному преступнику подобало чрезвычайное обхождение. Его нельзя было приволочь в цепях на площадь и забить, как обычного уличного грабителя. В этом не было бы ничего сенсационного. А вот провести его с мягкого сиденья экипажа до андреевского креста — это была несравненно изобретательная жестокость.

Карета остановилась между эшафотом и трибуной. Лакеи спрыгнули на землю, открыли дверцу и откинули подножку. Первым вышел полицейский лейтенант, за ним офицер охраны и, наконец, Гренуй. На нем было синее платье, белая рубашка, белые шелковые чулки и черные башмаки с пряжками. Он не был закован в цепи. Никто не вел его за руку. Он вышел из кареты, как свободный человек.

И тут произошло чудо. Или что-то подобное чуду, в общем, что-то совершенно непостижимое, неслыханное и невероятное, что свидетели потом назвали бы чудом, если бы они вообще когда-нибудь вернулись к этому разговору, чего быть просто не могло, ибо потом им было бы в высшей мере стыдно, что они вообще принимали во всем этом участие.

Создалось впечатление, что десять тысяч человек на Дю-Кур и на близлежащих холмах в один момент словно пропитались другой, непоколебимой верой и почувствовали, что маленький человек в синем платье, который только что вышел из кареты, *никак не мог быть убийцей*. Не потому, что они сомневались в его идентичности! Здесь стоял тот же самый человек, которого несколько дней назад они видели на церковной площади в окне здания суда и которого бы они, будь на то тогда их воля, в страшном гневе разорвали бы на куски. Тот самый, кто два дня назад на основании подавляющих улик и собственных признаний был законно осужден. Тот самый,

избиения палачом которого они с нетерпением жаждали еще минуту назад. Это был он, в этом не было никаких сомнений!

И все таки — вместе с этим он был и не тот, он просто не мог им быть, он не мог быть убийцей. Человек, стоявший на месте казни, был самым воплощением невинности. В мгновение это поняли все: от епископа до продавцов лимонада, от маркиза до простой прачки, от президента суда до уличного мальчишки.

И Папон это понял. И его кулаки, в которых он сжимал железный стержень, дрожали. В своих сильных руках он почувствовал вдруг такую слабость, колени вдруг стали ватными, и сердце забилося, как у ребенка. Он не сможет больше поднять этот прут никогда в жизни, никогда он не применит силу, чтобы поднять его против маленького невинного человека, ах, он боялся того момента, когда его приведут на помост, он дрожал, он был вынужден опереться на свой убийственный прут, чтобы не упасть от слабости на колени, большой, сильный Папон!

То же самое происходило с десятью тысячами мужчин, и женщин, и детей, и стариков, которые здесь собрались: они стали слабыми, как маленькие девочки, которые не могли противостоять обаянию своего возлюбленного. Их охватило огромное чувство симпатии, нежности, безумной детской влюбленности, да, Бог свидетель, любви к маленькому убийце, и они не могли, они не хотели этому противостоять. Это было похоже на плач, которому нельзя сопротивляться, на продолжительный плач, который поднимается из глубин живота, сметая все, что способно ему противостоять, все разжижая и смывая. Люди стали мягкими, смягчились умом и душой, словно под влиянием аморфной жидкости, и они чувствовали только лишь свое сердце, как непрерывный стук где-то у них внутри, и отдавали его, каждая и каждый, в руки маленького человека в голубом платье, на веки вечные: Они любят его!

Гренуй стоял уже несколько минут возле открытой дверцы кареты и не двигался с места. Лакей рядом с ним опустился на колени и продолжал опускаться все ниже до позы полной прострации, типичной на Востоке перед султаном или Аллахом. И даже в этой позе он продолжал дрожать и трястись и хотел опуститься еще ниже, лечь, прижавшись к земле, вдавиться в нее, провалиться под нее. С чувством абсолютной преданности он хотел погрузиться в самые ее глубины и выдавиться на ее обратной стороне. Офицер охраны и полицейский лейтенант, оба равноправные люди, заданием которых было в этот момент отвести осужденного на эшафот и передать в руки палача, были более не в состоянии сделать ни одного координированного движения. Они плакали и снимали свои шляпы, одевали их снова, бросали их на землю, падали друг другу в объятия, разжимали их, бессмысленно размахивали руками в воздухе, заламывали руки, вздрагивали и корчили гримасы, как пораженные пляской Святого Витта.

Находящиеся в некотором отдалении представители знати едва сдерживались в проявлениях умиления. Каждый дал волю стремлениям своего сердца. Многие дамы при виде Гренуя прижимали к паху кулаки и вздыхали от блаженства; а другие от страстного желания прекрасного юноши — ибо таким он им казался — без единого звука падали в обморок. Здесь же были и многие господа, которые вскакивали со своих мест и снова на них садились, и снова срывались, громко сопя и сжимая кулаки на рукоятках шпаг, словно хотели их вынуть, и даже вынимали, заталкивая их снова, так что в ножнах только скрипело и звенело; и другие, которые молча поднимали глаза к небу и складывали руки для молитвы; и монсеньер епископ наклонился, словно его тошнило, всем туловищем вперед и бился головой о свои колени, пока зеленая шапочка не слетела с его головы; но при этом его совершенно не тошнило, он впервые в своей жизни был охвачен религиоз-

ным восхищением, ибо чудо произошло на глазах у всех, Господь Бог собственноручно остановил руку палача, представив ангелом того, кто казался миру убийцей — о, было ли что подобное еще в 18 веке. Как велик Господь! И сколь мал и ничтожен был он сам, предавший его анафеме, не веря в это, а лишь для успокоения народа! О, какая самоуверенность, о, какое мелковерие! И вот Господь свершает чудо! О, какое прекрасное оскорбление, какое сладкое унижение, какая милость, получить, будучи епископом, от Бога такой урок.

Народ по другую сторону забора тем временем все бесстыднее предавался страстным выражениям чувств, вызванных появлением Гренуя. Тот, кто при его появлении испытывал лишь сочувствие и был тронут, был теперь выражением самой чувственности, а кто поначалу был восхищен и очарован, тот теперь буквально бился в экстазе. Человек в голубом платье казался всем самым красивым, самым привлекательным и самым совершенным существом, которое вообще можно было себе представить: монашенкам он казался Спасителем во плоти; сатанистам — блестящим владыкой тьмы; свободным от предрассудков — высшим существом; молоденьким девушкам — сказочным принцем; мужчинам — идеальным отражением себя самих. И всем им казалось, что он затронул их самые чувственные места, он проник всем им в эротические центры. Казалось, что у этого человека десять тысяч невидимых рук и что он положил десяти тысячам человек, которые его окружали, эти руки на их половые органы и ласкал их таким образом, о котором каждый, будь то мужчина или женщина, более всего мечтал в своих самых потайных мыслях.

Следствием этого было то, что запланированная казнь одного из самых отвратительных преступников своего времени превратилась в величайшую вакханалию, какую мир впервые увидел со второго века до рождения Христа:

благовоспитанные дамы рвали на себе блузки, оголяли с истеричными криками свои груди, бросались с высоко задранными юбками на землю. Мужчины шарили безумным взглядом по полю в поисках похотливого распро-тертого мяса, вынимали трясущимися руками свои члены из штанов, со стонами падали, совершенно не обращая внимания куда, копулировали в невероятных позах и сочетаниях: старик с девственницей, поденщик с супругой адвоката, ученик с монашенкой, иезуит с масонкой – все перемешались, кто рядом с кем стоял. Воздух стал тяжелым от сладкого запаха похотливого пота и наполнился криками, хрюканьем и стонами десяти тысяч озверевших людей. Это была inferнальная картина.

Гренуй стоял и улыбался. Людям, которые его видели, казалось, будто улыбался он самой невинной, любящей, очаровательной и вместе с этим соблазнительной улыбкой во всем мире. Но в действительности это была не улыбка, а ужасная, циничная ухмылка, которая играла у него на губах и отражала весь его триумф и все его презрение. Он, Жан-Батист Гренуй, человек, родившийся без запаха в самом вонючем месте в мире, вышедший из отбросов, дерьма и гнили, выросший без любви, живший без теплой человеческой души лишь из-за упрямства и силы отвращения, маленький, горбатый, хромой, уродливый, отверженный, чудовище как внутренне, так и внешне – он достиг того, чтобы его возлюбил мир. Что значит полюбил! Возлюбил! Восславил! Обожествил! Он совершил подвиг, достойный Прометея. Божественных искр, которые остальным людям были даны от рождения, у него, единственного в мире, не было, и он добился их бесконечной изощренностью и хитростью. Более того! Он буквально сделал это частью своей души, себя самого. Он был более великим, чем Прометей! Он создал себе ауру более блестящую и действенную, чем любой из людей когла либо. И он не должен был благодарить за это никого – ни

отца, ни мать, а меньше всего всемилостивейшего Бога, — кроме как только *самого себя*. На самом деле это был его собственный Бог и более великолепный Бог, чем тот, воняющий ладаном Бог, который жил в церкви. Это перед ним стоял на коленях живой епископ и визжал от радости. Богатые и могущественные, гордые господа и дамы умирали от восхищения, в то время как все остальные люди, разместившиеся в широком кругу, среди них отцы, матери, братья, сестры, ему в жертву, в его честь и во имя него устроили оргию. Лишь один его кивок, и все они принесут клятву своему Богу и будут молиться ему, Великому Греную.

Да, он *был* Великим Гренуем! Теперь это становилось явью. Все было точно также, как и в любимых его фантазиях, только теперь на самом деле. В эти моменты он переживал величайший триумф своей жизни. И ему стало страшно.

Ему стало страшно из-за того, что он ни секунды ни мог этим насладиться. В тот самый момент, когда он вышел из кареты на залитую солнцем площадь, побрызгавшись духами, которые делали его любимым всеми, духами, над которыми он работал целых два года, духами, владеть которыми он жаждал всю свою жизнь... в этот момент, когда он видел и чуял, насколько неотразимо они действуют и как, распространяясь с быстротой молнии, пленяют людей, покоряя их ему — в этот самый момент в нем снова поднялся весь его страх перед людьми и настолько омрачил его триумф, что он не почувствовал не только радости, но и малейшего чувства удовлетворения. То, чего он страстно желал всю жизнь, а именно, чтобы остальные люди его любили, стало в момент его успеха невыносимым, ибо сам он их не любил, он их ненавидел. И вдруг он понял, что он никогда не найдет удовлетворения в любви, а только в ненависти, ненавидя и будучи ненавидимым.

Но ненависть, которую он испытывал к людям, какого либо отклика у них не нашла. Чем больше он их в этот момент ненавидел, тем больше они его обожествляли, потому что они не воспринимали от него ничего, кроме его ауры, его ароматической маски, его украденных духов и этого на самом деле было достаточно для обожествления.

Самым лучшим для него было бы, если бы все они провалились под землю, глупые, вонючие, эротизированные люди, точно также, как он погружал чужие запахи в землю своей черной, как воронье крыло, души. И он желал, чтобы они заметили, как сильно он их ненавидит. Он хотел *один* раз в жизни выразить свои чувства. Он хотел один раз в жизни побыть таким же, как другие люди и хотел открыть душу: как они в своей любви и своем дурацком почитании, так и он в своей ненависти. Он хотел один раз, один единственный раз, чтобы в этом его существовании его заметили и получить от остальных людей ответ на свое единственное настоящее чувство — ненависть.

Но ничего из этого не получилось. Из этого и не могло ничего получиться. А сегодня тем более ничего. Потому что он был замаскирован лучшими в мире духами, и под этой маской у него не было никакого лица, и вообще ничего, кроме полного отсутствия запаха. Ему вдруг стало плохо, потому что он почувствовал, что снова поднимается туман.

Как тогда в пещере, во сне, в мечтах, в сердце, в его фантазии в один момент поднялись туманы, отвратительные туманы собственного запаха, которого он не мог вынести, ибо тот был безо всякого запаха. И как и в тот раз, ему стало бесконечно жутко и страшно, и ему показалось, что он задыхается. Иначе, чем тогда, ибо это был не сон и он не спал, это была чистая действительность. И он не лежал, как тогда, один в пещере, а стоял на площади перед глазами десяти тысяч человек. И здесь не мог помочь

никакой крик, который бы пробудил его и освободил, не мог помочь и возврат в добрый, теплый, спасительный мир. Ибо это, здесь и сейчас, *был* мир, и это, здесь и сейчас, было сбывшимся сном. И он сам всегда этого хотел.

Ужасный душливый туман продолжал подниматься из болота его души, в то время как народ вокруг него продолжал стонать в оргии и оргазмах. К нему подбежал какой-то человек. Он выскочил из первого ряда знати так быстро, что черная шляпа слетела с его головы, и он помчался с развевающимися черными полами через площадь, как черный ворон, как ангел отмщения. Это был Риши.

Он убьет меня, подумал Гренуй. Он единственный, кого не сможет ввести в заблуждения моя маска. Его нельзя ввести в заблуждения. Запах его дочери липнет ко мне, так же предательски явно, как кровь. Он должен разоблачить меня и убить. Он должен это сделать.

И он расставил руки, чтобы поймать надвигающегося на него ангела. Он уже надеялся почувствовать на груди отточенный удар шпаги или кинжала, пронзающего ароматический панцирь и душливый туман, или клинка, пронзающего его холодное сердце — наконец, наконец хоть что-то в его сердце, что-то другое, кроме него самого! Он почувствовал себя почти спасенным.

Но Риши уже лежал на его груди, никакой не мстящий ангел, а растроганный, жалобно шмыгающий носом Риши, и обвил руками его шею, крепко вцепился в него пальцами, словно не мог найти другой опоры в море счастья. Ни спасительного удара кинжалом, ни укола в сердце, ни малейшего проклятия или крика ненависти. Вместо этого Риши прижал свою мокрую от слез щеку к его, и дрожащий рот шептал: «Прости меня, сын мой, мой дорогой сын, прости меня!»

И вдруг в глазах у него изнутри побелело, а внешний мир стал черным-черным. Не имеющие выхода туманы превратились в бушующую жидкость, похожую на кипя-

щее, пенящееся молоко. Они переполняли его, невыноси-мо давили на внутренние стенки его тела, не находя выхо-да. Он хотел бежать, ради всех святых, бежать, но куда... Он хотел лопнуть, взорваться, лишь бы только не задохнуться в самом себе. В конце концов он осел и потерял сознание.

50

Когда он пришел в себя, то увидел, что лежит в постели Лауры Риши. Воспоминания о ней, одежда и ее волосы, были убраны. На ночном столике горела свеча. Сквозь закрытое окно он издали слышал ликование праздничного города. Антуан Риши сидел на скамеечке рядом с кроватью и ждал. Он положил руку Гренуя в свою и гладил ее.

Прежде чем открыть глаза, Гренуй обследовал атмосферу. Внутри его было тихо. Ничто больше не бурлило и не давило. В его душе снова воцарилась привычная холодная ночь, которая ему была нужна, чтобы сделать свое сознание холодным и ясным, и он направил свое внимание наружу: там пахли его духи. Они немного изменились. Верхняя их часть несколько ослабела, так что основной мотив Лауры Риши проявился еще больше, мягкий, темный, искрящийся огонь. Он чувствовал себя в безопасности. Он понимал, что еще на протяжении нескольких часов будет неуязвимым, и открыл глаза.

Взгляд Риши переместился на него. В этом взгляде была бесконечная благодать, нежность, трогательность и высокая, глуповатая глубина любящего человека.

Он улыбнулся, сжал Греную руку покрепче и сказал:
— Теперь все будет хорошо. Магистрат отменил свой приговор. Все свидетели отказались от своих показаний. Ты свободен. Ты можешь делать все, что ты хочешь. Но я

хочу, чтобы ты остался у меня. Я потерял дочь и хочу, чтобы ты стал моим сыном. Ты похож на нее. Ты такой же красивый, как и она, твои волосы, твой рот, твои руки... Я все время держал тебя за руку, твоя рука такая же, как и у нее. А когда я смотрю в твои глаза, мне кажется, что это она на меня смотрит. Ты ее брат, и я хочу, чтобы ты стал моим сыном, моей радостью, моей гордостью, моим наследником. Живы ли еще твои родители?

Гренуй покачал головой, и лицо Риши покраснелось от удовольствия.

— Так тогда ты станешь моим сыном? — пролепетал он со своей скамеечки и вскочил, чтобы сесть на край кровати и сжать и вторую руку Гренуя. — Ты станешь? Ты станешь? Хочешь ли ты, чтобы я стал твоим отцом? Не говори ничего! Ни слова! Ты еще слишком слаб, чтобы говорить. Только кивни!

Гренуй кивнул. У Риши выступило из пор лица что-то вроде красного пота, и он склонился над Гренуем и поцеловал его в губы.

— Теперь поспи, мой дорогой сын! — сказал он, снова выпрямившись. — Я буду сидеть рядом с тобой все время, пока ты не заснешь, — и просидев довольно долго в молчаливом восторге, продолжил, — ты сделал меня очень, очень счастливым.

Гренуй слегка растянул уголки губ, как это он видел у других людей, когда они улыбались. После этого он закрыл глаза. Он подождал некоторое время, а потом придал своему дыханию спокойный и глубокий ритм, как это бывает у спящих. Он чувствовал любящий взгляд Риши на своем лице. Один раз он почувствовал, как Риши снова наклонился, чтобы его поцеловать, но вдруг отпрянул, из боязни его разбудить. Наконец была задута свеча, и Риши на цыпочках выскользнул из комнаты.

Гренуй продолжал лежать, пока в доме и в городе не замолкли последние звуки. Когда он поднялся, уже света-

ло. Он оделся и пошел, потихоньку вышел из комнаты, тихо спустился по лестнице и через салон вышел на террасу.

Отсюда можно было заглянуть через городскую стену, увидеть низменность, прилегающую к Грасу, а в хорошую погоду можно было, наверное, увидеть и море. Сейчас же висел тонкий туман, скорее даже испарения, висел над полями, а доносившиеся оттуда запахи травы, дрока и роз были словно выросшие, чистые, ни с чем не смешанные, просто отрадные. Гренуй прошел через сад и перелез через стену.

Наверху у заставы Дю-Кур ему пришлось снова пробиваться через человеческие испарения и запахи, пока не вышел в чистое поле. Вся площадь и окружающие склоны были похожи на лагерь морально опустившегося войска. Тысячами лежали пьяные, измученные распутством прошедшей ночи тела, некоторые голые, некоторые полураздетые или полуприкрытые одеждой, под которую они заползли, как под одеяло. Воняло кислым вином, водкой, потом и мочой, детским говном и пережаренным мясом. То тут, то там еще дымились кострища, на которых они жарили и возле которых пили и танцевали. То тут, то там сквозь тысячеголосый храп доносились бормотание и смех. Наверное кое-кто еще не спал и изгонял из головы последние клочья сознания. Но никто не видел Гренуя, который переступал через распростертые тела, осторожно и вместе с тем торопливо, словно идя по болоту. А кто его видел, тот его не узнавал. Он больше не пах. Чудо закончилось.

Дойдя до конца площади, он пошел не по дороге, ведущей в Гренобль, не на Кабри, а пошел прямо через поля на запад, и пока шел, ни разу не оглянулся. Когда взошло солнце, жирное, и желтое, и колюче-жаркое, он уже давно исчез.

Жители Граса проснулись в ужасном похмелье. Даже

у тех, кто не пил, были тяжелые, как свинец, головы и было тошно в животах и на душе. На площади, при свете солнца, славные крестьяне искали свои платья, которые они во время оргии сбросили с себя, благовоспитанные дамы искали своих мужей и детей, совершенно чужие друг другу люди с отвращением освобождались из самых интимных объятий, знакомые, соседи, супруги представляли вдруг друг перед другом в жалкой, всем видимой нагоде.

Некоторым это казалось настолько ужасным, настолько необъяснимым и несовместимым с их обычными нравственными представлениями, что они буквально стирали это в своей памяти прямо в тот момент и вследствие этого даже позже действительно не могли ничего об этом вспомнить. Другие, которые не столь совершенно владели своим аппаратом самообладания, пытались не видеть, не слышать и не думать — что было тоже весьма непросто, ибо позор был слишком явным и общим. Тот, кто находил свое имущество и своих родственников, старался как можно скорее и как можно незаметнее исчезнуть. К обеду площадь выглядела, словно начисто выметенная.

Горожане вышли из домов, если вообще вышли, лишь к вечеру, чтобы сделать самые необходимые покупки. Знакомые приветствовали друг друга при встрече лишь мимоходом и говорили лишь о самом безобидном. О событиях предыдущего дня и прошедшей ночи никто не проронил ни слова. Такими беззаботными и свежими были они вчера, и такими стыдливыми сегодня. И такими были все, ибо все чувствовали свои грехи. Такого взаимопонимания между жителями Граса еще никогда не было. Всем казалось, что они живут, словно в вате.

Конечно же кое-кому в силу занимаемых должностей пришлось напрямую заниматься тем, что произошло. Непрерывность общественной жизни, нерушимость законов и порядков требовали принятия быстрых мер. Уже во

второй половине дня заседал городской совет. Господа, а среди них и Второй Консул, молча обнялись, словно этим жестом по новой подтверждали действенность этого высшего органа. Затем было решено *апа аніта* и без того, чтобы *имевшие место события или даже имя Гренуя были вообще упомянуты*, «трибуну и эшафот на площади у заставы Дю-Кур немедленно снести и привести в надлежащий порядок площадь и окрестные вытоптанные поля». На эти цели было выделено сто шестьдесят ливров.

В это же время заседал суд. Магистрат безоговорочно пришел к согласию, рассматривать «дело Г.» как законченное, дело закрыть, отправить в архив без регистрации и открыть новое дело против неизвестного доселе убийцы двадцати пяти девушек в окрестностях Граса. Полицейскому лейтенанту был передан приказ незамедлительно возобновить расследование.

Уже на следующий день его нашли. На основании бесспорных подозрений был арестован Доминик Дрюо, метр парфюмер с улицы Де-ла-Лув, в хлеву которого, в конце концов, и были найдены платья и волосы всех жертв. В его лживости от начала до конца судьи ничуть не сомневались. После четырнадцатичасовых пыток он полностью признался во всем и попросил более скорой казни, которая была ему обеспечена уже на следующий день. Его повесили на рассвете, без большого стечения народа, без эшафота и трибун, в присутствии лишь палача, нескольких членов магистрата, врача и священника. После того как смерть наступила, труп был немедленно освидетельствован и запротокколирован, после чего немедленно захоронен. На этом дело было закрыто.

Город и без этого все уже забыл, причем настолько крепко, что путники, приезжавшие в последующие дни и между прочим задававшие вопрос о убийце девушек из Грасе, не могли найти ни одного толкового человека, который мог бы дать им хоть какую-нибудь информацию.

АРОМАТ

Лишь несколько дураков из богадельни, официально признанных душевнобольных, лепетали еще что-то по поводу большого праздника на площади Дю-Кур, из-за которого им пришлось тогда покинуть свои палаты.

И через некоторое время жизнь полностью нормализовалась. Люди прилежно работали, и хорошо спали, и занимались своими делами, и вели себя так, как нужно. Вода, как и прежде, журчала из многочисленных родников и источников и несла по улицам грязь. Город снова стоял криво и гордо, прижавшись к холмам над плодородной долиной. Солнце посылало свое тепло. Вскоре наступил май. Пришла пора сбора роз.

часть четвертая

51

Гренуй шел по ночам. Как и в начале путешествия, он избегал городов, обходил большие дороги, с наступлением дня ложился спать, вечером вставал и шел дальше. Он жрал то, что находил по дороге: травы, грибы, цветы, мертвых птиц, червей. Он прошел по Провансу, переправился в украденной лодке через Рону южнее Оранжа, двинулся по течению Ардеши до самого низа, до Севенны, а далее к Аллье на север.

В Оверни он подошел к Плон-дю-Канталь. Он увидел его с западной стороны, большой и серебристо-серый под лунным светом, и он хватал носом прохладный ветер, доносящийся с той стороны. Но тяги подойти поближе у него не было. У него не было больше желания снова начинать пещерную жизнь. Этот опыт он уже приобрел, и он зарекомендовал себя нежизнеспособным. Точно также, как и другой опыт, жизнь среди людей. Задыхался он и там, и там. Он вообще не хотел больше жить. Он хотел отправиться в Париж и умереть. Именно этого он желал.

Время от времени он опускал руку в карман и сжимал стеклянный флакон со своими духами. Бутылочка была еще почти полной. Для выступления в Грасе он использовал всего лишь капельку. Остатка хватит на то, чтобы очаровать весь мир. Если бы он захотел, то в Париже мог бы заставить ликовать не десять тысяч, а сотни тысяч;

или отправиться в Версаль, чтобы заставить там короля целовать его ноги; отправить Папе надушенное письмо и представить себя новым Мессией; в Нотр-Дам перед королями и императорами помазать себя на главного императора, и даже стать Богом на земле — если конечно помазания на Бога вообще совершаются...

Все это он мог сделать, стоило ему только захотеть. У него для этого было достаточно власти. Власть, которая была сильнее, чем власть денег, или власть террора, или власть смерти: непреодолимая власть внушать людям любовь. Лишь одно было не под силу этой власти: она не могла дать ему запах. И пусть он мог предстать перед миром при помощи своих духов в облике Бога — но если он не мог сам учуять своего запаха и поэтому никто не знал, кто он есть на самом деле, то он плевал на все это, на этот мир, на себя самого и на свои духи.

Рука, которая сжимала флакон, пахла очень нежно, и когда он подносил ее к носу и втягивал воздух, ему становилось тоскливо, и он на несколько секунд останавливался и приклонивался. Никто не знает, как прекрасны эти духи на самом деле, думал он. Никто не знает, как хорошо они *сделаны*. Все лишь подвержены их действию, да они даже не знают, что это духи, которые на них действуют и их очаровывают. Единственный, кто когда-либо узнал их в их полной красоте, это я, потому что я сам их создал. И кроме того я единственный, которого они не способны очаровать. Я единственный, для кого это бессмысленно.

А в другой раз, уже в Бургундии, он подумал: когда я стоял возле стены, под садом, в котором играла рыжеволосая девочка, и ее аромат доносился до меня... или даже скорее намек на ее аромат, ибо более позднего ее запаха тогда еще просто не существовало — возможно то, что я почувствовал тогда, было подобно тому, что воспринимали люди на площади, когда я заполнил их моими духами?.. Но затем мысль его изменилась: нет, это было чем-то другим.

Потому что ведь я знал, что я желаю аромат, а не девушку. А люди, они думали, что жаждут *меня*, а чего они жаждали на самом деле, так и осталось для них тайной.

А потом он вообще перестал о чем-либо думать, ибо умственные размышления не были его сильной стороной, а он был уже в Орлеане.

Неподалеку от Сюлли он переправился через Луару. На следующий день его нос учуял запах Парижа. 25 июня 1767 года он вошел в город, ранним утром, в шесть часов по улице Сен-Жак.

День обещал быть жарким, самым жарким днем из всех предыдущих этим летом. Тысячегранные запахи и вонь струилась, словно из тысяч лопнувших гнойников. Ни малейшее дуновение их не тревожило. Овощи на лотках завяли еще до того, как наступил полдень. Мясо и рыба запахла тухлятиной. В переулках стоял чумной дух. Даже река, казалось, уже не текла, а лишь стояла и воняла. Все было так, как в день, когда родился Гренуй.

Он перешел по Новому мосту на правый берег и дальше к павильонам и Кладбищу Невинных. В арках склепов, тянувшихся вдоль улицы О-Фер, он устроился на отдых. Территория кладбища простиралась перед ним, словно ужасающее поле боя, беспорядочное, изборожденное, испещренное могилами, переполненное черепами и костями, без единого дерева, куста или клочка травы — отвалы смерти.

Не было видно ни единого живого человека. Трупный запах был таким тяжелым, что даже гробокопатели сочли за лучшее удалиться. Они появились снова лишь после захода солнца, чтобы при свете факелов до самой ночи копать могилы для умерших на следующий день.

Лишь после полуночи — гробокопатели уже ушли, — территория оживилась всевозможным отребьем: ворами, убийцами, грабителями, шлюхами, дезертирами, малолетними бандитами. Был разведен небольшой костер, для варки пищи и для того, чтобы уменьшить вонь.

Когда Гренуй вышел из аркады и смешался с этими людьми, они его поначалу совершенно не заметили. Он мог, не бросаясь в глаза, подойти к костру, как один из них. Это усилило позже их мнение, что он был либо духом, либо ангелом, либо еще чем-то сверхъестественным. Ибо обычно они сверхчувствительно реагировали на приближение чужака.

Но маленький человек в голубом платье вдруг просто оказался здесь, как будто вырос из земли, с маленькой бутылочкой в руке, которую он откупорил. Это было первым, о чем вспомнили все: что один человек встал и откупорил бутылочку. И затем он стал обрызгивать себя содержимым бутылочки и моментально наполнился красотой, словно сверкающий огонь.

На мгновение они отпрянули из-за благоговения и величайшего удивления. Но в тот же момент они уже чувствовали, что отпрянули они не только из-за простой реакции, что их благоговение превращается в вожделение, а удивление — в восхищение. Они чувствовали, что их влечет к этому ангелу в человеческой плоти. Словно дикая помпа откачивала от него воздух, словно ревущий отлив, которому не мог противостоять ни один человек, тем более, что ни один человек и не хотел ему противостоять, ибо отлив этот и был волей, которую он подмывал и нес в своем направлении: к нему.

Они окружили его, двадцать, тридцать человек и сжимали этот круг все уже и уже. Вскоре круг уже не вмещал всех их, они стали толкаться, пробиваться, крутиться, каждый хотел оказаться ближе всех к центру.

И тогда вдруг рухнули все препятствия и вместе с ними сам круг. Они ринулись на ангела, навалились на него, сбили его на землю. Каждый хотел дотронуться до него, каждый хотел взять от него частичку, перышко, крылышко, маленькую искорку его чудотворного огня. Они рвали его платья, волосы, кожу с тела, они рвали его на

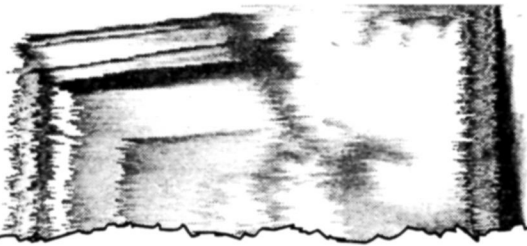
ПАТРИК ЗЮСКИНД

кусочки, они впивались ногтями и зубами в его тело, вились вокруг него, словно гиены.

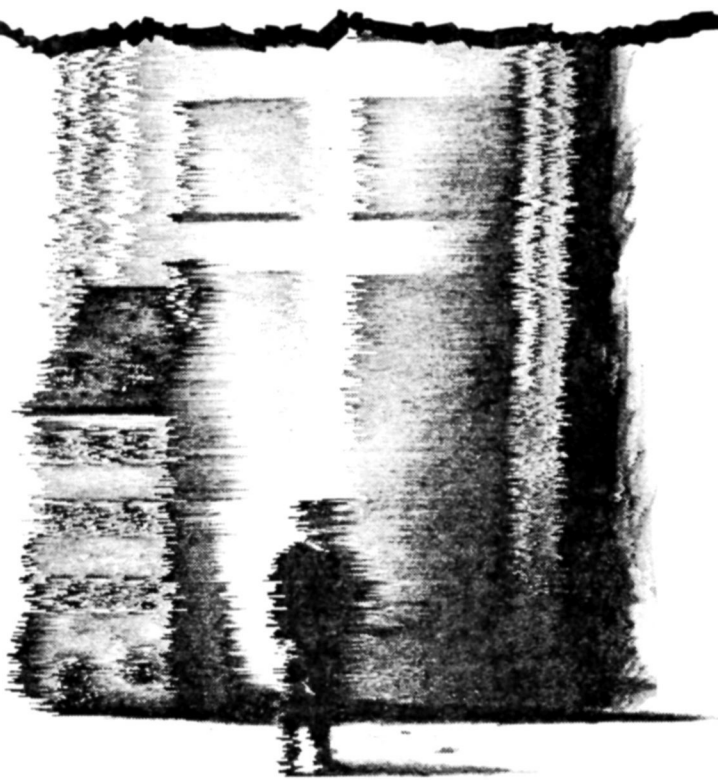
Но такое человеческое тело вещь жесткая, и его нельзя просто так разорвать, даже лошадям удается сделать это с трудом. И вот вскоре уже блеснули кинжалы, и вонзились, и принялись кромсать, и топоры и боевые ножи со свистом обрушились на суставы, с треском разрубали кости. За короткое время ангел был расчленен на тридцать частей, и каждый член шайки сцапал себе кусок, отбегал в жадном предвкушении назад и пожирал его. Получасом позже Жан-Батист Гренуй до последнего кусочка исчез с лица земли.

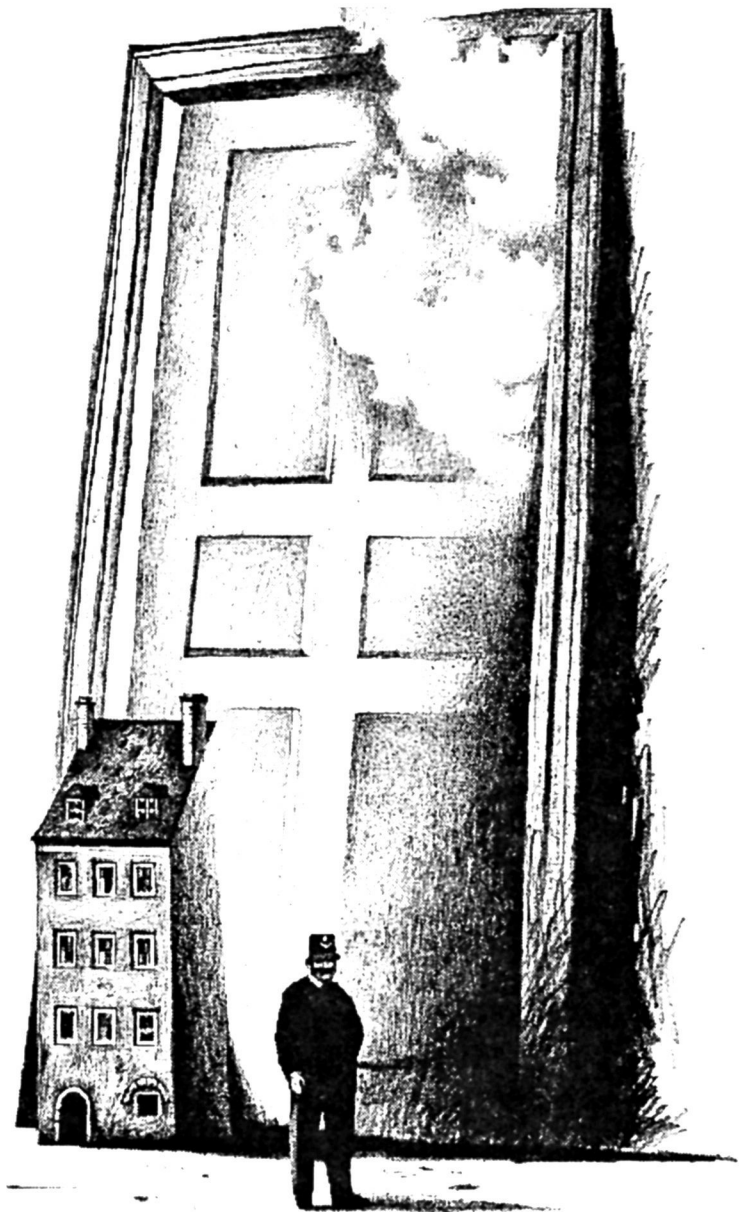
Когда каннибалы после состоявшегося пиршества снова собрались у огня, никто не произнес ни слова. То один, то другой слегка отрывивал, выплевывал косточку, тихонько пощелкивал языком, сталкивал ногой в огонь оставшийся клочок синего платья: все они были несколько смущены и не решались посмотреть друг на друга. Убийства или другие отвратительные преступления все они, будь то мужчина или женщина, уже свершали. Но сожрать человека? На такой ужасный поступок, думали они, они никогда и ни за что способны не были. И они сами себе удивлялись, как легко это им удалось, и что они при всем смущении не испытывали ни малейшего угрызания совести. Наоборот! У них на сердце, если не считать некоторой тяжести в животах, было исключительно легко. На их мрачных душах вдруг стало приятно и весело. И на их лицах появился нежный девичий румянец — от счастья. Отсюда же, наверное, и боязнь поднять взгляд и посмотреть друг другу в глаза.

Когда они наконец осмелились, сначала исподтишка, а затем уже открыто, они не смогли не рассмеяться. Они были чрезвычайно горды. Они впервые совершили что-то из чувства любви.



Голубь





Когда произошла эта история с голубем, перевернувшая вверх дном его однообразную жизнь, Джонатану Ноэлю было уже за пятьдесят. Он, оглядываясь назад на абсолютно бессобытийные двадцать лет своей жизни, не мог себе даже представить, что с ним вообще может произойти что-либо существенное, разве что только смерть. И это более чем устраивало его. Ибо не хотел он никаких событий и ненавидел те из них, которые нарушали внутреннее равновесие и ломали внешний уклад жизни.

К счастью, большинство из событий такого рода были в далеком прошлом серых лет его детства и юности, он предпочитал не вспоминать о тех временах, а если приходилось, то это вызывало глубоко неприятные ощущения: о том, хотя бы, летнем дне июля 1942 года в Шарантоне, когда он возвращался с рыбалки домой – в тот день после длительной жары была гроза, а затем шел дождь, по дороге домой он снял обувь, вышагивал голыми ногами по теплomu мокрому асфальту, шлепал по воде, неописуемое удовольствие... – итак, он пришел с рыбалки домой и забежал на кухню, ожидая увидеть у плиты мать. Но матери там не было, был только ее фартук, который висел на спинке стула. Отец сказал, что мать уехала, что ей пришлось уехать надолго. Ее забрали, так говорили соседи, вначале она была доставлена в Велодром д'Ивер, а затем

переведена в лагерь под Дранси, из которого отправляют на восток, а оттуда уже никто не возвращается. Джонатан не понимал, что же произошло, но происшедшее повергло его в полное замешательство, а потом, пару дней спустя, исчез и отец. Джонатан и его младшая сестренка внезапно оказались в поезде, идущем на юг. Ночью совершенно незнакомые мужчины вели их через луга, затем тащили по перелеску, снова сажали в поезд, идущий на юг, далеко, непредставимо далеко, и дядя, которого они до этого еще ни разу не видели, встретил их в Кавайоне, отвез на свой крестьянский двор вблизи селения Пюже в долине Дюранс и прятал их там до конца войны. Затем они начали работать на овощном поле.

В начале пятидесятых — а Джонатан как раз начал находить удовольствие в существовании сельскохозяйственного рабочего — дядя потребовал от него записаться на военную службу, и Джонатан послушно заключил контракт на три года. В течение первого года единственное, чем он занимался, было привыкание к весомым неприятностям казарменной жизни в окружении всякого сброда. На втором году службы его отправили в Индокитай. Ну а большую часть третьего года своей службы Джонатан провел в лазарете с огнестрельным ранением в ногу и амёбной дизентерией. Когда весной 1954 года он вернулся в Пюже, сестры там уже не было, все считали, что она уехала в Канаду. На этот раз дядя потребовал, чтобы Джонатан немедленно связал себя узами брака, и ни с кем иным, а с девушкой по имени Мари Бакуш из соседнего местечка Лори. И Джонатан, который эту девушку еще ни разу не видел, послушно согласился сделать то, что велели, он пошел на это даже с охотой, ибо, имея самое туманное представление о браке, он лелеял надежду найти в нем то состояние монотонного покоя и отсутствия событий, которого он единственно жаждал. Но уже через четы-

ре месяца Мари родила мальчика и той же осенью сбежала с тунисским торговцем овощами из Марселя.

Из всех этих перипетий Джонатан Ноэль сделал вывод, что на людей положиться нельзя и что жить можно только тогда, когда ни с кем не сходишься близко. А поскольку он, помимо прочего, стал еще и посмешищем для всей деревни, — его беспокоил, впрочем, не сам факт насмешек, а внимание людей, — то это вынудило его первый раз в своей жизни принять самостоятельное решение: он пошел в банк «Креди Агриколь», снял свои сбережения, уложил чемодан и отправился в Париж.

Там ему дважды крупно повезло. Он нашел работу охранника в одном банке на Рю де Севр и ему удалось найти жилище, так называемую «комнату для прислуги» на шестом этаже одного из домов на Рю де ля Планш. К комнате можно было пройти через внутренний двор, узкую лестницу хозяйственного входа и неширокий, слабо освещенный одним окном коридор. Пара дюжин комнат с серыми пронумерованными дверями выходила в этот коридор, в самом конце коридора была дверь с номером 24, это и была комната Джонатана. Три метра сорок в длину, два метра двадцать в ширину и два метра пятьдесят в высоту, комната располагала кроватью, столом, стулом, лампочкой и крючком для одежды, этим комфорт и ограничивался. Лишь в шестидесятых электропроводка была усилена таким образом, что можно было подключать электроплитку и электрокамин, была проведена вода и комнату оснастили отдельным умывальником и бойлером. А до того все жильцы чердачного этажа, если они не пользовались запрещенными спиртовками, ели всухомятку, спали в холодных комнатах, стирали свои носки, мыли пару своих тарелок и себя самих холодной водой в единственной раковине в коридоре, как раз рядом с дверью в общий туалет. Но Джонатану все это не мешало. Он искал не

удобств, он стремился к надежному убежищу, которое бы принадлежало ему и только ему, которое защитило бы его от неприятных неожиданностей жизни и из которого его уже никто и никогда не смог бы прогнать. И, войдя в первый раз в комнату под номером 24, он сразу же понял: это то, к чему он, собственно говоря, всегда стремился, и здесь ему суждено остаться. (Точно так, как это будто бы происходит с некоторыми мужчинами, которые влюбляются с первого взгляда, когда они мгновенно осознают, что женщина, которую они видят впервые, есть женщина всей жизни, и они обладают ею и остаются с ней до конца своих дней.)

Джонатан Ноэль снимал эту комнату за пять тысяч старых франков в месяц, каждое утро ходил оттуда на близлежащую Рю де Севр на работу, вечером возвращался с хлебом, колбасой, яблоками и сыром, ел, спал и был счастлив. В воскресенье он вообще не выходил из своей комнаты, а делал уборку и застилал свою кровать свежими простынями. Так он и жил в покое и согласии из года в год, десятилетие за десятилетием.

С течением времени некоторые внешние вещи менялись, тот же размер платы за комнату или соседи по коридору. В пятидесятые годы в других комнатах жили еще много молоденьких служанок, а также молодые супружеские пары и некоторые пенсионеры. Позже можно было часто увидеть, как заезжают и выезжают испанцы, португальцы и североафриканцы. С конца шестидесятых большинство стали составлять студенты. В конечном итоге стали сдаваться не все из двадцати четырех комнат. Многие пустовали или служили своим владельцам, которые проживали в хозяйских покоях на нижних этажах, в качестве кладовок или использовались лишь периодически как гостиничные номера. Комната 24, в которой жил Джонатан, с годами превратилась в сравнительно ком-

фортабельное жилище. Он купил себе новую кровать, установил шкаф, покрыл семь с половиной квадратных метров пола серым ковром, оклеил свой кухонный и моечный уголок красивыми моющимися обоями красного цвета. У него был радиоприемник, телевизор и уют. Свои продукты питания он больше не вывешивал, как раньше, в мешочке за окно, а хранил их в крошечном холодильнике под моечной раковиной, так что даже в самое жаркое лето масло у него больше уже не таяло, а ветчина не засыхала. У изголовья кровати он пристроил полку, на которой стояло не менее семнадцати книг, в том числе трехтомный медицинский словарь карманного формата, красиво иллюстрированные томики о кроманьонцах, технике литья бронзового века, древних египтянах, этрусках и французской революции, книга о парусных судах, одна книга о флагах, еще одна — о животном мире тропиков, два тома Александра Дюма-старшего, мемуары Сен-Симона, поваренная книга о приготовлении густых супов, заменяющих первое и второе блюда, «Малый Лярусс» и «Памятка для охранников», в которой особое внимание уделялось правовой регламентации применения служебного оружия. Под кроватью хранилась дюжина бутылок красного вина, в том числе бутылочка «Шато Шваль Блан», которую он хранил на день своего выхода на пенсию в 1998 году. Придуманная им система электрического освещения давала Джонатану возможность сидеть в трех различных местах своей комнаты, а именно — у изголовья или в ногах своей кровати, а также за своим столиком, и читать газету, свет при этом не ослеплял и на газету не падала тень.

Из-за такого количества приобретений комната, конечно, уменьшилась еще больше, она обросла изнутри подобно раковине, покрывающейся слишком толстым слоем перламутра, и стала, благодаря своему разнообразному

изошренному оснащению, больше похожа на каюту корабля или на оборудованное по высшему классу купе спального вагона, чем на простую «комнату для прислуги». И на протяжении более тридцати лет она сохранила одно важное свойство: она была и оставалась для Джонатана надежным островом в ненадежном мире, она оставалась его твердой опорой, его убежищем, его возлюбленной, да, его возлюбленной, потому что его маленькая комнатка нежно обнимала его, когда он вечером возвращался домой, она грела и защищала его, она питала его душу и тело, была всегда там, где он нуждался в ней, и она не бросала его. Она действительно была тем единственным, что показало себя в его жизни надежным. Поэтому никогда ни на мгновение его не посещала мысль о том, чтобы расстаться с ней, даже теперь, когда ему было уже за пятьдесят и становилось иногда трудновато подниматься к ней, преодолевая столько ступенек, и когда его зарплата могла бы позволить ему снимать настоящую квартиру с собственной кухней, отдельным туалетом и ванной. Он сохранил верность своей возлюбленной и даже намеревался еще теснее привязать себя к ней, а ее — к себе. Купив ее, он стремился сделать свою связь с ней нерасторжимой навеки. Он уже подписал соответствующий договор с владелицей — мадам Лассаль. Стоимость комнаты была определена в пятьдесят пять тысяч новых франков. Сорок семь тысяч он уже уплатил. Оставшиеся восемь тысяч подлежали уплате в конце года. А после этого она будет окончательно его, и ничто на свете не сможет их разлучить, его, Джонатана, и его любимую комнату, до тех пор, пока их не разлучит смерть.

Именно таким было положение дел в пятницу утром августа 1984 года, когда произошла вся эта история с голубем.

Джонатан только что встал. Он одел тапочки и домашний халат, чтобы, как и каждое утро перед бритьем, сходить в общий туалет. Перед тем как открыть дверь, он приложил ухо к дверному полотну и прислушался, нет ли кого-нибудь в коридоре. Он не любил встречаться с соседями, особенно утром в пижаме и домашнем халате, а уж тем более — по дороге в туалет. Для него было бы достаточно неприятно обнаружить туалет занятым; мучительно ужасным для него было даже представить, что он встретит кого-нибудь из соседей *перед* туалетом. С ним это случилось один единственный раз, летом 1959 года, двадцать пять лет тому назад, и его охватывала дрожь при одном воспоминании об этом: одновременный испуг при виде другого, одновременная потеря скрытности намерения, в чем оно так нуждается, одновременное топтание и снова попытка подойти, одновременно вымучиваемые любезности, прошу, после Вас, о нет, после Вас, мосье, я во все не спешу, нет-нет, вначале Вы, я настаиваю — и это все в пижаме! Нет, он не хотел бы пережить подобное еще раз, и подобное с ним больше никогда и не случилось — благодаря его профилактическому подслушиванию. Прислушиваясь, он выглянул из двери в коридор. Ему был известен каждый звук на этаже. Он мог бы объяснить каждый треск, каждый щелчок, каждый тихий всплеск или шорох, да даже саму тишину. И сейчас, приложив ухо к двери всего лишь на пару секунд, он знал наверняка, что в коридоре нет ни одной живой души, что туалет свободен и что все еще спит. Левой рукой он повернул ручку автоматического замка с секретом, правой — ручку защелкивающегося замка, язычок замка отошел назад, он легонько толкнул дверь, и она приоткрылась.

Он уже почти что переступил через порог, он уже поднял ступню, левую, его нога уже вознамерилась сделать шаг — когда он увидел его. Тот сидел перед его

дверью, не далее чем в двадцати сантиметрах от порога, в слабом отблеске утреннего света, проникающего через окно. Своими красными когтистыми лапками он расположился на нелепо кровавом кафеле коридора, с бледно-серым гладким оперением: голубь.

Он наклонил голову в сторону и уставился на Джонатана своим левым глазом. В глаз этот, маленькую, округлую шайбочку коричневого цвета с черной точкой посередине, было страшно смотреть. Он выглядел словно пришитая на оперенье головки пуговица, без ресниц, без бровей, абсолютно голая, вывернутая наружу безо всякого стыда и до жуткого откровенно; одновременно в этом глазу светилось какое-то скрытое лукавство; и в то же время казалось, что он ни откровенен, ни лукав, а просто на просто — неживой, словно объектив камеры, вбирающий в себя весь внешний свет и не выпускающий обратно изнутри ни единого луча. В этом глазу не было ни блеска, ни отблеска, ни даже намек на то, что он живой. Это был глаз без взгляда. И вот он уставился на Джонатана.

Последний был до смерти напуган — так наверняка описал бы он этот момент впоследствии, но это было не так, ибо испуг пришел позже. Намного вернее было то, что он был до смерти удивлен.

На протяжении, вероятно, пяти, а может быть десяти секунд — ему самому все это казалось вечностью — стоял он словно замороженный на пороге собственной двери, положив руку на ручку замка и приподняв ступню для шага, и не мог двинуться ни вперед, ни назад. Затем произошло небольшое шевеление. Переступил ли голубь с одной ножки на другую, или же он просто немножко встопорщил свои перья — в любом случае по его телу пробежала волна шевеления и одновременно над его глазом хлопнулись два века, одно снизу, другое сверху, собственно говоря — не веки это были в правильном понимании, а

скорее какие-то резинообразные заслонки, которые проглотили глаз, словно возникшие из ниоткуда губы. На какое-то мгновение глаз исчез. И только теперь Джонатана охватил страх, только теперь его волосы встали дыбом от ничем не прикрытого ужаса. И прежде чем голубь снова открыл свой глаз, Джонатан одним рывком запрыгнул обратно в комнату и захлопнул дверь. Он повернул ручку автоматического замка с секретом, сделал шатаясь три шага к кровати, сел, дрожа всем телом, сердце его колотилось в диком ритме. Лоб был ледяной, но он ощутил, как по затылку, вдоль позвоночника струится пот.

Первой его мыслью было, что теперь его хватит инфаркт или апоплексический удар, или, по крайней мере, сосудистый коллапс. Ты как раз в подходящем для всего этого возрасте, подумал он, после пятидесяти достаточно малейшего повода для такой неприятности. Боком он упал на кровать, натянул на свои бьющиеся в ознобе плечи одеяло и стал ожидать спастических болей, ощущения покалывания в груди и между лопатками (в своем карманном справочнике он как-то читал, что это несомненные симптомы приближающегося инфаркта) или медленного угасания сознания. Но ничего подобного не происходило. Биение сердца успокоилось, кровообращение в голове и конечностях снова нормализовалось, типичные для апоплексического удара явления паралича не возникали. Джонатану удалось пошевелить пальцами рук и ног, скорчить на лице гримасы, признак того, что органически и неврологически все в какой-то мере было в порядке.

Вместо этого в его мозгу роилась беспорядочная масса абсолютно несогласованных между собой страшных мыслей, словно стая черного воронья, она кричала и порхала в его голове, «тебе конец!» — каркала она, «ты стар и тебе конец, ты до смерти испугался голубя, голубь загнал тебя обратно в твою комнату, свалил тебя, держит тебя

под стражей. Ты умрешь, Джонатан, ты умрешь, если не сейчас, то — скоро, и жизнь твоя была фальшивой, ты прожил ее бесполезно, потому что поколебать ее может даже какой-то голубь, тебе нужно убить его, но ты не сможешь его убить, ты не можешь убить даже муху, да нет же, муху — можешь, вот именно — муху, или комара, или маленького жучка, но — никогда это теплокровное существо, такое, весящее около фунта, теплокровное создание, как голубь, ты скорее застрелишь человека: пиф-паф — это быстро, в результате этого — только маленькая дырочка, восемь миллиметров в диаметре, это чистая работа и это разрешено, разрешено в случае самообороны, параграф первый «Служебной инструкции для вооруженных охранников», это даже предлагается, и ни один человек не упрекнет тебя, если ты застрелишь человека, наоборот, но голубя?, как расстреливают голубя?, он, голубь, порхает, легко промазать, это хулиганство, стрелять в голубя, это запрещено, это ведет к изъятию служебного оружия, потере рабочего места, тебя посадят в тюрьму, если ты будешь стрелять в голубя, нет, ты не можешь его убить, но жить, жить с ним ты тоже не можешь, никогда, в доме, где обитает голубь, человек жить больше не может, голубь — воплощение хаоса и анархии, голубь — это не поддающееся осмыслению мельтешение вокруг, это цепляние когтями и выклевание глаз, голубь — это постоянная грязь и распространение ужасных бактерий и вируса менингита, он не будет жить один, этот голубь, он привлечет других голубей, они будут спариваться и размножаться, потрясающе быстро, ты будешь обложен полчищем голубей, ты не сможешь больше выходить из своей комнаты, умрешь от голода, задохнешься в своих экскрементах, тебе придется выброситься из окна и лежать разбитым на тротуаре, нет, ты слишком труслив, ты останешься в своей закрытой комнате и будешь вопить о помощи, ты будешь звать по-

жарных, чтобы приехали с лестницами и спасли тебя от голубя, от голубя!, ты станешь посмешищем для дома, посмешищем для всего квартала. «Смотрите, мосье Ноэль! — будут кричать и показывать на тебя пальцем.— Смотрите, мосье Ноэля спасали от голубя!» И тебя отправят в психиатрическую клинику: о, Джонатан, Джонатан, твое положение безнадежно, ты пропал, Джонатан!»

Так кричало и каркало у него в голове, и Джонатан пребывал в таком смятении и отчаянии, что он сделал кое-что из того, что никогда не делал с детских лет, в своем горе он сложил руки в молитве и начал молиться. «Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил? Почему я так наказан тобой? Отче наш сущий на небесах, спаси меня от этого голубя, аминь!» Это была, как мы видим, не совсем обычная молитва, это был скорее слепленный из обломков воспоминаний его рудиментарного религиозного воспитания лепет, выдавливаемый из себя. И все-таки он помог, потому что потребовал от него определенную степень душевной концентрации и разогнал сумбур в его мыслях. Кое-что помогло ему еще сильнее. Едва успев дочитать до конца свою молитву, он ощутил такой настоятельный позыв пописать, что понял, что он может обдуть свою кровать, на которой лежал, симпатичный пуховый матрац или даже красивый серый ковер, если ему не удастся в течение ближайших секунд облегчиться как-нибудь по-другому. Это полностью привело его в чувство. Постановившая он встал, бросил на дверь взгляд, полный отчаяния...— нет, он не может пойти в эту дверь, даже если эта чертова птица улетела, до туалета ему уже не дотянуть — подошел к умывальнику, распахнул жалат, сдернул пижамные штаны вниз, открыл воду и пописал в раковину.

Такое он делал первый раз. Ужас охватывал при одной только мысли о том, что можно так запросто пописать в красивый, белый, отдраенный до блеска умывальник, предназначенный для мытья посуды и умывания! Он бы

никогда не поверил, что может пасть так низко, что физически вообще окажется в состоянии совершить такое святотатство. А теперь, когда он видел, как свободно и безо всякой задержки лилась его моча, смешивалась с водой и с бурлением уходила в сливное отверстие, и когда он ощутил чудное ослабление напряжения в нижней части живота, одновременно с этим из его глаз хлынули слезы, так стыдно ему было. Закончив писать, он на какое-то время оставил воду открытой, и затем, чтобы устранить даже малейшие следы совершенного злодеяния, тщательнейшим образом вычистил раковину жидким моющим средством. «Один раз не в счет, — бормотал он себе под нос, словно извиняясь перед умывальником, перед комнатой да и перед самим собой, — один раз не в счет, это было разовое затруднительное положение, такое больше никогда не повторится...»

Теперь он немного успокоился. Вытирание, убирание на место бутылки с моющим веществом, отжимание тряпки — часто проделываемые операции, в которых находишь утешение, — вернули его мысли снова в прагматическое русло. Он посмотрел на часы. Было как раз четверть восьмого. Обычно к четверти восьмого он бывал уже побрит и завершал уборку своей кровати. Но отставание от обычного режима не было таким уж большим, и, при необходимости, его можно было бы ликвидировать, отказавшись от завтрака. Отказавшись от завтрака, подсчитал он, удалось бы даже опередить обычный временной график на семь минут. Определяющим было то, что он должен был выйти из своей комнаты не позже пяти минут девятого, потому что в четверть девятого ему необходимо было быть уже в банке. Хотя он еще и не знал, как уладить все это, у него все-таки еще было в запасе три четверти часа. А это много. Если только что он смотрел смерти в глаза и едва избежал инфаркта, то три четверти часа — это много времени. Это время вдвойне, если боль-

ше не находишься под настоятельной необходимостью опорожнить свой переполненный мочевой пузырь. И он решил, во-первых, вести себя так, словно ничего не случилось, и продолжать заниматься своими обычными утренними делами. Он открыл над умывальником горячую воду и побрился.

Во время бритья он основательно размышлял. «Джонатан Ноэль,— сказал он себе,— в течение двух лет ты был солдатом в Индокитае и справлялся там со многими затруднительными ситуациями. Если ты соберешь все свое мужество и сосредоточишься, если ты соответственно подготовишься и если тебе повезет, то ты все-таки должен прорваться из этой комнаты. Но если ты даже прорвешься, то что дальше? Что, если ты действительно проскользнешь мимо этого ужасного животного перед дверью, невредимым достигнешь лестничной клетки и окажешься в безопасности? Ты сможешь пойти на работу, целым и благополучным ты сможешь пережить этот день, но что ты будешь делать потом? Куда ты пойдешь сегодня вечером? Где проведешь ночь?» Потому что для него было абсолютно очевидно, что, убежав от голубя однажды, у него нет ни малейшего желания встречаться с ним во второй раз, что он ни при каких обстоятельствах не сможет жить с этим голубем под одной крышей, ни единого дня, ни единой ночи, ни часа. Следовательно, ему нужно быть готовым к тому, что эту ночь, а может и последующие ночи он проведет в каком-нибудь пансионе. А это означает, что бритвенный прибор, зубную щетку и сменное белье ему придется взять с собой. Далее ему понадобится его чековая книжка, а для верности еще и сберегательная книжка. На жиросчете у него было тысяча двести франков. Этого должно хватить на две недели при условии, что он найдет дешевую гостиницу. Если голубь и тогда будет продолжать блокировать его комнату, ему придется залезть в свои сбережения. На сберегательном счете лежали

шесть тысяч франков, куча денег. На них он сможет жить в гостинице месяц. К тому же он получает еще и свое жалование, три тысячи семьсот франков в месяц чистыми. С другой стороны, в конце года мадам Лассаль необходимо уплатить восемь тысяч франков последнего взноса за комнату. За его комнату. За эту комнату, в которой и жить то ему может быть больше не придется. Как объяснить мадам Лассаль свою просьбу об отсрочке последнего взноса? Вряд ли он сможет ей сказать: «Мадам, я не могу заплатить Вам последний взнос в размере восьми тысяч франков, потому что вот уже несколько месяцев я живу в гостинице из-за того, что комнату, которую я хочу у Вас купить, заблокировал голубь». Вряд ли он сможет такое сказать... Тут он вспомнил, что у него есть еще пять золотых монет, пять наполеондоров, каждый из которых стоит целых шестьсот франков, он приобрел их, опасаясь инфляции, в 1958 году, во время войны в Алжире. Ни в коем случае не забыть бы взять с собой эти пять наполеондоров... Кроме того у него был узенький золотой браслет его матери. И транзисторный приемник. И аристократическая, покрытая серебром шариковая ручка, какие к Рождеству получили все служащие банка. Продав все эти сокровища, он смог бы, при максимальной экономности, жить в гостинице до конца года и уплатить все-таки мадам Лассаль эти восемь тысяч франков. А с первого января ситуация вполне может измениться к лучшему, он станет уже владельцем комнаты и ему не придется больше платить за ее поднаем. К тому же голубь может и не пережить зиму. Как долго живут голуби? Два года, три, десять? А может этот голубь уже старый? Может через неделю он умрет? Может уже сегодня. Может он вообще приковылял сюда умирать...

Он закончил бриться, спустил воду из раковины, ополоснул ее, снова налил воды, обмылся до пояса и помыл ноги, почистил зубы, снова спустил воду из раковины и

дочиста вытер ее тряпочкой. Затем он убрал свою кровать.

Под шкафом у него стоял чемодан из прессованного картона, в котором он хранил свое грязное белье, прежде чем отнести его в прачечную, что он делал раз в месяц. Он вытащил чемодан, вытряхнул его содержимое и поставил на кровать. Это был тот самый чемодан, с которым он в 1942 году переехал из Шарантона в Кавайон, тот самый, с которым он в 1954 году приехал в Париж. И когда он увидел стоящим на кровати этот старый чемодан и начал укладывать в него не грязное, а свежее белье, пару полуботинок, туалетный набор, чековую книжку и драгоценности, как будто он собирался в дорогу, слезы снова хлынули у него из глаз, на этот раз не от стыда, а от глубокого отчаяния. У него было ощущение, словно жизнь отбросила его на тридцать лет назад, словно он потерял тридцать лет своей жизни.

Когда он закончил укладывать чемодан, было без четверти восемь. Он оделся, вначале — привычная форма: серые брюки, голубая рубашка, кожаная куртка, кожаный поясной ремень с кобурой для пистолета, серая служебная фуражка. Затем он приготовился ко встрече с голубем. Наибольшее отвращение он испытывал при мысли о том, что голубь может прикоснуться к нему, клюнуть его в щиколотку, взлетев, коснуться его рук или шеи своими крыльями, или даже сесть на него своими когтистыми лапками. Поэтому он одел не свои легкие полуботинки, а прочные высокие ботинки с подошвой из бараньей шкуры, которые он обычно одевал только в январе или феврале, быстро натянул на себя зимнее пальто, застегнул его на все пуговицы, замотал шею аж под подбородок шерстяным шарфом и защитил руки кожаными перчатками на меху. В правую руку он взял зонтик. Экипировавшись таким образом, без семи восемь он был уже подготовлен к прыжку из своей комнаты.

Он снял служебную фуражку и приложил ухо к двери. Ничего не было слышно. Он снова надел фуражку, сильно натянув ее на лоб, взял чемодан и поставил его рядом с дверью. Чтобы освободить правую руку, он повесил зонтик на запястье правой руки и ухватился ею за ручку двери, а левой — за ручку автоматического замка, оттянул защелку и чуть приоткрыл дверь. Затем приложился одним глазом к щелочке.

Голубя перед дверью больше не было. На кафельной плитке, где он сидел, виднелось только пятно изумрудно-зеленого цвета размером с пятифранковую монетку и крошечная белая пушинка, которая тихонечко дрожала на сквозняке, идущем из приоткрытой двери. От отвращения Джонатана аж передернуло. Охотнее всего он снова хлопнул бы дверь. Его инстинктивная натура стремилась скользнуть обратно, назад в безопасную комнату, прочь от того ужаса, который снаружи. Но затем он увидел, что пятно там не одно, а что там — много пятен. Весь кусок коридора, который он мог охватить взглядом, был покрыт этими изумрудно-зелеными с отблеском влаги пятнами. И тут произошло нечто странное, множество этих мерзостей не только не усилили отвращение Джонатана, а напротив — укрепили его волю к сопротивлению: увидев это единственное пятно и эту единственную пушинку, он, конечно, лучше скользнул бы обратно и запер бы дверь, навсегда. Но то, что голубь, очевидно, загадил весь коридор — это явление он вообще ненавидел — мобилизовало все его мужество. И он открыл дверь полностью.

Теперь он увидел голубя. Тот сидел справа на удалении метра-полтора, забившись в угол в самом конце коридора. Там было так темно, и Джонатан бросил в том направлении только один короткий взгляд, что ему было не разобрать, спит голубь или бодрствует, закрыты его глаза или открыты. Да он и не хотел этого знать. Лучше бы он

его вообще не видел. В книге о тропических животных он как-то прочитал, что некоторые животные, прежде всего орангутанги, только тогда бросаются на людей, когда те смотрят им в глаза; если их проигнорировать, то они остаются в покое. Может это верно и для голубей. Джонатан решил в любом случае действовать так, словно голубя больше нет, или, по крайней мере, больше на него не смотреть.

Он медленно выдвинул чемодан в коридор, очень медленно и осторожно продвинул его между зелеными пятнами. Затем он открыл зонтик, удерживая его левой рукой словно щит перед лицом и грудью, вышел в коридор, продолжая смотреть на пятна на полу, и закрыл за собой дверь. Невзирая на все установки действовать, словно ничего не произошло, его снова охватил страх, сердце колотилось так, будто было готово выскочить из груди, и когда ему не сразу удалось достать пальцами одетой в перчатку руки ключ из кармана, то от нервного напряжения он стал так дрожать, что у него чуть не выскользнул зонтик, и пока он хватался за него правой рукой, чтобы попрочнее зажать его между плечом и щекой, ключ действительно свалился на пол, на волосок от пятна, чтобы поднять его, ему пришлось наклоняться, и прежде чем попасть в отверстие для ключа и повернуть два раза, он, надежно зажав его наконец-то пальцами, от волнения раза три тыкал им и не попадал. В этот момент ему показалось, что он слышит за собой хлопанье крыльев... или он просто зацепился зонтиком за стену?.. Но потом он услышал этот звук снова, однозначно, короткий, сухой хлопок крыльями, и тут его охватила паника. Он выдернул ключ из замка, рванул к себе чемодан и кинулся со всех ног прочь. Раскрытый зонтик царапал стену, чемодан стучал по дверям других комнат, посередине коридора путь преграждали половинки открытого окна, он протиснулся мимо них,

волоча за собой зонтик с такой силой и нерасторопностью, что натянутый материал превратился в клочья, но он не обращал на это внимание, ему было на все наплевать, единственное, к чему он стремился, — прочь, прочь, прочь отсюда.

Лишь достигнув лестничной площадки, он на мгновение остановился, чтобы сложить зонтик, который мешал, и оглянулся назад: яркие лучи утреннего солнца проникали сквозь окно, в сумерках коридора они выделяли резко очерченную полосу света. Через нее почти ничего не было видно, и лишь прищурившись и всмотревшись повнимательнее, Джонатан заметил, как из темного угла в дальнем конце коридора возник голубь, сделал вперед по коридору несколько быстрых раскачивающихся шажков, а затем снова присел, как раз напротив двери его комнаты.

В ужасе он отвернулся и кинулся по лестнице вниз. В этот момент он был уверен, что возвратиться сюда он уже никогда не сможет.

С каждой ступенькой он успокаивался. На лестничной площадке второго этажа его вдруг обожгла мысль, что он все еще одет в зимнее пальто, шарф и ботинки на меховой подкладке. В любой момент из дверей, которые вели из кухонь хозяйских покоев на заднюю лестницу, могла выйти служанка, идущая за покупками, или мосье Риго, выставляющий свои пустые бутылки из-под вина, или, чего доброго, сама мадам Лассаль, по какой бы то ни было причине — она вставала рано, мадам Лассаль, она и сейчас уже встала, по всей лестничной клетке разносился проникающий аромат ее кофе, — ну и мадам Лассаль открыла бы теперь заднюю дверь своей кухни, а перед ней на лестничной площадке стоит он, Джонатан, в своем карикатурном зимнем одеянии при ясном августовском солнышке — от такой неловкой ситуации так просто не от-

делаться, ему придется объясняться, но как?, ему придется что-то соврать, но что? Для его теперешнего появления не существует приемлемого объяснения. Его можно принять только за сумасшедшего. Может он и есть сумасшедший.

Он поставил чемодан, достал из него пару полуботинок и быстро стянул с себя перчатки, пальто, шарф и ботинки; надел полуботинки, уложил в чемодан шарф, перчатки и ботинки, перекинул пальто через руку. Теперь, как казалось ему, его внешность снова ни у кого не будет вызывать недоуменных вопросов. В случае необходимости он всегда может сказать, что несет свое белье в прачечную, а зимнее пальто — в химчистку. С заметным облегчением он продолжил свой спуск по лестнице.

Во внутреннем дворе ему встретилась консьержка, которая как раз завозила с улицы на тележке пустые мусорные баки. Он мгновенно ощутил себя застигнутым врасплох и остановился. Ретироваться в темноту лестничной клетки он не мог, поскольку она его уже увидела, ему пришлось продолжить свой путь.

— Добрый день, мосье Ноэль,— сказала она, когда он проходил мимо нее намеренно бодрым шагом.

— Добрый день, мадам Рокар,— пробормотал он. Больше этого они никогда ничего друг другу не говорили. На протяжении десяти лет — а столько служила она в этом доме — он не сказал ей ни слова больше, чем «добрый день, мадам» и «добрый вечер, мадам» и еще «спасибо, мадам», когда она отдавала ему почту. Не то, чтобы он что-то имел против нее. Она не была неприятным человеком. Она ничем не отличалась от своей предшественницы и от своей предпредшественницы. Она была как все консьержки: неопределенного возраста, где-то между сорока и шестьюдесятью; переваливающаяся, как у всех консьержек, походка, полноватая фигура, бледно-землис-

тый цвет лица и запах гнили. Она, если не ввозит или вывозит мусорные баки, убирает лестницу или быстро делает свои покупки, то сидит в неоновом свете в своей маленькой комнатке в проходе между двором и улицей, смотрит телевизор, шьет, уютжит, готовит или наливается дешевым красным вином и вермутом, точно так же, как поступала бы любая другая консержка. Нет, он действительно ничего не имел против нее. Он просто питал какое-то предубеждение против консержек как таковых, ибо консержки – это люди, которые в силу своих обязанностей постоянно наблюдают за другими людьми. И мадам Рокар, в частности, была тем, кто постоянно наблюдал, и в частности за ним, Джонатаном. Было абсолютно невозможно пройти мимо мадам Рокар, чтобы она не приняла это к сведению, и это – всего лишь мгновенным, почти неуловимым взглядом. Даже если она засыпала в своей комнатке, сидя на стуле, что бывало, в основном, в послеобеденные часы и после ужина, достаточно было малейшего скрипа входной двери, чтобы она на пару секунд проснулась и заметила проходящего. Ни одна живая душа на свете не принимала Джонатана так часто и так внимательно к сведению, как мадам Рокар. Друзей у него не было. В банке он был составной, так сказать, частью инвентаря. Клиенты воспринимали его не как человека, а как бутафорию. В супермаркете, на улице, в автобусе (когда ж это он ездил автобусом!) его анонимность сохранялась в массе других людей. Лишь мадам Рокар, и только она одна, знала и узнавала его ежедневно и минимум дважды в день безо всякого стеснения уделяла ему свое внимание. При этом она могла получать такие интимные сведения о его жизни как: во что он одевается; сколько раз в неделю он меняет свои рубашки; помыл ли он свои волосы; что он принес себе домой на ужин; получает ли он письма и от кого. И хотя Джонатан, как уже

говорилось, лично действительно ничего не имел против мадам Рокар, и хотя он прекрасно знал, что ее нескромные взгляды объяснялись вовсе не любопытством, а чувством ее профессионального долга, тем не менее он всегда воспринимал эти направленные на себя взгляды как слабый упрек, и каждый раз, когда он проходил мимо мадам Рокар — даже по истечении стольких лет, — в нем поднималась короткая, жгучая волна возмущения: почему, черт побери, она снова пялится на меня? почему она снова меня контролирует? она что, не может, в конце концов, меня не заметить и оставить меня в покое? почему люди так навязчивы?

И поскольку сегодня из-за произошедших событий его ощущения особенно обострились и, как он полагал, ничтожность его существования нашла свое четкое отражение в этом чемодане и зимнем пальто, то взгляды мадам Рокар были особенно болезненны и, прежде всего, ее слова «добрый день, мосье Ноэль» показались ему откровенным издевательством. И волна возмущения, которая до сих пор никогда не выплескивалась наружу, внезапно хлынула через верх, превращаясь в откровенную ярость, и он сделал что-то такое, чего до сих пор еще никогда не делал: уже пройдя мимо мадам Рокар, он остановился, поставил свой чемодан, набросил на него зимнее пальто и повернулся назад; повернулся с дикой решимостью в конце концов противопоставить хоть что-нибудь пронизательности ее взгляда и речей. Он еще не знал, идя к ней, что он будет делать или говорить. Он знал только, *что* что-нибудь сделает и скажет. Хлынувшая через верх волна возмущения толкала его к ней, а ярость его не знала границ.

Она сгрузила мусорные баки и уже намеревалась вернуться в свою комнатку, когда он остановил ее, где-то посередине двора. Они стояли приблизительно в полуметре

друг от друга. Ее бледно-серое лицо так близко он видел впервые. Кожа толстых щек показалась ему тонкой, словно старый обветшалый шелк, а в ее глазах, карих глазах, не было, если взглядеться вблизи, и следа колочей пронизательности, они содержали в себе что-то мягкое, почти по-девичьи застенчивое. Но Джонатана нельзя было ввести в заблуждение этими деталями, которые, конечно, мало соответствовали тому образу мадам Рокар, который он носил в себе. Чтобы придать своему выступлению официальный характер, он приложил руку к служебной фуражке и довольно резким голосом сказал: — Мадам! Я должен сказать Вам пару слов.

(В этот момент он все еще не знал, что же, собственно говоря, он хочет сказать.)

— Да, мосье Ноэль? — отозвалась мадам Рокар, коротким резким движением приподняв голову.

Она похожа на птицу, подумал Джонатан; на маленькую птицу, которая боится. И он продолжил говорить резким тоном:

— Мадам, я должен сказать Вам следующее...— а затем к своему собственному удивлению услышал, как его все еще бурлящее в нем возмущение оформилось без его участия в следующее предложение: — Перед моей комнатой находится птица, мадам,— и далее, уточняя,— голубь, мадам. Он сидит на полу перед моей комнатой.— Лишь на этом месте ему удалось обуздать свою речь, которая лилась как будто из его подсознания, и, разясняя, направить ее в определенное русло: — Этот голубь, мадам, уже успел загадить своими испражнениями весь коридор шестого этажа.

Мадам Рокар переступила пару раз с ноги на ногу, приподняла голову чуть выше и спросила:

— А откуда он взялся, этот голубь, мосье?

— Не знаю,— ответил Джонатан.— Может влетел че-

рез окно в коридоре. Оно открыто. А окна должны быть всегда закрыты. Так написано в правилах внутреннего распорядка для жильцов этого дома.

— Окно открыл наверное кто-нибудь из студентов,— сказала мадам Рокар,— было жарко.

— Не исключено,— продолжил Джонатан.— И все-таки оно всегда должно быть закрыто. Особенно летом. Если будет гроза, оно может удариться и разбиться. Летом 1962 года такое уже было. Заменить стекло тогда стоило сто пятьдесят франков. С тех пор в правилах внутреннего распорядка и записали, что окна всегда должны быть закрыты.

Он, вероятно, заметил, что постоянное упоминание им правил внутреннего распорядка для жильцов дома является немного смешным. Ведь его и не интересует, как попал туда этот голубь. Он вообще не намеревался подробно рассуждать об этом, эта возмутительная история касается в какой-то мере только его одного. Он хотел только высказать свое возмущение по поводу пронизательных взглядов мадам Рокар и ничего более, в первых словах это было. Теперь возмущение ушло. И он не знал, что делать дальше.

— Ну что ж, необходимо выгнать голубя и закрыть окно,— промолвила мадам Рокар. Она сказала это так, словно нет ничего проще на свете и затем снова все будет в полном порядке. Джонатан молчал. Своим взглядом он запутался в ее карих глазах, он ощутил опасность утонуть в них, будто в мягком коричневом болоте, и ему пришлось на какое-то мгновение закрыть глаза, чтобы выбраться оттуда и, кашлянув, снова обрести свой голос.

— Дело в том...— начал он и кашлянул еще разок,— дело в том, что там все уже в пятнах. Везде зеленые пятна. И перья. Он загадил весь коридор. Все дело в этом.

— Конечно, месье,— сказала мадам Рокар,— коридор

нужно будет вымыть. Но прежде всего необходимо выгнать голубя.

— Да,— ответил Джонатан,— да, да...— и подумал: что она имеет в виду? Чего она хочет? Почему она сказала: *необходимо* выгнать голубя? Не хочет ли она сказать, что я должен выгонять этого голубя? И он пожалел, что решился заговорить с мадам Рокар.

— Да, да,— пролепетал он,— необходимо... необходимо его выгнать. Я...я бы сам его давно уже выгнал, но я не могу. Я спешу. Как видите, у меня с собой мое белье и мое зимнее пальто. Мне нужно отнести пальто в химчистку, а белье — в прачечную, а потом я должен быть на работе. Я очень спешу, мадам, поэтому я не смог выгнать голубя. Я просто хотел сообщить Вам о случившемся. Из-за тех пятен, прежде всего. Все дело в том, что голубь загадил коридор, а это нарушение правил внутреннего распорядка. Там написано, что следует соблюдать чистоту в коридорах, на лестнице и в туалетах.

Он не мог припомнить, чтобы хоть когда-нибудь в своей жизни он изъяснялся так запутано. Ему казалось, что ложь так и выпирает на поверхность, а она должна была скрыть единственную правду: он не может и никогда не смог бы выгнать этого голубя, а совсем наоборот, голубь уже давно как выгнал его самого, и что самое неприятное, правду эту было не скрыть: и если даже мадам Рокар не поняла эту правду с его слов, то теперь она могла прочитать ее у него на лице, ибо он ощутил, как его кинуло в жар, кровь ударила в голову, а щеки его пылали от стыда.

Но мадам Рокар вела себя так, словно она ничего не заметила (может она действительно ничего не заметила?), она сказала только:

— Я благодарю Вас за сообщение, мосье. При случае я обо всем позабочусь,— она опустила голову, обошла Джо-

натана, направилась шаркающими шагами к туалетной кабинке рядом со своей комнаткой и скрылась там.

Джонатан посмотрел ей вслед. Если раньше в нем еще и теплилась надежда, что кто-то сможет спасти его от голубя, то эта надежда растаяла вместе с унылым взглядом исчезнувшей в своей кабинке мадам Рокар. «Ни о чем она не будет заботиться,— подумал он,— вообще ни о чем. Это что, ее обязанность? Она здесь всего лишь консьержка и должна подметать лестницу и коридор, а также раз в неделю убирать в общем туалете, но она вовсе не обязана выгонять голубя. Не далее, чем сегодня после обеда, она упьется вермутом и забудет обо всем случившемся, если она уже сейчас, в сию минуту, обо всем не забыла...»

Точно в четверть девятого Джонатан был перед банком, как раз за пять минут до того, как прибыли заместитель директора мосье Вильман и старшая кассирша мадам Рок. Вместе они открыли главный портал: Джонатан — наружные решетчатые жалюзи, мадам Рок — внешнюю дверь из пуленепробиваемого стекла, а мосье Вильман — внутреннюю дверь из пуленепробиваемого стекла. Затем Джонатан и мосье Вильман отключили торцовым ключом сигнализацию. После того, как Джонатан вместе с мадам Рок открыли оба замка двери запасного выхода подвального этажа, мадам Рок и мосье Вильман исчезли в подвале, чтобы своими соответствующими ключами открыть хранилище с сейфами. А тем временем Джонатан, уже закрывший в гардеробном шкафчике возле туалета чемодан, зонтик и зимнее пальто, занял свое место у внутренней двери из пуленепробиваемого стекла. Нажимая на две кнопки, которые поочередно по шлюзовой системе снимали блокировку то с внешней, то с внутренней двери, Джонатан впускал прибывающих друг за другом служащих. Без четверти девять все служащие были в сборе и каждый

расположился на своем рабочем месте, кто — за окошечками, кто — в кассовом зале, а кто — в конторских помещениях. Джонатан вышел из банка и занял свой пост на мраморных ступеньках перед главным порталом. Это было начало собственно его службы.

Служба эта в течение тридцати лет состояла в том лишь, что Джонатан с девяти до тринадцати до обеда и с четырнадцати тридцати до семнадцати после обеда простаивал перед порталом застывшей фигурой или, в крайнем случае, прохаживался размеренным шагом по нижней из трех мраморных ступенек. Где-то в половине десятого и между шестнадцатью тридцатью и семнадцатью часами бывал небольшой перерыв в таком течении службы, вызываемый прибытием и, соответственно, убытием черного лимузина с мосье Редельсом, директором. Нужно было оставлять свое место на мраморной ступеньке, спешить вдоль здания банка к расположенным приблизительно в двенадцати метрах въездным воротам во внутренний двор, прикладывать руку к околышу фуражки в почтительном приветствии и пропускать лимузин. То же самое могло произойти рано утром или в конце дня, когда подъезжал развозочный бронированный автомобиль службы перевозки ценных грузов «Бринк Вертттранспорт сервис». Им тоже нужно было открывать стальную решетку, его пассажирам тоже доставался знак приветствия, конечно — не почтительный, плоской ладонью к околышу фуражки, а легкое касание околыша указательным пальцем — знак приветствия коллегам. В остальное время не происходило ровным счетом ничего. Джонатан стоял, внимательно смотрел перед собой и ждал. Иногда он опускал свой взгляд на свои ноги, иногда — на тротуар, иногда он пристально рассматривал кафе на другой стороне улицы. Иногда он прохаживался по нижней мраморной ступени, семь шагов налево, семь шагов направо, или

же, оставив нижнюю ступеньку, поднимался на вторую, а иногда, когда слишком сильно начинало палить солнце, и от жары внутренняя сторона околыша фуражки пропитывалась потом, он взбирался даже на третью ступеньку, на которую падала тень от козырька портала, чтобы там, сняв на короткое время фуражку и смахнув рукавом пот с влажного лба, стоять, внимательно смотреть и ждать.

Он как-то подсчитал, что до своего ухода на пенсию проведет здесь, стоя на этих мраморных ступеньках, семьдесят пять тысяч часов. Во всем Париже — да скорее всего и во всей Франции — он был бы тогда наверняка тем человеком, который простоял на одном и том же месте дольше всех. Не исключено, что это можно сказать о нем уже сейчас, потому что он уже провел на этих мраморных ступеньках целых пятьдесят пять тысяч часов. Ведь в городе осталось очень мало охранников, которые постоянно работали бы на одном месте. Большинство банков прибегают к услугам так называемых обществ по охране объектов и выставляют перед входом этих молодых, с широко расставленными ногами, с недовольным видом парней, которых через несколько месяцев, часто даже через несколько недель, сменяют другие парни с таким же недовольным видом — якобы исходя из психологии труда: внимание охранника, как считается, слабеет, если он слишком долго несет службу на одном и том же месте; он становится вялым, невнимательным и, следовательно, непригодным для выполнения своих задач...

Ерунда все это! И Джонатану это было известно лучше: внимание охранника слабеет уже через несколько часов. С первого же дня он не воспринимает сознанием все то, что вокруг, или даже тех посетителей, которые многими сотнями входят в банк, да это вовсе и не требуется, потому что в любом случае отличить грабителя банка от клиента банка невозможно. А если бы даже охраннику это

и удалось и он бы ринулся навстречу грабителю — его застрелили бы и он лежал бы трупом, прежде чем он успел бы расстегнуть кобуру, ибо у грабителя перед охранником есть преимущество, с которым не поспоришь, это — внезапность.

Словно сфинкс — как находил Джонатан (в одной из своих книг он однажды читал о сфинксах) — охранник стоит словно сфинкс. Он воздействует не своим действием, а просто своим физическим присутствием. Им, и только им, он противостоит потенциальному грабителю. «Ты должен пройти мимо меня, — говорит сфинкс осквернителю могил, — я не могу остановить тебя, но пройти ты должен мимо меня; и если ты все-таки решишься, то падет на тебя месть богов и других умерших предков фараона!» Так же и охранник: «Ты должен пройти мимо меня, я не могу тебя остановить, но если ты решишься на это, то ты должен меня застрелить, и на тебя падет месть суда в виде приговора за убийство!»

Джонатан, конечно, хорошо знал, что сфинкс располагает более эффективными санкциями, чем охранник. Угрожать местью богов охранник никак не может. А на случай, если грабитель чихать захочет на все эти санкции, то вряд ли сфинксу что-либо будет угрожать. Он сделан из базальта, его изваяли из выступающих скальных пород, вылили из бронзы или возвели из прочного камня. Он беззаботно пережил разграбление могил на пять тысяч лет... в то время как охранник при ограблении банка уже через пять секунд вынужден будет расстаться с жизнью. И все-таки они были одинаковы, как считал Джонатан, ибо сила обоих покоилась не на оружии, она была символической. И лишь осознав эту символическую силу, которая была источником его гордости и самоуважения, которая давала ему силу и терпение, которая ему больше была нужна, чем внимание, оружие или бронированное стекло,

вот уже целых тридцать лет стоял Джонатан Ноэль на мраморных ступенях перед банком и охранял, без страха, без сомнений, без малейшего чувства неудовлетворенности и без недовольного выражения на лице, вплоть до сегодняшнего дня.

Но сегодня все было по-другому. Сегодня Джонатану никак не удавалось войти в состояние непоколебимого покоя. Уже через несколько минут он ощутил тяжесть своего тела, которое болезненно давило на подошвы ног, он переместил ее с одной ноги на другую, потом — назад, из-за этого его немного зашатало и ему, чтобы не потерять равновесие, а до сих пор он удерживал его всегда образцово, пришлось сделать несколько маленьких шажков в сторону. К тому же у него вдруг зачесалось бедро, по бокам и на спине. Через какое-то время зачесался лоб, словно кожа на нем стала сухая и ломкая, как это иногда бывает зимой — и это при том, что сейчас было жарко, даже слишком жарко для четверти десятого, лоб был уже таким потным, каким он, собственно говоря, бывает лишь около половины двенадцатого ... чесались руки, грудь, спина, нижняя половина ног, чесалось везде, где была кожа, он охотно бы почесался, безудержно и жадно, но ведь это же будет ни на что не похоже, если охранник начнет чесаться в общественном месте! И он глубоко вздохнул, расправил грудь, выгнул и расслабил спину, приподнял и опустил плечи и, чтобы получить хоть какое-то облегчение, почесался таким образом изнутри о собственную одежду. Впрочем эти непривычные движения и подергивания только усилили пошатывание корпуса, и скоро тех маленьких шажков в сторону для поддержания равновесия стало уже не хватать, и Джонатан понял, что ему в половине десятого, еще до прибытия лимузина мосье Редельса, придется против обыкновения отка-

заться от статуеобразного несения службы и перейти к патрулированию туда и обратно, семь шагов влево, семь шагов вправо. При этом он попытался зацепиться взглядом за ребро старой мраморной ступеньки и передвигаться подобно тележке по этой надежной направляющей туда и обратно с тем, чтобы при помощи этой монотонно текущей, неизменной картины ребра мраморной ступеньки восстановить в себе страстно желаемую невозмутимость сфинкса, которая позволила бы ему забыть тяжесть собственного тела, кожный зуд и вообще всю эту странную неразбериху в душе и теле. Но об этом нечего было и думать. Тележка постоянно выбивалась из колеи. С каждым взмахом ресниц взгляд срывался со стертого ребра и перескакивал на какой-то другой предмет: клочок газеты на тротуаре; нога в голубом носке; женская спина; корзинка для покупок с хлебом; ручка внешней двери из пуленепробиваемого стекла; мигающий красный ромб табачной рекламы в кафе напротив; велосипед, соломенная шляпка, лицо... И ему нигде не удавалось прочно зацепиться, найти себе новую точку привязки, которая удерживала бы его и помогала бы сориентироваться. Едва он сосредоточился на соломенной шляпке справа, как взгляд его отвлек автобус, едущий слева по улице вниз, через пару метров внимание перескочило на белый спортивный кабриолет, который потянул его снова вправо вдоль по улице, где соломенная шляпка между тем уже исчезла — напрасно глаз искал ее в толпе прохожих, в море шляпок, и зацепился за розу, которая покачивалась на совершенно другой шляпке, оторвался, в конце концов, снова упал на ребро ступеньки, но так и не смог успокоиться, неутомимо скользил дальше, от точки к точке, от пятнышка к пятнышку, от линии к линии... Казалось, что воздух сегодня дрожит от жары, как это бывает только в полуденные

часы в самые жаркие дни июля. Прозрачная пелена, через которую были видны предметы, дрожала. Контуры зданий, линии крыш, коньки были очерчены кричаще четко и в то же время расплывчато, словно они обтрепались. Каменные сточные желобки и пазы между каменными плитами тротуара — обычно словно проведенные под линейку — змеились блестящими кривыми линиями. И женщины, казалось, одели сегодня все свои невыносимо яркие одежды, они проплывали мимо словно языки пламени, притягивали к себе взгляд, но долго на себе не задерживали. Все имело расплывчатые очертания. Не на чем было уверенно сосредоточить свой взгляд. Все будто мерцало.

Это глаза, подумал Джонатан. За ночь я стал близоруким. Мне нужны очки. В детстве он как-то должен был носить очки, слабые, минус ноль семьдесят пять диоптрий, для левого и правого глаза. Так бывает очень редко, чтобы близорукость возникала снова в зрелом возрасте. Он читал, что с возрастом становятся скорее дальнозоркими, а имеющаяся близорукость уходит. Может то, чем он страдает, это вовсе не классическая близорукость, а что-то такое, чему очками уже не поможешь: катаракта, глаукома, отслоение сетчатки, рак глаза, опухоль в мозгу, которая давит на зрительный нерв...

Он был так занят этими ужасными мыслями, что до его сознания не сразу дошел повторяющийся сигнальный гудок автомобиля. Его звуки становились все длиннее — он услышал, отреагировал и поднял голову лишь с четвертого или пятого раза: перед решеткой ворот действительно стоял черный лимузин мосье Редельса! Пока ждали еще какое-то мгновение, просигналили еще и даже поманили жестом. Перед решеткой ворот! Лимузин мосье Редельса! Когда ж это он прозевал его приближение?

Обычно ему не нужно было даже смотреть, он чувствовал, что автомобиль едет, он слышал это по звуку двигателя, если бы он даже спал, то при приближении лимузина мосье Редельса он схватился бы, словно пес.

Он не поспешил, он ринулся со всех ног — летя, он чуть не зарыл носом, — он открыл ворота, сдвинул решетку назад, поприветствовав и пропустив лимузин, он почувствовал, как колотится у него сердце и как постукивает рука о козырек фуражки.

Закрыв ворота и вернувшись назад к главному portalу, он почувствовал, что весь мокрый от пота. «Ты прозевал лимузин мосье Редельса, — бормотал он себе под нос дрожащим от отчаяния голосом и повторял, будто сам никак не мог осознать этого: — Ты прозевал лимузин мосье Редельса... ты прозевал его, ты не сработал, ты отнесся к выполнению своих обязанностей с грубейшим пренебрежением, ты не только слеп, ты глух, ты опустившийся и старый человек, ты не годишься больше в охранники».

Он добрался до самой нижней ступеньки мраморной лестницы, взобрался на нее и попытался снова стать в свою обычную позу. Он сразу же заметил, что это ему не удастся. Он больше уже не мог держать плечи прямо, руки болтались по шву брюк. Он знал, что его фигура в этот момент выглядит смешно, и ничего не мог с этим поделать. С тихим отчаянием глядел он то на тротуар, то на кафе напротив. Дрожание воздуха прекратилось. Все вокруг пришло в порядок, линии выпрямились, мир в его глазах прояснился. Он стал улавливать уличный шум, шипение автобусных дверей, голос официанта из кафе, постукивание женских туфель на высоком тонком каблучке. Ни острота его зрения, ни слух нисколько не ослабели. Но пот заливал глаза. По всему телу он ощущал слабость. Он развернулся, поднялся на вторую ступеньку, поднялся на третью и стал в тени вплотную к колонне

рядом с внешней дверью из пуленепробиваемого стекла. Он заложил руки за спину, так что они касались колонны. Затем он осторожно откинулся назад, на собственные руки и на колонну, и прислонился, впервые за всю свою тридцатилетнюю службу. И на пару секунд прикрыл глаза. Так ему было стыдно.

В обеденный перерыв он достал из гардероба чемодан, пальто и зонтик и направился на близлежащую Рю Сен-Плясид, где располагалась маленькая гостиница, в которой проживали, в основном, студенты и иностранные рабочие. Он потребовал самую дешевую комнату. Ему предложили одну за пятьдесят франков, он взял ее, не посмотрев, заплатил наперед, оставил свои вещи у регистратора. В ларьке он купил пару булочек с изюмом, пакет молока и отправился в Скуар Букико, маленький парк перед универмагом «Бон Марше». Устроившись в тени на скамейке, он начал есть.

В двух скамейках от него расположился бродяга. Между бедер он держал бутылку белого вина, в руке — половину длинной булки, рядом с ним на скамейке лежал кулек с копчеными сардинами. Бродяга вытаскивал из кулька за хвост сардины, одну за одной, откусывал им головы, выплевывал их, оставшееся целиком отправлял прямо в рот. Затем — кусок булочки, большой глоток из бутылки и вздох блаженства. Джонатан знал этого человека. Зимой он всегда сидел перед входом в склад универмага на решетке котельной, расположенной в подвале; летом — перед лавкой на Рю де Севр, или в подъезде иностранной миссии, или же рядом с почтамтом. Уже несколько десятков лет он обитал в этом квартале, столько же, сколько и Джонатан. И Джонатан вспомнил, что тогда, тридцать лет тому назад, когда он впервые увидел его, в нем вскипела какая-то жгучая зависть, зависть к той беззаботности, с какой живет этот человек. В то время,

когда Джонатан каждый день ровно в девять заступал на службу, бродяга часто появлялся лишь в десять или одиннадцать; в то время, когда Джонатану приходилось стоять навтыжку, тот устраивался, удобно развалившись на куске картона, и покуривал себе; в то время как Джонатан, час за часом, день за днем и год за годом охранял, рискуя своей жизнью, банк и таким образом зарабатывал себе на жизнь, тот парень не делал ничего, а полагался лишь на сочувствие и заботу ближних, которые бросали в его шапку наличную денежку. И казалось, что он никогда не бывает в плохом расположении духа, даже тогда, когда шапка оставалась пустой, казалось, что он никогда не страдает и не злится, и даже не скучает. От него всегда исходила возмутительная самоуверенность и самодовольство, вызывающе выставленная на всеобщее обозрение аура свободы.

Но как-то потом, в середине шестидесятых, осенью, когда Джонатан заходил на почтамт на Рю Дюпен, перед входом он чуть не споткнулся о винную бутылку, стоявшую на куске картона между пластиковым пакетом и хорошо знакомой шапкой с парой монет внутри, и когда он, поискав какое-то время глазами бродягу, и не потому, что он жалел об отсутствии этого человека, а просто потому, что в этом натюрморте из бутылки, пакета и картона отсутствовала центральная фигура... нашел его устроившимся между двумя припаркованными на противоположной стороне улицы автомобилями и увидел как тот справляет свою большую нужду: он сидел на корточках со спущенными до колен штанами рядом со сточным желобком, своим задом он был повернут к Джонатану, и зад был полностью голый, мимо спешили прохожие, его мог видеть любой: неестественно белую, покрытую синюшными пятнами и красноватыми следами отслоившихся струпьев задницу, которая выглядела такой старой, словно задница прикованной к постели старухи — при этом человек этот

был не старше тогдашнего Джонатана, вероятно тридцать, максимум — тридцать пять лет. И из этой старческой задницы на мостовую хлестала струя коричневой супообразной жидкости, с невероятной силой и в жутком количестве, образовалась лужа, озеро, окружавшее ботинки, а летящие в разные стороны брызги запачкали носки, ноги, брюки, рубашку, да все...

Это зрелище было настолько жалким, настолько ужасным и от него так тошнило, что Джонатан по сей день содрогался даже при простом воспоминании о нем. Тогда, после непродолжительного созерцания этого кошмара, он ретировался в спасительный почтамт, оплатил свой счет за электричество, купил еще марок, хотя они и не были ему нужны, а только для того, чтобы затянуть свое пребывание здесь и быть уверенным, что, выходя из почтамта, он больше не увидит того бродягу обдeldывающим свои делишки. А затем, выходя, он плотно зажал глаза, опустил взгляд и заставил себя не смотреть на противоположную сторону улицы, а только строго влево, вдоль Рю Дюпен, туда он и поспешил, налево, хотя он там ничего не забыл, а только для того, чтобы не пришлось проходить мимо того места с бутылкой вина, картоном и шапкой, ему пришлось сделать большой крюк через Рю дю Шерш-Мигю и бульвар Распай, прежде, чем он достиг Рю де ля Планш и своей комнаты, надежного убежища.

С этого часа из души Джонатана исчез даже намек на чувство зависти к бродяге. Если до тех пор время от времени в нем шевелилось слабое сомнение, есть ли смысл в том, что человек треть своей жизни проводит, стоя перед воротами банка, открывая периодически ворота и приветствуя лимузин директора, всегда одно и то же при маленьком отпуске и мизерном жалованье, большая часть которого бесследно исчезает в виде налогов, платы за жилье и взносов на социальное страхование... есть ли во всем этом смысл — то теперь ответ стоял у него перед

глазами со всей отчетливостью той ужасной картины, которую он увидел на Рю Дюпен: да, смысл есть. Да еще какой, ведь он избавляет его от необходимости обнажать свой зад в общественном месте и справлять свою нужду прямо на улице. Есть ли что-нибудь жалче, чем необходимость обнажать свой зад в общественном месте и справлять нужду на улице? Есть ли что-нибудь более оскорбительное, чем эти спущенные штаны, эта скрюченная поза, эта вынужденная отвратительная нагота? Есть ли что-нибудь беспомощнее и унижительнее, чем позыв обделать свои интимные делишки на глазах у всего мира? Нужда! Уже в самом этом слове есть что-то мучительное. И как все, что приходится делать под давлением неумолимого позыва, она, дабы быть вообще сносной, требует полного отсутствия других людей... или, по крайней мере, видимость их отсутствия: лес, если находишься на природе; куст, если прихватило в открытом поле, или хотя бы борозда, или вечерние сумерки, или, если ничего этого нет, хорошо просматриваемая на добрый километр вокруг местность, на которой никого не видно. Но в городе? Набитом людьми? Где вообще никогда не бывает полностью темно? Где даже заброшенный земельный участок с развалинами на нем не обеспечивает надежное укрытие от вездесущих взглядов? В городе, где единственную возможность уединиться от людей дают хороший замок и засов. У кого их нет, нет надежного убежища для справления нужды, тот самый жалкий и презренный из всех людей, какую бы свободу он не имел. Джонатан мог бы обходиться небольшими деньгами. Он мог бы даже представить себе, что на нем поношенный пиджак и дырявые штаны. В крайне безвыходной ситуации, мобилизовав всю свою романтическую фантазию, для него было бы все-таки еще мыслимым спать на куске картона и ограничить уют собственного дома хоть каким-нибудь уголком, решеткой отопительной системы, лестничной клеткой станции мет-

ро. Но когда ты в крупном городе, справляя большую нужду, не можешь даже прикрыть за собой дверь — будь то хотя бы дверь общего на весь этаж туалета,— если ты лишен одной только этой важнейшей свободы, а именно свободы уединиться в нужде от других людей, то тогда все остальные свободы равным счетом ничего не значат. Да и жизнь тогда не имеет никакого смысла. Тогда лучше умереть.

Когда Джонатан убедился, что суть человеческой свободы состоит во владении общим на весь этаж туалетом и что он располагает этой существенной свободой, его охватило чувство глубокого удовлетворения. Да, все-таки жизнь свою он устроил хорошо! Его существование можно целиком и полностью назвать счастливым. В нем ничего не было, а это тем более означает, что в нем не о чем жалеть и незачем завидовать другим людям.

С того часа он стоял перед воротами банка словно на окрепших ногах. Он стоял точно вылитый из бронзы. Те солидные самодовольство и самоуверенность, которые он до сих пор предполагал у бродяги, влились в него, словно расплавленный металл, застыли в нем точно внутренняя броня и сделали его весомей. Впредь ничто уже не могло его больше поколебать и никакое сомнение не могло выбить почву у него из-под ног. Он обрел невозмутимое спокойствие. К бродяге, если он его где-нибудь встречал или видел сидящим, он испытывал лишь то чувство, которое принято называть терпимостью: очень равнодушная смесь отвращения, пренебрежения и сочувствия. Этот человек его больше не волновал. Он был ему абсолютно безразличен.

Он был ему безразличен вплоть до сегодняшнего дня, когда Джонатан сидел в Скуар Букико, поедая свои булочки с изюмом и попивал молоко из пакета. Обычно на обед он ходил домой. Он ведь жил всего лишь в пяти минутах ходьбы отсюда. Обычно дома он что-нибудь гото-

вил или разогревал на своей плитке, омлет, яичницу «глазунью» с ветчиной, вермишель с растертым сыром, оставшийся со вчерашнего дня суп, а также салат и чашечку кофе. Прошла уже целая вечность с того дня, когда он в обеденный перерыв в последний раз сидел на парковой скамейке, ел булочки с изюмом и запивал их молоком из пакета. Сладкое, собственно говоря, он не очень любил. Да и молоко тоже. Но ведь сегодня он уже заплатил пятьдесят пять франков за гостиницу; и в этой ситуации для него было бы слишком расточительным пойти в кафе и заказать там омлет, салат и пиво.

Бродяга на скамейке в глубине парка закончил свою обеденную трапезу. После сардин с хлебом он отправил в себя еще сыр, груши и кекс, сделал большой глоток из бутылки с вином, издал из себя стон глубочайшего удовольствия, затем свернул свой пиджак подушкой, положил на него голову и, чтобы после обеда отдохнуть, вытянул на скамейке во всю длину свое ленивое сытое тело. Теперь он спал. Приблизились, подпрыгивая, воробьи и начали склевывать хлебные крошки, затем к скамейке, привлеченные воробьями, приковыляли несколько голубей и начали долбить своими черными клювами откушенные сардиньи головы. Бродяге птицы не мешали. Его сон был глубоким и спокойным.

Джонатан рассматривал его. И пока он его рассматривал, его охватило какое-то непонятное беспокойство. Беспокойство это питалось не завистью, как в свое время, а скорее удивлением: как это возможно, — спрашивал он себя, — что этот человек, которому уже за пятьдесят, вообще еще живет? Не должен ли был он при своем более чем безответственном образе жизни уже давно помереть с голоду, замерзнуть, загнуться от цирроза печени — так или иначе, но быть мертвым? Вместо этого он с прекрасным аппетитом ел и пил, спал сном праведника и производил в своих латаных штанах — которые уже давно, конечно,

были не те штаны, которые он спустил тогда на Рю Дюпен, а относительно приличные, почти модные, лишь там и сям зашитые вельветовые штаны — и своем пиджаке из хлопчатобумажной ткани впечатление более чем благополучной личности, которая живет в наилучшем согласии с собой и окружающим миром и наслаждается жизнью... в то время как он, Джонатан,— и его удивление росло и росло аж до какой-то нервной путаницы в мыслях,— в то время как он, который все-таки всю жизнь был порядочным и правильным человеком, скромным, почти аскетичным и аккуратным, всегда пунктуальным и послушным, надежным, добропорядочным... и каждый су, который был у него, он заработал сам, и всегда за все платил наличными, счет за электроэнергию, квартирную плату, рождественские деньги для консьержки... никогда не имел долгов, не был никогда и никому в тягость, ни разу не болел и не залезал в карман социальному страхованию... никогда никого ничем не обидел, никогда, никогда не желал в жизни ничего другого, а только обеспечить и сохранить свой собственный, скромный маленький душевный мир... в то время как он на пятьдесят третьем году своей жизни влип в историю, от которой голова идет кругом и которая до основания потрясла весь его так тонко состряпанный жизненный уклад, привела его в замешательство и свела с ума, и из-за жуткого смятения и страха он жрет эту булку с изюмом. Да, он боится! Видит Бог, что он дрожит от страха при одном только виде этого спящего бродяги: его охватывал жуткий страх перед тем, что придется стать таким, как этот опустившийся человек на скамейке. Как быстро это происходит, когда нищают и опускаются! Как быстро рушится казалось прочно возведенный фундамент собственного существования! «Ты прозевал лимузин мосье Редельса,— снова пронеслось у него в голове.— То, чего никогда не случалось, и то, что никогда не должно было случиться, сегодня все-таки произошло: ты прозевал

лимузин. А прозевав лимузин сегодня, завтра ты можешь прозевать всю службу или потерять ключ от решетчатых жалюзи, а в следующем месяце тебя с позором уволят, и новую работу тебе не найти, кто возьмет человека, который уже однажды не справился со своими обязанностями? На пособие по безработице прожить нельзя, свою комнату к тому времени ты и без того уже давно потеряешь, там живет голубь, целое семейство голубей населяет, загаживает и опустошает его комнату, счета за гостиницу вырастают до астрономических сумм, из-за этих забот ты начинаешь пить, пьешь все больше и больше, пропиваешь все свои сбережения, спиваешься окончательно, заболеваешь, деградируешь, покрываешься вшами, опускаешься окончательно, тебя изгоняют из последнего дешевого пристанища, у тебя нет больше ни су, ты стоишь перед пустотой, ты — на улице, ты спишь, ты живешь на улице, ты справляешь нужду на улице, тебе конец, Джонатан, к концу года тебе будет конец, ты словно бродяга в оборванных одеждах будешь лежать на парковой скамейке, как он лежит, твой опустившийся собрат!»

Во рту у него пересохло. Он отвел взгляд от зловещего предзнаменования, исходившего от этого спящего мужчины и запустил зубы в последний кусок своей булочки с изюмом. Это продолжалось целую вечность, пока кусок оказался в желудке, он со скоростью улитки обдирал пищевод, иногда казалось, что он вообще остановился, и давил, и делал больно, словно прокалывающая грудь иголка, так что Джонатан подумал, что он, наверное, подавится этим отвратительным куском. Но затем эта штукovina снова сдвинулась дальше, немножко и еще чуть-чуть, и наконец достигла цели и судорожная боль отпустила. Джонатан глубоко вздохнул. Теперь он решил уйти. Ему не хотелось здесь больше оставаться, хотя обеденный перерыв заканчивался только через полчаса. С него хватит. Ему было противно здесь. Тыльной стороной ладони он

смахнул со своих форменных брюк те несколько хлебных крошек, которые попали на них во время еды, невзирая на всю его осторожность, расправил складки брюк, поднялся и направился из парка, не бросив в сторону бродяги ни единого взгляда.

Он был уже на Рю де Севр, когда вдруг вспомнил, что он оставил на скамейке пустой пакет из-под молока, а это было ему неприятно, потому что он ненавидел, когда другие люди оставляют на скамейке мусор или просто бросают его на улицу вместо того, чтобы бросить туда, куда положено, конкретно — в расставленные повсюду урны. Лично он никогда еще не бросал мусор просто так или не оставлял его на скамейках, никогда, будь то из небрежности или забывчивости, что-либо в таком роде с ним просто не случалось... поэтому он и не хотел, чтобы это случилось с ним сегодня, тем более сегодня, в этот критический день, когда уже произошло столько кошунственного. Он и без того уже начал катиться по наклонной плоскости, и без того вел себя как дурак, как не отвечающий за свои поступки субъект, почти как асоциальный тип — прозевать лимузин мосье Редельса! Обедать в парке булочками с изюмом! И если сейчас он не сосредоточится, тем более — в мелочах, если не начнет самым энергичным образом противодействовать таким казалось бы второстепенным небрежностям, как этот оставленный пакет из-под молока, то тогда он полностью потеряет равновесие и его кончину в нищете уже ничем нельзя будет предупредить.

Он развернулся и отправился обратно в парк. Еще издалека он увидел, что скамейка, на которой он сидел, еще никем не занята, и, подойдя ближе, он рассмотрел к своему облегчению на фоне окрашенных в темно-зеленый цвет реек спинки скамейки белый картон молочного пакета. Очевидно никто еще не обратил внимание на его небрежность, и он мог исправить свою непростительную

ошибку. Подойдя к скамейке сзади, он левой рукой достал в глубоком наклоне через спинку скамейки пакет, снова выпрямился, сделав при этом резкий поворот всем телом в правую сторону, приблизительно в том направлении, где он предполагал ближайшую урну — и тут он почувствовал на своих брюках резкий, сильный, направленный наискось вниз рывок, которому он никак не мог противодействовать, поскольку он был слишком внезапным и поскольку рывок этот возник как раз посередине его собственного раскручивающегося движения вверх в противоположном направлении. Одновременно с этим раздался отвратительный звук, громкое «тррр!», и он ощутил, как по коже левого бедра струится легкий сквознячок, что свидетельствовало о свободном доступе наружного воздуха. На какое-то мгновение его охватил такой ужас, что он не решился взглянуть. Этот звук «тррр!» — а он все еще звучал в его ушах — казался ему такой невероятной силы, словно это разорвалось что-то не только на его брюках, а будто линия разрыва прошла по всему его телу, по скамейке, через весь парк, подобно зияющему разлому после землетрясения, и звук этот непременно должны были услышать все люди вокруг, это ужасное «тррр!», и теперь возмущенно уставились на источник этого звука, на Джонатана. Но никто не обратил внимания. Пожилые дамы продолжали вязать, пожилые мужчины продолжали читать свои газеты, несколько детишек, находившихся на маленькой площадке, продолжали спускаться с горки, а бродяга спал. Джонатан медленно опустил свой взгляд. Разрыв имел где-то сантиметров двенадцать в длину. Он проходил от нижнего края левого кармана брюк, который при том повороте зацепился за выступающий шуруп скамейки, вниз вдоль бедра, но не строго по шву, а как раз по красивому габардиновому материалу форменных брюк, а затем под прямым углом дальше на толщину двух больших пальцев до отутюженной стрелки, так что в материа-

ле образовалась не просто какая-то там нескромная щелочка, а бросающаяся в глаза дыра, над которой трепыхался треугольный флажок.

Джонатан ощутил, как в его кровь вливается адреналин, то щекочущее вещество, о котором он как-то прочитал, что его в момент наивысшей физической опасности и душевной подавленности выделяют надпочечники, чтобы мобилизовать для бегства или битвы не на жизнь, а на смерть последние резервы организма. Он и правда ощутил себя словно раненым. Ему казалось, что не только на его брюках, но и на его собственной плоти возникла двенадцатисантиметровая рана, из которой струилась его кровь, его жизнь, которая циркулирует лишь в полностью закрытой внутренней системе кровообращения, и придется ему умереть от этой раны, если не удастся ее как можно скорее закрыть. Но тут появился этот адреналин, который удивительным образом приободрил его, человека, который был уверен, что истечет кровью. Удары сердца были сильными, его мужество окрепло, его мысли сразу же прояснились и сориентировались на одну цель: «Ты должен немедленно что-то сделать, — билось в нем, — ты в сию же секунду должен что-нибудь предпринять, чтобы закрыть эту дыру, иначе ты пропал!» И не успел он еще спросить себя, что он мог бы предпринять, как он уже знал ответ — так быстро действовал адреналин, удивительный наркотик, так окрыляюще действует страх на ум и активность. Приняв мгновенное решение, он прихлопнул пакет из-под молока, который он все еще держал в левой руке, правой рукой, скомкал его и выбросил, все равно — куда, на поросшую травой лужайку, на песочную аллею, он не придал этому значения. Освободившейся левой рукой он зажал дыру на бедре и бросился прочь оттуда, стараясь не сгибать левую ногу с тем, чтобы не соскальзывала рука, дико размахивая правой рукой, сильно качающимся шагом, характерным для хромых, высо-

чил из парка и понесся по Рю де Севр, у него еще было без малого полчаса времени.

В продовольственном отделе универмага «Бон Марше», угол Рю дю Бак, есть портниха. Он видел ее буквально за пару дней до этого. Она сидела прямо перед отделом, недалеко от входа, там где ставят тележки для покупок. На ее швейной машинке висела табличка, на ней можно было прочесть, он припомнил это дословно: *Жанин Топель — переделка и ремонт — качественно и быстро*. Эта женщина поможет ему. Она должна помочь ему — если только она сама сейчас не на обеде. Но нет, она не может быть на обеде, нет, нет, это было бы слишком уж много невезенья. Столько невезенья в один день у него не может быть. Не сейчас. Нет, ведь беда так велика. А когда беда не знает границ, то тогда везет, тогда находят помощь. Мадам Топель должна быть на своем месте и она поможет.

Мадам Топель *была* на своем месте! Он увидел ее еще от входа в продовольственный отдел, она сидела за своей машинкой и шила. Да, на мадам Топель можно положиться, она работает даже во время обеденного перерыва, качественно и быстро. Он побежал к ней, стал рядом со швейной машинкой, убрал руку с бедра, глянул на свои наручные часы, было четырнадцать часов пять минут, прокашлялся:

— Мадам! — начал он.

Мадам Топель закончила плиссировочный шов на красной юбке, с которой она работала, выключила машинку и ослабила лапку с иглой, чтобы освободить материал и обрезать нитку. Затем она подняла голову и посмотрела на Джонатана. Она носила огромные очки с толстой перламутровой оправой и сильно выпуклыми стеклами, которые увеличивали ее глаза до гигантских размеров, а глазные впадины становились похожими на глубокие темные пруды. Волосы ее были каштановыми и ровно спадали до

самых плеч, ее губы были подведены серебристо-фиолетовым цветом. Ей могло быть под пятьдесят, а может — и далеко за пятьдесят, у нее был аллюр тех дам, которые могут предсказывать судьбу по стеклянному шару или картам, аллюр тех довольно измученных дам, для которых, собственно говоря, и само обозначение «дама» больше уже не очень подходит, но к которым все-таки сразу же испытываешь доверие. И пальцы ее — пальцами она подняла очки на носу немного повыше, чтобы удобнее было смотреть Джонатану в глаза — и пальцы ее, короткие, словно сосиски, и все-таки — невзирая на большой объем ручной работы — ухоженные, с покрытыми серебристо-фиолетовым лаком ногтями, светились внушающей доверие полуэлегантностью.

— Слушаю Вас, — сказала мадам Топель слегка охрипшим голосом.

Джонатан повернулся к ней боком, показал на дыру на своих брюках и спросил:

— Вы можете это зашить? — И поскольку вопрос показался ему произнесенным слишком резко и мог бы вызвать его возбужденное под воздействием адреналина состояние, он добавил более мягким, как можно более безразличным тоном: — Это дырочка, небольшой разрыв... нелепая неприятность, мадам. Если бы можно было что-нибудь сделать.

Мадам Топель скользнула взглядом своих огромных глаз по Джонатану сверху вниз, нашла на бедре дыру и наклонилась вперед, чтобы посмотреть ее. При этом ее прямые каштановые волосы разделились от лопаток до затылка и обнажили короткую, белую, жирную шею; одновременно от нее дохнуло запахом, таким тяжелым, пудренным и дурманящим, что Джонатан запрокинул голову и вынужден был перевести взгляд от близкой шеи к удаленному супермаркету; и на какое-то мгновение перед его глазами возник торговый зал целиком, со всеми его при-

лавками и холодильными шкапами, полками с сыром и колбасой, столами для распродаж, пирамидами из бутылок, горами овощей, с копошащимися между ними, толкающими тележки для покупок и тянущими за собой маленьких детей покупателями, с персоналом, служащими склада, кассиршами — кишашая, шумящая толпа людей, на краю которой, открытый всем взглядам, стоит он, Джонатан, в своих разорванных брюках... И в его мозгу пронеслась мысль, ведь там в толпе могут находиться мосье Вильман, мадам Рок или даже мосье Редельс и увидеть его, Джонатана, сомнительное место на теле которого привселюдно исследует слегка опустившаяся дама с каштановыми волосами. И он ощутил себя в несколько затруднительном положении, особенно, видит Бог, теперь, ощутив на коже своего бедра один из сосискообразных пальцев мадам Топель, которая поднимала и прикладывала надорванный кусочек материала...

Но вот мадам снова выпрямилась с уровня бедра, откинулась на стуле и прямой поток благоухания ее духов прекратился, так что Джонатан смог опустить голову, вернуть взгляд из головокружительной дали торгового зала и направить его на вызывающую доверие близость больших, выпуклых стекол очков мадам Топель. — Ну что? — спросил он и добавил: — Ну как? — в состоянии того робкого нетерпения, словно стоит он перед своей врачом и опасается ошеломляющего диагноза.

— Никаких проблем, — ответила мадам Топель. — Нужно только что-то подложить. И будет виден тоненький шов. По другому не получится.

— Да ничего страшного, — проговорил Джонатан. — Тоненький шов — это совсем не страшно, кто вообще смотрит на это укромное место? — И он посмотрел на свои часы. Было четырнадцать часов четырнадцать минут. — Значит, Вы сможете это сделать? Вы сможете помочь мне, мадам?

— Ну, конечно, — ответила мадам Топель и снова сдвинула свои очки, которые во время осмотра дыры немало сползли, повыше на переносицу.

— О, я благодарю Вас, мадам, — затараторил Джонатан, — я Вам очень благодарен. Вы выручили меня из очень затруднительного положения. Но у меня есть только одна просьба: не могли бы Вы... не будете ли Вы столь любезны — я, собственно говоря, очень спешу, у меня осталось всего лишь... — и он снова посмотрел на часы, — ...всего лишь десять минут времени — не могли бы Вы сделать это прямо сейчас? Я имею в виду: прямо в сию минуту? Безотлагательно?

Есть вопросы, которые отрицают сами себя хотя бы тем, что их задают. И есть просьбы, абсолютная напрасность которых проявляется, еще когда произносишь их и смотришь при этом другому человеку в глаза. Джонатан посмотрел в обрамленные тенью большие глаза мадам Топель и понял сразу, что все это бессмысленно, все напрасно, безнадежно. Он понял это еще раньше, в то время, когда еще только задавал свой путаный вопрос, он понял в момент, когда он посмотрел на часы, он по снижению уровня адреналина в своей крови буквально физически ощутил это: десять минут! В состоянии ли хоть кто-нибудь за десять минут зашить эту ужасную дыру? Ничего не получится. Да и вообще не может из этого ничего получиться. Не станешь же, в конце концов, латать эту дыру прямо на бедре. Нужно что-то подкладывать, а это означает: снять брюки. А где, скажите, взять другие брюки, в продовольственном отделе универмага «Бон Марше»? Снять собственные штаны и стоять в подштанниках...? Бред. Абсолютный бред.

— Прямо сейчас? — спросила мадам Топель, и Джонатан, хотя и знал, что все бессмысленно, хотя и сдался уже давно, все-таки кивнул.

Мадам Топель усмехнулась.

ПАТРИК ЗЮСКИНД

— Поглядите-ка, мосье: все, что Вы здесь видите,— и она показала на двухметровую вешалку, которая вся была увешана платьями, пиджаками, брюками, блузками,— все это я должна сделать прямо сейчас. Я работаю по десять часов в день.

— Да, конечно,— сказал Джонатан,— я все понимаю, мадам, глупый вопрос. Как Вы думаете, сколько понадобится времени, пока Вы сможете залатать мою дыру?

Мадам Топель снова повернулась к своей машинке, заправила материал красной юбки и опустила лапку с иглой.

— Если Вы принесете мне брюки завтра утром, то через три недели они будут готовы.

— Через три недели? — повторил Джонатан словно ошарашенный.

— Да,— отозвалась мадам Топель,— через три недели. Быстрее не получится.

Затем она включила свою машинку и начала строчить, и в этот момент Джонатан ощутил себя так, словно его никогда и не было. Хотя он по-прежнему видел не далее, чем на расстоянии протянутой руки, мадам Топель, которая сидела за швейной машинкой, видел каштановую голову с перламутровыми очками, видел быстро работающие толстые пальцы и стрекочущую иглу, которая делала шов по кайме красной юбки... он видел также вдали расплывчатую сутолоку в супермаркете ... но он внезапно перестал видеть себя, это означало, что он не видел больше себя частью мира, что окружал его, ему показалось на какую-то пару секунд, что стоит он далеко-далеко в стороне, и рассматривает этот мир словно через повернутый другой стороной бинокль. И снова, как это уже было до обеда, у него закружилась голова и его зашатало. Он сделал шаг в сторону, повернулся и пошел к выходу. Движения во время ходьбы снова возвращали его в этот мир, эффект

перевернутого бинокля перед его глазами исчез. Но внутри его продолжало шатать.

В канцелярском отделе он купил моток клеящей ленты «Теза». Заклеил ею разорванное место на своих брюках, чтобы треугольный флажок больше не отставал при каждом шаге. Затем он вернулся на работу.

Вторую половину дня он провел в настроении тоски и ярости. Он стоял перед банком, на самой верхней ступеньке, вплотную к колонне, но не прислонялся, потому что не хотел поддаться своей слабости. Да он и не смог бы это сделать, ибо для того, чтобы прислониться незаметно, нужно было бы заложить за спину обе руки, а это было невозможно, потому что левая должна была свисать вниз для прикрытия заклеенного места на бедре. Вместо этого для сохранения устойчивости ему пришлось стать в ненавидимую им стойку с широко расставленными ногами, так, как это делают эти молодые глупые парни, и он заметил, как из-за этого выгнулся позвоночник и как обычно свободно и прямо держащаяся шея опустилась между плеч, а с ней — голова и фуражка, и как опять же из-за этого под козырьком фуражки абсолютно автоматически возник тот выглядывающий, злобно выслеживающий взгляд и то недовольное выражение лица, которое он так презирал у других охранников. Он выглядел словно калекка, словно пародия на охранника, будто карикатура на самого себя. Он презирал себя. Он ненавидел себя в эти часы. Яростно ненавидя самого себя, он охотно вылез бы из собственной шкуры, он с удовольствием вылез бы из своей кожи в буквальном смысле, потому что зудело по всему телу, и он не мог больше почесаться о собственную одежду, ибо из каждой поры лился пот и одежда прилипла к телу, словно вторая кожа. А там, где она не прилипла и где между кожей и одеждой осталось немножко воздуха:

на голенях, на предплечьях, в выемке выше грудины... именно в этой выемке, где зуд был действительно невыносимым, потому что пот скатывался полными зудящими каплями — именно там он *не хотел* почесаться, он не хотел доставить себе это доступное маленькое облегчение, потому что оно не изменило бы состояние его всеохватывающего большого горя, а сделало бы его лишь еще более рельефным и смешным. Он *хотел* страдать. И чем сильнее он страдает, тем лучше. Страдание было как раз кстати, оно оправдывало и разжигало его ненависть и его ярость, а ярость и ненависть разжигали со своей стороны снова страдание, ибо они приводили ко все более интенсивному приливу крови и выдавливали все новые потоки пота из пор его кожи. Все лицо было мокрым, с подбородка и волос на затылке капала вода, околыш фуражки врезался в распухший лоб. Но ни за что на свете он не снял бы фуражку, даже на короткое время. Она должна сидеть на его голове, словно привинченная крышка скороварки, охватывая подобно железному обручу виски, даже если при этом раскаляется голова. Он *ничего не хотел* делать, чтобы смягчить свою беду. Он простоял так без единого движения в течение часа. Он заметил только, как его спина сгибается все больше и больше, как все глубже садятся его плечи, шея и голова, как его тело принимает все более приземистую и дворняжичью стойку.

И, наконец, — а он не мог да и не хотел противодействовать этому — его запруженгя внутри ненависть к самому себе перешла через край, просочилась из него, потекла во все темнеющие и наливающиеся злостью вылупленные под козырьком фуражки глаза и вылилась самой обыкновенной ненавистью на окружающий мир. На все, что попадало в поле его зрения, Джонатан изливал мерзкий ушат своей ненависти; можно даже сказать, что его глазами реальная картина мира вообще больше не воспринималась, а словно стало все наоборот и глаза стали

служить лишь как ворота наружу, чтобы оплевывать мир внутренними искаженными картинками: да хотя бы те же официанты, на другой стороне улицы, на тротуаре перед кафе, никчемные, молодые, глупые официанты, слоняющиеся там между столами и стульями, невежественные, болтающие между собой и ухмыляющиеся, скалящие зубы и мешающие проходим, свистящие вслед девушкам, петухи, ничего не делающие, лишь иногда передающие громкими голосами через открытую дверь к стойке принятые заказы: «Чашечку кофе! Одно пиво! Лимонад!» — чтобы затем наконец-то поблагодарить и принести, балансируя, заказ в наигранной спешке, и сервировать его эффектными, псевдоартистическими официантскими движениями: поставить спиралеобразным движением чашечку на стол, открыть одним движением руки бутылочку «Кока-колы», зажатую между бедер, удерживаемый губами кассовый чек сплюнуть вначале на руку, а затем засунуть под пепельницу, в то время, как вторая рука уже рассчитывается за соседним столиком, загребая кучу денег, цены астрономические: пять франков за чашечку крепкого черного кофе, одиннадцать франков за маленькую кружечку пива, к этому еще 15-процентная надбавка за обезьянье обслуживание плюс чаевые; да, они ждут и их, эти господа бездельники, наглецы, чаевые! — иначе с их губ не слетит больше ни единого «спасибо», промолчат они и на «до свидания»; без чаевых клиенты мгновенно превращаются для них в пустое место и уходя имеют возможность созерцать лишь надменные официантские спины и надменные официантские задницы, над которыми красуются туго набитые черные бумажники, засунутые за ремень брюк, они ведь, эти безмозглые балбесы, считают это шиком и раскованностью хвастливо выставлять свои бумажники, словно жирные ягодицы, на всеобщее обозрение — ох, он бы прикончил их своим взглядом, словно

кинжалом, этих надутых болванов в этих легких, прохладных официантских рубашках с короткими рукавами! Он бы с удовольствием перебежал бы на другую сторону улицы, выволок бы их за уши из-под дающего прохладу балдахина и прямо на улице надавал бы им по щекам, слева, справа, слева, справа, лясь, надавал бы под самую завязку и спустил бы шкуру...

Но не только им! О нет, не только этим соплякам официантам, с клиентов тоже следовало бы спустить шкуру, с этого пришибленного туристского сброда, который, вырядившись в летние блузки, соломенные шляпки и солнцезащитные очки, сидит себе развалившись и хлещет сверхдорогие освежающие напитки, тогда как другие люди стоят, умываясь потом, и работают. А еще эти водители. Здесь! Эти тупоумные макаки в своих вонючих жестянках, отравляющих воздух, создающих отвратительный шум, те, которые за весь день не могут заняться ничем другим, кроме как носиться по Рю де Севр вверх и вниз. Здесь что, и без того мало вони? На этой улице, да во всем городе что, недостаточно шумно? Не хватает той жарницы, которую изливают небеса? Обязательно нужно всосать в свои двигатели и тот остаток воздуха, пригодного для дыхания, сжечь его и, смешав с ядом, гарью и горячим дымом, выдуть его под нос порядочным гражданам? Говнюки! Тюрьма по вам плачет! Стереть бы вас с лица земли. Именно так! Выпороть и стереть. Расстрелять. Каждого в отдельности и всех вместе. О! Он бы насладился, если бы вытянул свой пистолет и выстрелил бы по чему-нибудь, прямо по кафе, прямо по стеклам, чтобы они зазвенели и задребезжали, прямо по группе автомобилей или же прямо по огромным домам напротив, ужасным, высоченным и нависающим домам, или просто в воздух, вверх, в небо, да в жаркое небо, в до ужаса гнетущее, задымленное, по-голубиному серо-голубое небо, чтобы оно

взорвалось, чтобы налитая свинцом капсула лопнула и разрушилась от этого выстрела, и рухнула вниз, все кроша и погребая под собой, все, все без остатка, весь этот дерьмовый, тягостный, шумный и вонючий мир: такой всеохватной и титанической была ненависть Джонатана Ноэля в этот день, что он из-за дыры на своих брюках готов был повергнуть в пыль и прах весь мир!

Но он ничего не сделал, слава Богу — ничего. Он не начал стрелять в небо, или по кафе напротив, или по проезжающим автомобилям. Он остался стоять, обливаясь потом и не шевелясь. Потому что та самая сила, которая пробудила в нем фантастическую ненависть и вылила ее через его глаза на мир, сковала его настолько сильно, что он не мог более пошевелить ни одним членом, не говоря уже о том, чтобы протянуть руку к оружию или нажать пальцем на спусковой крючок, что он не мог даже махнуть головой и стряхнуть с кончика носа маленькую неприятную капельку пота. Под воздействием этой силы он окаменел. В эти часы она действительно превратила его в угрожающе-бесчувственный образ сфинкса. В ней было что-то от электрического напряжения, которое магнетизирует железный сердечник и удерживает его в положении равновесия, или от большого давления внутри какого-нибудь строения, которое плотно прижимает каждый кирпичик к строго определенному месту. Сила эта имела сослагательное действие. Весь ее потенциал состоял в «я бы, я мог бы, лучше всего я сделал бы», и Джонатан, который мысленно формировал отвратительные сослагательные угрозы и пожелания, в тот же момент прекрасно знал, что он их никогда не осуществит. Он был не способен на это. Он не одержимый внезапным безумием человек, который совершает преступление из-за душевных мук, помутнения рассудка или спонтанной ненависти; и не потому, что для него такое преступление могло бы показаться неприемлемым с моральной точки зрения, а просто потому, что он

ПАТРИК ЗЮСКИНД

вообще был неспособен *выразить себя* делами или словами. Не мог ничего делать. Он мог только терпеть.

К пяти часам пополудни он пребывал в таком безнад-
ежном состоянии, что полагал, что больше никогда не
сможет оставить это место перед колонной на третьей
ступеньке входа в банк и ему придется здесь умереть. Он
чувствовал себя постаревшим минимум на двадцать лет и
сбавившим двадцать сантиметров роста; из-за многочасо-
вого натиска внешней жары, исходившей от солнца, и
внутреннего жара, исходившего от ярости, он ощущал
себя расплавленным и рыхлым, да, рыхлым даже скорее,
потому что влаги пота он больше уже вообще не чувство-
вал, рыхлым и выветренным, опаленным и разбитым,
словно каменный сфинкс, которому уже пять тысяч лет; и
если бы это продолжалось так и дальше, то он бы пол-
ностью высох, выгорел, сморщился и превратился бы в
песок или пепел, и лежал бы здесь на этом месте, где он
сейчас все еще старательно держится на ногах, словно
крошечный маленький комочек грязи, пока, в конце кон-
цов, его не сдует оттуда ветер или не сотрет уборщица,
или не смоет дождь. Да, так он закончит свои дни: не как
респектабельный, живущий на свою пенсию пожилой гос-
подин, дома, в собственной постели, в собственных четы-
рех стенах, а здесь — перед воротами банка в виде малень-
кого комочка грязи! И пожелал, чтобы так оно и было;
чтобы процесс развала ускорился и наконец-то пришла
развязка. Он пожелал, чтобы он потерял сознание, чтобы
он смог опуститься на колени и умереть. Он напряг все
свои силы, чтобы потерять сознание и умереть. В детстве
он был способен на кое-что в таком роде. Он всегда мог
заплакать, когда хотел; он мог задерживать дыхание до
тех пор, пока не терял сознание, или задержать ритм сер-
дца на один удар. Сейчас же он ни на что не был способен.
Он вообще ничего не мог. Он в буквальном смысле не мог
согнуть колени, чтобы присесть. Единственное, что он

еще мог, так это стоять там и воспринимать, что с ним происходит.

Тут он услышал тихий гул лимузина мосье Редельса. Не сигнал, а лишь тот тихий прерывающийся гул, который бывает, когда автомобиль с только что запущенным двигателем подкатывает по внутреннему двору к воротам. И пока этот слабый шум пробивался в его уши, входил в его уши и, словно электрический ток, потрескивал по всем нервам его тела, Джонатан ощутил, как что-то щелкнуло в его суставах и как выпрямился его позвоночник. И он почувствовал, как отставленная правая нога подтянулась без его участия к левой, левая нога повернулась на каблуке, правое колено согнулось для шага, затем левое, и снова правое... и как он поочередно переставлял ноги, как он и правда шел, даже — бежал, проскочил три ступеньки, пронесся пружинящим шагом вдоль стены к воротам, сдвинул решетку, стал в стойку, молодежато поднес правую руку к козырьку фуражки и пропустил лимузин. Он проделал все это абсолютно автоматически, совсем без содействия собственной воли, его сознание участвовало во всем этом только тем, что принимало к сведению, словно регистратор, движения и все, что он делал. Единственный вклад в происшедшее самого Джонатана состоял в том, что он проводил удаляющийся лимузин мосье Редельса злым взглядом и послал ему вслед кучу немых пожеланий.

Правда затем, когда он вернулся на место своего стояния, огонь ярости в нем тоже угас, а это был последний собственный импульс. И пока он механически взбирался по трем ступенькам, иссякли последние остатки ненависти, и, когда он добрался до верха, из его глаз уже больше не струились ни злость, ни желчь, он смотрел сверху на улицу каким-то подавленным взглядом. Ему казалось, что глаза эти вовсе не его, а что будто бы сидит он сам за этими своими глазами и выглядывает из них, словно из мер-

твоего округлого окна; да, ему казалось, что все это тело вокруг него больше совсем не его, а будто бы он, Джонатан,— или то, что от него осталось,— всего лишь крошечный сморщенный гномик, находящийся в гигантском здании чужого тела, беспомощный карлик, заточенный внутри слишком большой и слишком сложной человеческой машины, над которой он больше не может властвовать и которой он больше не может управлять по собственной воле, но которая управляется сама собой или какими-то другими силами, если это вообще возможно. В данное мгновение она тихо стояла перед колонной — уже не с внутренним спокойствием сфинкса, а словно выставленная или вывешенная марионетка — и простояла там еще оставшиеся десять минут служебного времени до тех пор, пока ровно в семнадцать тридцать не показался на мгновение во внешних дверях из пуленепробиваемого стекла мосье Вильман и не крикнул: «Закрываемся!» Тогда марионеточная человекоподобная машина по имени Джонатан Ноэль быстро пришла в движение, зашла в банк, стала у пульта управления электрической системой блокирования двери, включила ее и стала поочередно нажимать на обе кнопки для внутренней и внешней двери из пуленепробиваемого стекла, выпуская служащих; затем вместе с мадам Рок заперла дверь запасного выхода из хранилища с сейфами, которое до того было закрыто мадам Рок вместе с мосье Вильманом, включила вместе с мосье Вильманом систему сигнализации, снова отключила электрическую систему блокировки двери, вышла вместе с мадам Рок и мосье Вильманом из банка и, после того как мосье Вильман запер внутреннюю, а мадам Рок — внешнюю дверь из пуленепробиваемого стекла, закрыла, как того требовали его обязанности, решетчатые жалюзи. Здесь она отвесила легкий, неуклюжий поклон мадам Рок и мосье Вильману, открыла рот и пожелала обоим прекрасного вечера и хороших выходных, выслушала со

своей стороны наилучшие пожелания на выходные от мосье Вильмана и «До понедельника!» от мадам Рок, пожелала учтиво, пока они немного отойдут, а затем влилась в поток прохожих, чтобы унести вместе с ним в противоположном направлении.

Ходьба успокаивает. В ходьбе кроется целительная сила. Регулярное переставление ног при одновременном ритмичном размахивании руками, увеличение частоты дыхания, легкое учащение пульса, необходимая для определения направления и выдерживания равновесия деятельность глаз и ушей, ощущение обдувающего кожу воздуха — все это явления, которые совершенно неотразимым образом собирают воедино плоть и дух, начищают до блеска и высвобождают душу, даже если она все еще так искалечена и испорчена.

Именно это происходило с раздвоившимся Джонатаном, гномиком, который спрятался в слишком большую куклу под названием тело. Все больше и больше, шаг за шагом, снова дорастал он до размеров своего тела, ощущал его изнутри, на глазах овладевал им и, в конце концов, слился с ним воедино. Это случилось где-то на углу Рю дю Бак. Он пересек Рю дю Бак (марионетка Джонатан свернула бы здесь автоматически направо, чтобы достичь привычным путем Рю де ля Планш), оставил Рю Сен-Плясид, где располагалась его гостиница, слева и пошел дальше прямо до Рю де л'Аббе Грегуар, по ней вверх до Рю де Вожирар, а оттуда до Люксембургского сада. Он вошел в парк и сделал три круга под деревьями, вдоль изгороди по внешнему, самому длинному кольцу, там где делают пробежки любители оздоровительного бега; затем повернул на юг и поднялся по Монпарнасскому бульвару, дальше — до Монпарнасского кладбища и прошелся вокруг него, раз, второй, затем — дальше на запад к пятнадцатому округу, прошел через весь пятнадцатый округ до

самой Сены, затем вверх по ней на северо-восток в седьмой и дальше — в шестой округ, все дальше и дальше — летний вечер ведь не знает конца, — а потом опять к Люксембургскому саду, когда он до него добрался, то парк уже закрыли. Он остановился перед большими решетчатыми воротами слева от здания сената. Время должно было бы быть около девяти, но на улице светло почти как днем. Грядущая ночь угадывалась только по нежной золотистой окраске света и по фиолетовому обрамлению теней. Транспортный поток на Рю де Вожирар ослабел и стал почти что спорадическим. Масса людей схлынула. Те немногие группки, которые виднелись на выходах из парка и углах улиц, быстро таяли и исчезали в виде одиноких прохожих во множестве переулков вокруг «Одеона» и вокруг церкви Сен-Сюльпис. Люди шли на вечеринку, направлялись в ресторан, спешили домой. Воздух был мягкий, улавливался слабый запах цветов. Все затихло. Париж ужинал.

Как-то сразу он ощутил, как сильно он устал. От многочасовой ходьбы болели ноги, спина, плечи, ступни ног горели в обуви. Внезапно прорезалось чувство голода, да такое сильное, что свело желудок. Он с удовольствием съел бы суп, салат со свежим белым хлебом и кусочек мяса. Ему был известен один ресторан, совсем рядом, на Рю де Канет, где все это было в меню, за сорок семь франков пятьдесят, включая обслуживание. Но не мог же он пойти туда в том виде, потном и вонючем, в каком он был, да к тому же в разорванных брюках.

Он развернулся и направился в отель. По дороге туда, на Рю д'Эсса, находилась тунисская лавка, в которой торговали всякими мелочами. Она была еще открыта. Он купил себе баночку сардин в масле, маленькую упаковку козьего сыра, грушу, бутылку красного вина и арабскую пресную булку.

Гостиничная комната была еще меньше комнаты на Рю де ля Планш, одна сторона чуть пошире двери, через которую в нее приходишь, в длину — не более трех метров. Стены, правда, располагались не под прямым углом друг от друга, а, если смотреть от двери, расходились наискось друг к другу, расширяя комнату приблизительно до двух метров, а затем снова резко устремлялись навстречу и сливались у торцовой стороны в форме трехгранной ниши. Комната, таким образом, своими очертаниями напоминала гроб, она и была не намного просторнее гроба. Возле одной боковой стены стояла кровать, на другой была пристроена раковина умывальника, под ней откидное биде, в нише располагался стул. Справа от умывальника, почти под потолком, было прорублено окно, скорее маленькая застекленная форточка, выходившая в приямок, которую можно было открывать и закрывать, дергая за две тонкие веревки. Через эту форточку в гроб проникал слабый поток теплого и влажного воздуха, доносивший незначительное количество приглушенных шумов внешнего мира: звон посуды, шум туалетной воды, обрывки испанской и португальской речи, короткий смешок, надоедливый плач ребенка и иногда, очень издали, звук автомобильного гудка.

Джонатан опустил в ночной рубашке и кальсонах на краешек кровати и приступил к ужину. В качестве стола он использовал стул, подтянув его к себе, взгромоздив на него картонный чемодан и расстелив на нем сверху пакет для покупок. Карманным ножиком он разрезал маленькие тушки сардин пополам, накалывая половинки кончиком ножа, располагал их на ломтик хлеба и отправлял весь кусок в рот. При жевании нежное, пропитанное маслом рыбье мясо перемешивалось с пресным хлебом и превращалось в превосходную на вкус массу. Не хватает, разве что, пары капель лимона, подумал он — но это было уже почти что фривольное гурманство, потому что когда

он после каждого кусочка отпивал из бутылки маленький глоточек красного вина, а оно процеживалось сквозь зубы и стекало по языку, то стальной, что касается его, привкус рыбы перемешивался с живым кисловатым ароматом вина столь убедительным образом, что Джонатан был уверен, что он никогда в своей жизни не ел вкуснее, чем сейчас, в этот момент. В баночке было четыре сардины, это составляло восемь кусков, степенно пережеванных с хлебом, и к этому восемь глотков вина. Он ел очень медленно. В одной газете он как-то прочитал, что быстрая еда, особенно если человек очень голоден, вредна и может привести к расстройству пищеварения или даже к тошноте и рвоте. Он потому медленно и ел, что полагал, что этот прием пищи у него последний.

Съев сардины и вымакав оставшееся в баночке масло хлебом, он приступил к козьему сыру и груше. Груша была такая сочная, что, когда он начал ее чистить, она чуть не выскользнула из рук, а козий сыр был таким спрессованным и клейким, что прилипал к лезвию ножа, во рту он внезапно оказался таким кисло-горьким и сухим, что напряглись, словно испугавшись, десна и на какой-то момент пропала слюна. Но затем груша, кусочек сладкой сочащейся груши, и все опять пришло в движение, и смешалось, и отделилось от неба и зубов, соскользнуло на язык и дальше... и снова кусочек сыра, слабый испуг, и снова примирительная груша, и сыр, и груша — было так вкусно, что он соскреб ножиком с бумаги остатки сыра и обгрыз кончики сердцевинки, вырезанной перед этим из груши.

Какое-то мгновение он сидел в полной задумчивости, затем, прежде чем доест оставшийся хлеб и допить вино, облизал языком свои зубы. Потом он собрал пустую банку, очистки, бумагу из-под сыра, завернул все это вместе с хлебными крошками в пакет для покупок, пристроил мусор и пустую бутылку в углу за дверью, снял со стула че-

модан, поставил стул обратно на свое место в нишу, помыл руки и лег в кровать. Он свернул шерстяное одеяло, положил его в ноги и накрылся только простыней. Затем он выключил лампу. Стало абсолютно темно. Сверху, где было окошко, в комнату не проникал ни малейший лучик света; а только слабый, слегка отдающий гарью поток воздуха и очень, очень отдаленные шумы. Было очень душно. «Завтра я покончу с собой», — промолвил он. И уснул.

Ночью была гроза. Это была одна из тех гроз, которые выдыхаются не сразу после целой серии всплеск молнии и громовых раскатов, а длятся долго и продолжительное время сохраняют свою силу. Два часа она нерешительно перемещалась по небу, сверкала мягкими зарницами, тихонько рокотала, переходила из одной части города в другую, словно не знала, где ей собраться с силами, при этом ширилась, росла все больше и больше, затянула в конце концов подобно тонкому свинцовому покрывалу весь город, подождала еще, этим промедлением еще больше усилила свое напряжение, и никак не хотела разразиться в полную силу... Под этим покрывалом не было ни малейшего движения. В душной атмосфере отсутствовало малейшее дуновение воздуха, не шевельнется ни листик, ни пылинка, город словно зацепенел, он весь, если можно так сказать, дрожал от оцепенения, он дрожал в мучительном напряжении, словно он сам был грозой и выжидал, чтобы разразиться громом на небо.

И лишь потом, уже тогда, когда только-только начало светать, раздался, в конце концов, треск, один единственный, но такой сильный, словно взорвался весь город. Джонатан подскочил на кровати. Он услышал щелчок не сознанием, не говоря уже о том, чтобы понять, что это раскат грома, хуже: в секунду пробуждения этот щелчок проник во все его члены ничем не прикрытым ужасом, причину которого он не знал, смертельным ужасом.

Единственное, что до него дошло, был отзвук щелчка, многократное эхо и перекаты грома. Было такое впечатление, что дома снаружи рухнули, словно книжные полки, и первой его мыслью было: теперь все, вот он — конец. И он подразумевал под этим не свой собственный конец, а конец света, апокалипсис, землетрясение, атомная бомба или и то и другое вместе — в любом случае полный конец.

Но потом вдруг снова воцарилась мертвая тишина. Не было слышно ни шума, ни падения, ни щелчка, ни ничего, ни эхо от ничего. И эта внезапная и тягучая тишина была откровенно еще страшнее, чем грохот гибнущего мира. Потому что теперь Джонатану почудилось, что хотя он еще и существует, то кроме него нет больше ничего, ни «напротив», ни «верха», ни «низа», ни «снаружи», ни «другого», по чему можно было бы хотя бы сориентироваться. Все восприятия, зрение, слух, чувство равновесия — все, что могло бы ему сказать, где и кто он сам есть — рухнули в абсолютную пустоту и тишину. Он ощущал еще только свое собственное, бешено колотящееся сердце и дрожание собственного тела. И еще он знал, что находится в кровати, но не знал, в какой, и где эта кровать стоит — если она вообще стоит, если она не летит куда-нибудь в бездну, потому что кажется, что она качается, и он крепко вцепился обеими руками в матрац, чтобы не вывалиться и не потерять то единственное что-то, что он держит в руках. Он искал в темноте, за что зацепиться глазами, в тишине — ушами, но ничего не слышал, ничего не видел, абсолютно ничего, что-то зашаталось в желудке, в нем начал подниматься отвратительный привкус сардин. «Только не сдаваться, — подумал он, — только не блевануть, только не сейчас вывернуть себя наизнанку!» ...И потом, после ужасной вечности, он все-таки что-то увидел, точнее — крошечный слабый отблеск справа вверху, совсем чуть-чуть света. И он уставился туда и прочно держался глазами за маленькое, квадратной формы пятныш-

ко света, отверстие, раздел между внутри и снаружи, своего рода окно в комнате... да, но в какой комнате? Это ведь не *его* комната! Ни за что в жизни это не может быть твоей комнатой! В твоей комнате окно расположено над тем концом кровати, где твои ноги, и не так высоко под потолком. Да это... это также и не комната в доме дяди, это — детская комната в доме родителей в Шарантоне — нет, это не детская комната, это подвал, да, подвал, ты в подвале родительского дома, ты ребенок, тебе всего лишь приснилось, что будто бы ты вырос, мерзкий старый охранник в Париже, но ты — ребенок и сидишь в подвале родительского дома, а на улице война, и ты попался, тебя засыпало, о тебе забыли. Почему они не идут? Почему они меня не спасают? Почему такая мертвая тишина? Где другие люди? О Боже, где же другие люди? Без других людей я ведь не смогу жить!

Он был готов кричать. Он хотел криком вытолкнуть из себя в тишину это единственное предложение, что без других людей он не сможет жить, так велико было его горе, таким угнетающим был страх стареющего ребенка Джонатана Ноэля перед тем, что его покинули. Но в тот момент, когда собирался начать кричать, он получил ответ. Он услышал шум.

Что-то постучало. Тихо-тихо. Затем — снова. И в третий раз, и в четвертый, где-то наверху. А затем стук перешел в регулярную барабанную дробь, которая становилась все сильнее и сильнее, и, наконец, это стало уже вовсе не барабанной дробью, а мощным обильным шумом, и Джонатан узнал в этом шуме дождь.

И тогда все стало на свои места, и Джонатан узнал теперь светлое квадратное пятнышко форточки, выходящей в приямок, в сумрачном свете он узнал очертания гостиничной комнаты, умывальник, стул, чемодан, стены.

Он оторвал свои руки от матраца, подтянул ноги к груди и обхватил их руками. Он надолго застыл в такой

скрюченной позе, прошло не менее получаса, а он все вслушивался в шум дождя.

Затем он поднялся и оделся. Ему не нужно было включать свет, он хорошо ориентировался в сумерках. Взял чемодан, пальто, зонтик и вышел из комнаты. Тихонечко спустился по лестнице. Ночной портье у регистрационной стойки спал. Джонатан прошел мимо него на цыпочках и осторожно, чтобы не разбудить, нажал на ручку дверного замка. Послышался негромкий щелчок и дверь открылась. Он вышел на улицу.

Там на улице он окунулся в прохладный серо-голубой утренний свет. Дождь уже прекратился. Но продолжало капать с крыш, и одинокие капли срывались с козырьков, на тротуарах стояли лужи. Нигде ни души, не видно было ни единой машины. Дома стояли притихшие в своей скромности, почти трогательной невинности. Казалось, что дождь смыл с них и спесь, и кичливый лоск, и всю исходившую от них угрозу. По витрине продовольственного отдела универсама «Бон Марше» прошмыгнула кошка и исчезла под убранные овощные полки. Справа на Скуар Букико потрескивали от влаги деревья. Подала голос парочка черных дроздов, их пение отражалось от фасадов домов и еще более подчеркивало тишину, в которую был окутан город.

Джонатан пересек Рю де Севр и свернул на Рю дю Бак, чтобы попасть домой. Каждый шаг отдавал шлепком его мокрых подошв по мокрому асфальту. Идешь, словно босиком, подумал он, имея в виду скорее звук, чем ощущение скользкой влажности в обуви и носках. Для него было бы большим удовольствием снять обувь и носки и пойти дальше босиком, и если он этого не сделал, то только из-за лени, а вовсе не потому, что это показалось бы ему неприличным. Но он старательно шлепал по лужам, он старался ступать как раз посередине каждой лужи, он

бежал, меняя направление, от лужи к луже, иногда он переходил даже на другую сторону улицы, потому что видел на противоположном тротуаре особенно красивую и большую лужу и плюхался своими плоскими хлюпающими подошвами в нее так, что брызги летели и на витрины, и на припаркованные здесь автомобили, и на его собственные штанины, это было восхитительно, он наслаждался этим маленьким детским свинством, словно большой вновь обретенной свободой. Он был окрылен и безгранично счастлив, когда вышел на Рю де ля Планш, вошел в дом, прошмыгнул мимо закрытой комнатки мадам Рокар, пересек внутренний двор и начал подниматься по узкой лестнице хозяйственного входа.

И лишь наверху, подходя к шестому этажу, перед концом пути его охватило нехорошее предчувствие: там наверху сидит голубь, это отвратительное животное. Он, должно быть, расположился на своих красных когтистых лапках в конце коридора, посреди нечистот и летающего пуха, и ждет, голубь, с его ужасными вывернутыми наружу глазами, он, должно быть, взлетит с шелкающим хлопком крыльев и коснется ими его, Джонатана, и нет никакой возможности уклониться в тесноте коридора...

Он поставил чемодан и остановился, хотя пройти ему осталось всего лишь пять ступенек. Отступать он не хотел. Он хотел только какое-то мгновение подождать, немножко отдышаться, дать хоть чуть-чуть успокоиться своему сердцу, прежде чем одолеть последний отрезок пути.

Он посмотрел назад. Его взгляд скользнул по овалу перил вниз в глубину лестничной клетки, и он увидел на каждом этаже лучи падающего сбоку света. Утренний свет потерял свою синеву и стал, как показалось Джонатану, золотистее и теплее. Из хозяйских комнат до него донеслись первые шумы просыпающегося дома: звон чашек, приглушенный щелчок двери холодильника, тихая музыка из радиоприемника. Затем его нос внезапно уло-

ПАТРИК ЗЮСКИНД

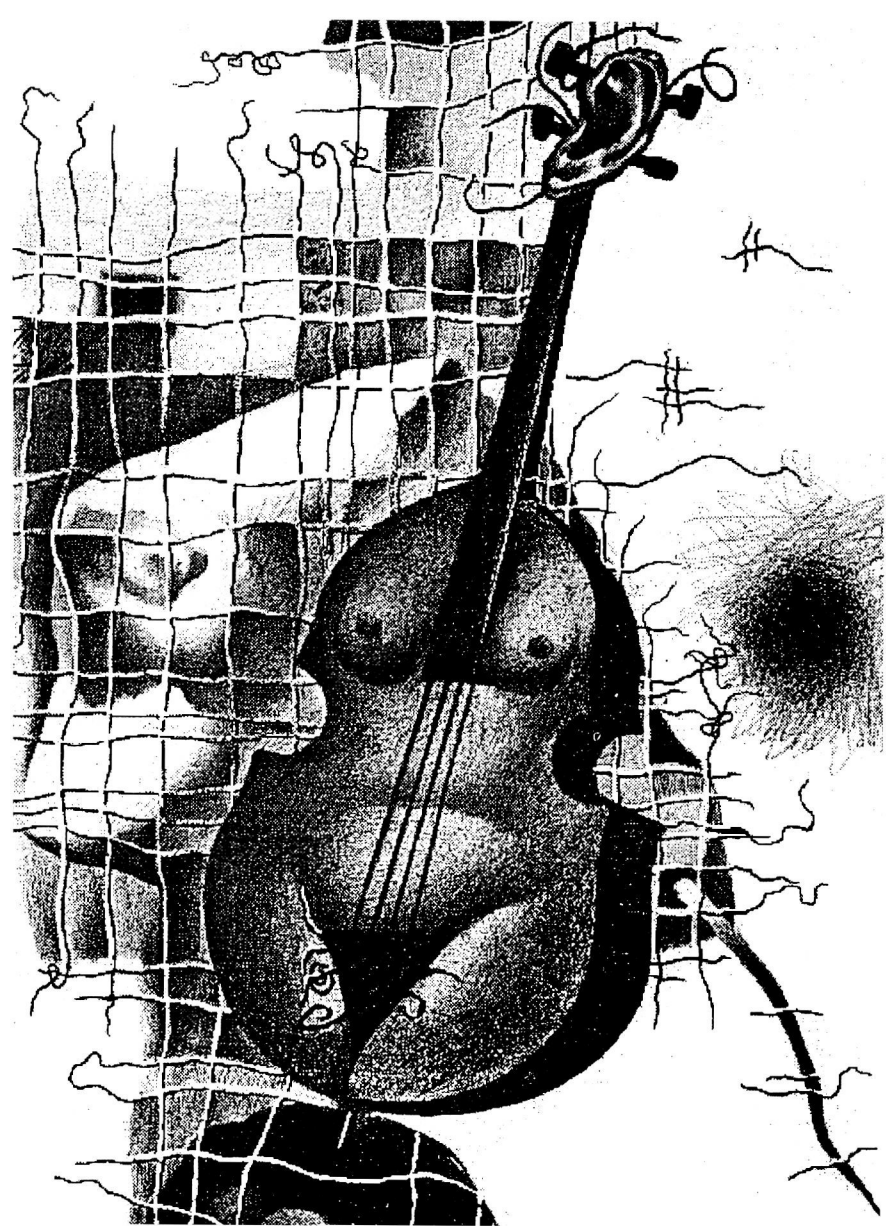
вил напористый знакомый аромат, это был аромат кофе мадам Лассаль, и он несколько раз втянул его в себя, у него было ощущение, словно он сам пьет этот кофе. Выпив свой кофе, он двинулся дальше. Больше он нисколько не боялся.

Ступив в коридор, он сразу же, одним взглядом захватил две вещи: закрытое окно и половая тряпка, развешенная для просушки над сливной раковиной рядом с общим туалетом. Конец коридора рассмотреть он еще не мог, тот был закрыт ослепляюще яркой полосой света, падающего от окна. Он продолжал идти, довольно успешно подавляя страх, переступил через полосу света и вошел в тень. Коридор был абсолютно пустым. Голубь исчез. Пятна на полу были вытерты. Не было больше ни перышка, ни пушиночки, которая трепетала на красном кафеле.



Контрабас





Комната. Играет пластинка, Вторая симфония Брамса. Кто-то тихо подпевает. Шаги, которые только что удалились, возвращаются. Открывается бутылка, этот Кто-то наливает себе пиво.

Минуточку... один момент...— Вот! Вы это слышите? Вот! Сейчас! Слышите вы это? Сейчас повторится, тот же самый пассаж, минуточку.

Вот! Вот сейчас вы его слышите! Я имею в виду басы. Контрабасы...

Он снимает иглу с пластинки. Конец музыки.

...Это я. Или даже мы. Коллеги и я. Государственный оркестр. Вторая Брамса — это уже впечатляюще. В этом случае мы были шестером. Состав средней величины. Всего же нас восемь. Иногда нас усиливают еще кем-нибудь до десяти. Был даже случай, когда было двенадцать, а это сильно, скажу я вам, очень сильно. Двенадцать контрабасов, если они захотят, — сейчас теоретически, — вы не сможете удержать их даже с целым оркестром. Уже даже чисто физически. Остальные тогда могут просто упаковывать вещи. Но без нас на самом деле ничего не получится.

Можете спросить кого угодно. Любой музыкант с удовольствием вам подтвердит, что любой оркестр в любой момент может отказаться от дирижера, но не от контрабаса. В течение столетий оркестры обходились без дирижера. А дирижер, даже исходя из истории музыки, — это изобретение новейших времен. Деятнадцатого века. И даже я могу вам подтвердить, что мы в Государственном оркестре иногда играем, совершенно не глядя на дирижера. Или глядя мимо него. Иногда мы играем, не обращая внимания на дирижера так, что он этого и сам не замечает. Оставляем его там впереди размахивать так, как он себе хочет, а сами развязываем себе руки. Не с ГМД. Но с гастроллирующими дирижерами — всегда. Это самая потайная и желаемая радость, которой едва ли с кем-нибудь можно поделиться. — Но это к слову.

С другой же стороны, совершенно нельзя себе представить иного, а именно — оркестр без контрабаса. Можно даже сказать, что оркестр — это как определение — вообще начинается лишь там, где присутствует бас. Существуют оркестры без первой скрипки, без духовых инструментов, без литавр и без труб, без всего. Но не без баса.

Что я хочу всем этим сказать, так это лишь то, что контрабас просто и бесспорно является самым важным инструментом в оркестре. С этим не согласиться нельзя никак.

Он создает общую основную структуру оркестра, на которой лишь только и может держаться весь остальной оркестр, включая дирижера. Таким образом, бас — это фундамент, на котором, говоря образно, возвышается все это великолепное здание, говоря образно. Попробуйте забрать оттуда бас, и тогда возникнет чистейшее вавилонское смешение языков. Содом, в котором никто более не знает, зачем он вообще играет музыку. Представьте себе — приведем пример — Симфонию си-минор Шуберта *без басов*. Яркий пример. Можете выбросить из головы.

Вы можете выбросить на помойку всю оркестровую партитуру от А до Я — все, что хотите: симфонию, оперу, сольные концерты, — вы можете выбросить все это в том виде, в каком оно у вас есть, если у вас нет контрабасов. И спросите-ка любого музыканта, играющего в оркестре, когда он начинает «плавать»? Спросите же его! Тогда, когда он перестает слышать контрабас. Фиаско. А в джаз-бэнде это проявляется еще более явно. Джаз-бэнд просто словно взрывом разметывает по сторонам — это образно, — если выключается бас. Остальным музыкантам ментально, как после удара, все начинает казаться бессмысленным. Вообще-то я не приемлю джаз, рок и подобные вещи. Потому что я, воспитанный в классическом смысле на прекрасном, добром и настоящем, я не остерегаюсь ничего более, чем анархии свободной импровизации. Но это к слову. —

Просто я хотел для начала констатировать, что контрабас является *центральной* инструментом оркестра. В общем-то это знает каждый. Просто никто этого не признает, потому что музыканты оркестра по природе своей немного ревнивы. Как чувствовал бы себя наш концертмейстер со своей скрипкой, если бы он был вынужден признать, что без контрабаса он был бы словно король без одежды — жалкий символ собственной незначимости и ничтожности? Он чувствовал бы себя нехорошо. Совсем нехорошо. Выпью глоточек...

Он выпивает глоток пива.

...Я скромный человек. Но как музыкант я знаю, что является основой, на которой я стою; матерью-землей, в которой находятся все наши корни; источником силы, из которого исходят все музыкальные мысли; действительно лежащим в основе полюсом, из плоти которого — образно — струится музыкальное семя... — это я! — Я имею в

виду, это бас. Контрабас. Все остальное — это противоположный полюс. Все остальное становится полюсом лишь благодаря контрабасу. Например сопрано. Теперь опера. Сопрано как — как бы мне сказать... знаете, у нас сейчас в опере есть молодая сопранистка, меццо-сопрано, — я слышал множество голосов, но это действительно трогательно. Я чувствую себя до глубины души тронутым этой женщиной. Скорее даже еще девушкой, около двадцати пяти лет. Самому мне тридцать пять. В августе мне исполнится тридцать шесть. Когда еще оркестр будет в отпуске. Великолепная женщина. Окрыляющая... Это к слову.—

Итак: сопрано — сейчас пример — в качестве самого противоположного из всего возможного, что мысленно можно противопоставить контрабасу, из человеческого и звучащего инструментально, было бы... было бы тогда это сопрано... или меццо-сопрано... именно тот противоположный полюс, от которого... или лучше — к которому... или с которым соединяется контрабас... совершенно неотразимо — как будто вызывает музыкальную искру, от полюса к полюсу, от баса к сопрано — или еще дальше — к меццо, все выше — аллегория с жаворонком... божественным, в дальней дали, в бескрайней вышине, близко к вечности, космическим, сексуально-эротично-бесконечно-инстинктивным, словно... и все же привязанным к полю притяжения магнитного полюса, которое исходит прямо перед стойкой близкого к земле контрабаса, архаично, контрабас архаичен, если вы понимаете, что я имею в виду... И только так возможна музыка. Потому что в этом напряжении между здесь и там, между высоко и низко, здесь проигрывается все, что имеет в музыке смысл, здесь проявляются музыкальный смысл и жизнь, да, просто жизнь.— Итак, скажу я вам, эта певица, — это к слову, — вообще ее зовут Сара, скажу вам, когда-нибудь она пойдет очень далеко. Если я что-то понимаю в музыке, а кое-что

КОНТРАБАС

я в ней понимаю, она пойдет очень далеко. И в это вносим свой вклад мы, мы, из оркестра, и особенно мы, контрабасисты, а значит, я. Это уже удовлетворяет. Хорошо. Итак, обобщим: Контрабас это *основополагающий* инструмент в оркестре ввиду своей фундаментальной глубины. Если одним словом, то контрабас — это глубочайший струнный инструмент. Вниз он простирается до контра-ми. Наверное мне нужно как-то это вам сыграть... Минутку...

Он отпивает еще глоток пива, встает, берет инструмент, настраивает смычок.

...вообще-то в моем басы смычок — это самое лучшее. Смычок работы Пфетчера. Сегодня он стоит все две с половиной тысячи. Купил я его за триста пятьдесят. Это просто уму непостижимо, как в этой области за последние десять лет поднялись цены. Ну, ладно...—

Итак, теперь будьте внимательны!..

Он проводит смычком по самой низкой струне.

...Вы слышите? Контра-ми. Точно 41,2 герц, если он правильно настроен. Существуют басы, которые могут играть еще более низкие звуки. До контра-до или даже до субконтра-си. Это было бы тогда 30,9 герц. Но для этого нужен пятиструнный. На моем же их четыре. Пять мой бы не выдержал, они бы его разорвали. В оркестре у нас есть несколько пятиструнных, они нужны, например, для Вагнера. Звучат они не особенно, потому что 30,9 герц — это уже не звук в полном смысле этого слова, вы можете себе представить, это уже...

Он снова играет ми.

...едва является звуком, а скорее трением, как бы это

ПАТРИК ЗЮСКИНД

сказать, чем-то вынужденным, что больше вибрирует, чем звучит. Так что мне хватает моей звуковой палитры полностью. Вверх для меня теоретически границ не существует, лишь практически. То есть, к примеру, я могу, если полностью использовать весь гриф, играть до третьей октавы...

Он играет.

...вот, до третьей октавы, трижды перечеркнутое до. И теперь вы скажете «Конец», потому что дальше, где еще имеются возможности у грифа, невозможно прижать ни одной струны. Подумайте! А теперь...—

Он играет флажолет.

...а теперь?..

Он играет еще выше.

...а теперь?..

Он играет еще выше.

...Флажолет. Это такой способ. Положить пальцы сверху и извлекать высокие звуки. Как это происходит с физической точки зрения, я вам сейчас объяснить не могу, это ведет слишком далеко, это вы можете потом выяснить для себя, заглянув в энциклопедию. Во всяком случае, я теоретически могу играть так высоко, что звуков слышно уже не будет. Минуточку...

Он играет неслышимо высокий звук.

...Вы слышите? Вы этого больше не слышите. Вы видите! Сколько заложено в этом инструменте, теоретическо-физически. Только практическо-музыкально извлекать такие звуки не извлекают. У духовиков это точно так же. А у людей тем более — говоря аллегорически. Я знаю людей, в которых заключена целая вселенная, необъятная. Но доставать ее оттуда не торопятся. Чтобы не сойти с ума. Это к слову.—

Четыре струны. Ми — ля — ре — соль...

Он играет на них тиццикато.

...Все они стальные, обтянутые хромом. Раньше обтягивали кишками. На струне соль, то есть здесь, сверху, исполняются в основном сольные произведения, если это возможно. Стоит она целое состояние, одна струна. Мне кажется, что набор струн стоит сейчас сто шестьдесят марок. Когда я начинал, он стоил сорок. Это просто сумасшествие с этими ценами. Хорошо. Итак, четыре струны, квартанастройка ми — ля — ре — соль, соответственно для пятиструнных до или си. Сегодня это единообразно: от Чикагского симфонического до Московского государственного оркестра. Но до этого велась борьба. Разные настройки, разное количество струн, разные размеры — нет другого инструмента, у которого бы существовало такое же множество типов, как у контрабаса — разрешите, чтобы я вместе с этим пил пиво, у меня просто сумасшедшая потеря влаги. В 17 и 18 веках самый настоящий хаос: басовая гамба, большая басовая виола, виолончель с ладами, субтравилончель без ладов, терцо-, кварто-, квинтонастройка, трех-, четырех-, шести-, восьмиструнные, басовые звуковые отверстия, скрипичные звуковые отверстия — можно просто сойти с ума. Еще до 19 века во Франции и Англии были трехструнники, настроенные в квинто; в Испании и Италии трехструнники, настроенные в

кварто; а в Германии и Австрии четырехструнники, настроенные в кварто. И тогда мы добились признания настроенных в кварто четырехструнников, потому что у нас в то время просто были лучшие композиторы. Хотя трехструнный бас лучше звучит. Не так скрипуче, мелодичнее, просто красивее. Но у нас были Гайдн, Моцарт, сыновья Баха. Позднее Бетховен и все романтики. Всем им было наплевать, как звучит бас. Для них бас был ничем иным, как звуковым ковром, на который они могли поставить свои симфонические произведения — практически самое великое, что можно услышать до сегодня в области музыки. Все это без преувеличений зиждится на плечах четырехструнного контрабаса, с 1750 года до самого двадцатого столетия, вся оркестровая музыка двух прошедших веков. И этой музыкой мы отбросили трехструнник на прочь.

Он естественно защищался, как вы можете это себе предположить. В Париже, в консерватории и в опере, они еще до 1832 года играли на трехструннике. В 1832 году, как это известно, умер Гёте. Но тогда с этим навел порядок Керубини. Луиджи Керубини. Хотя и итальянец, но в музыкальном смысле настроенный вполне средневропейски. Равнялся на Глюка, Гайдна, Моцарта. В то время он был главным музыкальным интендантом в Париже. И он принял решительные меры. Можете себе представить, что там творилось. Вопль возмущения пронесся по рядам французских контрабасистов, когда германofil-итальянец отнял у них трехструнники. В общем-то француз возмущается охотно. Когда где-то проявляются революционные настроения, француз тут как тут. Так было в 18 веке, в 19 веке было тоже, и так продолжается все время и в 20 веке, до наших дней. В начале мая я был в Париже, там бастовали сборщики мусора, работники метро, три раза за день они отключали свет и проводили демонстрации, 15000 французов. Вы даже не можете себе предста-

вить, как после них выглядели улицы. Ни одного магазина не осталось, который бы они не разгромили, разбитые витрины, исцарапанные автомобили, разбросанные или просто оставленные плакаты, бумаги и всякая дрянь — в общем, должен я сказать, устрашающе. Ну да. Во всяком случае тогда, в 1832 году, это им ничем не помогло. Трехструнный контрабас исчез окончательно и бесповоротно. Да и не было это многообразие определенным состоянием. Хотя жалко того, что звучал он намного лучше, чем... который здесь...

Он погромыхал на своем контрабасе.

...Более ограниченный диапазон звучания. Но лучше тембром...

Он пьет.

...Вы только посмотрите — но так случается зачастую. Лучшее отмирает, ибо ему противостоит ход времени. И оно все это ломает и отбрасывает. В данном случае им оказались наши классики, которые беспощадно уничтожили все, что себя им противопоставляло. Неосознанно. Этого я сказать не хочу. Наши классики, сами по себе, были в каждом конкретном случае порядочными людьми. Шуберт не смог бы обидеть даже мухи, а Моцарт бывал иногда, правда, несколько грубоват, но, с другой стороны, был чрезвычайно впечатлительным человеком и совершенно неспособным на насилие. И Бетховен тоже. Несмотря на свои приступы бешенства. Бетховен, например, разбил множество пианино. Но ни разу — контрабас, в этом нужно отдать ему должное. Правда, ни на одном он и не играл. Единственный великий композитор, который играл на контрабасе, был Брамс... или его отец. — Бетховен вообще не играл ни на одном струнном инструменте,

только на пианино, сегодня об этом охотно забывают. В отличие от Моцарта, который почти так же великолепно играл на скрипке, как и на пианино. Насколько я знаю, Моцарт был вообще единственным из великих композиторов, который мог играть как свои собственные концерты для фортепиано, так и свои концерты для скрипки. В лучшем случае еще и Шуберт, при крайней необходимости. При крайней необходимости! Только он ни одного не написал. И он не был виртуозом. Нет, виртуозом Шуберт действительно не был. Уже по своему типу не был и технически тоже. Вы можете себе представить Шуберта виртуозом? Я — нет. У него был действительно приятный голос, менее подходящий солисту, чем участнику мужского хора. Временами Шуберт каждую неделю пел в квартете, впрочем, вместе с Нестроем. Вероятно, они этого не знали. Нестрой баритоном, а Шуберт... — но все это никакого отношения к нам не имеет. Это никак не связано с проблемой, которую я излагаю. Мне кажется, что если вас интересует, какой окрас голоса был у Шуберта, то пожалуйста, в конце концов вы можете прочитать это в любой биографии. Мне совсем не нужно вам об этом рассказывать. В конце концов я вам не музыкальное справочное бюро. —

Контрабас — это единственный инструмент, который тем лучше слышишь, чем дальше от него находишься, и это является проблематичным. Вы только посмотрите, здесь, у меня дома, я все выложил акустическими плитками — стены, потолки, пол. Дверь двойная, и изнутри выложено звукопоглощающим материалом. Окна из специального двойного стекла с изолированными рамами. Это стоило целое состояние. Но уровень защиты от шумов свыше 95%. Вы слышите какие-нибудь городские шумы? Я живу в центре города. Вы не верите? Минуточку!..

Он подходит к окну и открывает его. В окно врывается варварский шум автомобилей, строек, мусоровозов, отбойных молотков и тому подобного.

Кричит.

...Вы это слышите? Это так же громко, как «Те Деум» Берлиоза. Дьявольски. Вот там они сносят гостиницу, а напротив, на перекрестке, два года назад подвели станцию метро, поэтому все движение пустили теперь мимо нас, внизу. Кроме того, сегодня среда и производится вывоз мусора, вот этот ритмичный стук... вот! Этот оглушительный грохот, этот зверский стук, примерно 102 децибела. Да. Я когда-то измерил. Мне кажется, что сейчас тоже доходит до этого уровня. Теперь я снова закрою...

Он закрывает окно. Тишина. Он тихо продолжает говорить.

...Вот. Теперь вы не сможете сказать ничего. Правда, хорошая шумозащита? Спрашиваешь себя, как люди жили раньше. Потому что вы же не думаете, что раньше было меньше шума, чем сегодня. Вагнер пишет, что он во всем Париже не мог найти ни одной квартиры, потому что на каждой улице работал жестянщик, а Париж, насколько я знаю, уже тогда имел более миллиона жителей. Значит жестянщик — я не знаю, кому доводилось это когда-либо слышать, — это, наверное, самое дьявольское, что может встретиться музыканту. Человек, который постоянно лупит молотком по куску металла! В те времена люди работали от восхода и до захода солнца. Наверное, как минимум. К тому же громыханье карет по бульжной мостовой, крики уличных торговцев и постоянные драки и революции, которые кстати во Франции творились народом, простым народом, самым грязным уличным сбродом, это об-

ПАТРИК ЗЮСКИНД

щеизвестно. Кроме всего прочего, в Париже в конце 19 столетия построили метро, и не надо думать, что раньше все было значительно тише, чем сегодня. Вообще-то я скептически отношусь к Вагнеру, но это к слову.—

Вот, а теперь внимательнее! Сейчас мы проведем тест. Мой бас — это совершенно нормальный инструмент. Год изготовления 1910, примерно, наверное Южный Тироль, высота корпуса 1,12, вверх до завитка 1,92, длина натяжения струны метр двенадцать. Не превосходный инструмент, но, скажем, выше среднего, сегодня я могу попросить за него восемь с половиной тысяч. Купил я его за три двести. С ума сойти. Хорошо. Сейчас я сыграю вам звук, что-нибудь, скажем, низкое фа...

Он тихо играет.

...Вот. Сейчас это было пианиссимо. А теперь я играю пиано...

Он играет немного громче.

...Пускай вам не мешает вибрирующий, трущийся звук. Так оно и должно быть. Чистого звука, то есть лишь вибрации без трения, такого нет во всем мире, даже нет у Иегуди Менухина. Вот так. А теперь внимательно слушайте, я сейчас сыграю между меццо форте и форте. И, как я уже сказал, полностью звукоизолированное помещение...

Он играет еще немного громче.

...Вот. А теперь вам придется чуть-чуть подождать... Еще минуточку... вот сейчас...

Сверху от потолка слышится стук.

...Вот! Вы слышите! Это фрау Нимайер сверху. Когда она слышит хоть звук, она начинает стучать, и тогда я знаю, что уже перешел границу меццо форте. А в остальном очень приятная женщина. Причем оно звучит, когда стоишь здесь, рядом, не слишком громко, скорее даже скромно и сдержанно. Если я сейчас, к примеру, сыграю фортиссимо... Минуточку...

Теперь он играет так громко, как только может, и кричит, пытаясь перекрыть гудящий бас.

...звучит не чрезмерно громко, нужно сказать, но это сейчас поднимается вверх до фрау Нимайер, и разносится вокруг до соседнего дома, они позвонят позже...

Да. И это именно то, что я называю пробойной силой инструмента. Происходит от низких колебаний. Флейта, по-моему, или труба звучат громче — так думают. Но это не так. Нет пробойной силы. Нет дальности действия. Нет тела, как сказал бы американец: У меня есть тело или у моего инструмента есть тело. И это единственное, что мне в нем нравится. Кроме этого у него нет ничего. Кроме этого это сплошная катастрофа.

Он наигрывает увертюру к «Валькирии».

Увертюра к «Валькирии». Так, словно появляется белая акула. Контрабас и виолончель в унисон. Из нот, которые стоят перед нами, мы играем наверное процентов пятьдесят. Вот это...

Он подпевает звукам контрабаса.

...это, что мы слышим, это на самом деле квинтоли и секстоли. Шесть отдельных звуков! С такой бешеной скоростью! Сыграть это невозможно никак. Это можно толь-

ко лишь выделить в определенный момент. Понимал ли это Вагнер, нам то неизвестно. Вероятнее всего, что нет. В любом случае ему на это было наплевать. Он вообще пренебрежительно относился к оркестру. Оттого и укрытие в Байройте, якобы по причине звучания. На самом же деле из-за пренебрежения к оркестру. И, главным образом, для него очень важными были шумы и шорохи, и в театральной музыке тоже, вы понимаете, звуковые кулисы, произведение в целом и так далее. Отдельный звук более не играет никакой роли. Кстати, подобное и в Шестой Бетховена, или «Риголетто», последний акт — как только надвигается гроза, они без удержу вставляют в партитуру ноты, которые ни в какие времена не смог бы сыграть ни один бас в мире. Ни один. От нас вообще требуют слишком многого. Во всяком случае мы именно те, кто вынужден тратить больше всех сил. После концерта я всегда совершенно мокрый от пота, ни одну рубашку я не могу надеть дважды. На протяжении оперы я теряю в среднем два литра жидкости; за симфонический концерт — примерно литр. Некоторые мои коллеги занимаются бегом и тренируются с гантелями. Я — нет. Но в один прекрасный день прямо в оркестре меня просто разнесет на куски, да так, что я прийти в себя уже не смогу. Потому что играть на контрабасе, это чисто силовое упражнение, и с музыкой в определенной степени оно никак не связано. Поэтому ни один ребенок никогда не сможет играть на контрабасе. Я сам тоже начал лишь в семнадцать. Сейчас мне тридцать пять. Это у меня получилось не добровольно. Скорее, как у девушки получается с ребенком, случайно. Через прямую флейту, скрипку, тромбон и диксиленд. Но это уже давно прошло, и между тем я не приемлю джаз. Я вообще не знаю ни одного человека, который добровольно стал бы играть на контрабасе. И как-то это становится вдруг очевидным. Инструмент не очень удобный. Контрабас — это больше, как бы это выразиться, препятствие, чем ин-

струмент. Вы не можете его носить — его нужно тащить, а когда он падает, то он разламывается. В машину он влезет лишь тогда, когда вы снимете правое переднее сиденье. И тогда машина практически заполнена. В квартире вы постоянно должны от него уворачиваться. Он стоит так... так по-дурацки повсюду, знаете, ну не так, как пианино. Пианино — это как мебель. Пианино вы можете закрыть и оставить стоять на месте. Его же нет. Он все время стоит везде, как... У меня когда-то был дядя, который постоянно болел и постоянно жаловался, что никто о нем не заботится. Точно такой же и контрабас. Когда к вам приходят гости, он тут же выползает на передний план. Все говорят только лишь о нем. Если вы хотите остаться наедине с женщиной, он стоит тут же и за всем наблюдает. Вы хотите интима — он подглядывает. Вас никогда не покидает чувство, что он развлекается, что акт он превращает в посмешище. И это чувство переносится естественно на партнершу, а потом — вы сами знаете, физическая любовь и посмешище, как близки они друг другу и как плохо они друг друга переносят! Как низко! Он не имеет к этому никакого отношения. Извините...

Он перестает играть и пьет.

...Я понимаю. Это не имеет никакого отношения. В общем вас это тоже не касается. Может быть это вас даже оскорбляет. И у вас самих в этой области появятся проблемы. Но я позволю себе разволноваться. И я имею право хоть *один* раз четко сказать свое слово, чтобы никто не думал, что члены Государственного оркестра не имеют подобных проблем. Потому что у меня уже два года не было женщины и виноват в этом он! Последний раз это было в 1978 году, я спрятал его в ванну, но и это не помогло, его дух парил над нами, словно фермата...

Если еще хотя бы *один* раз я буду с женщиной — что

ПАТРИК ЗЮСКИНД

не очень вероятно, потому что мне уже тридцать пять; но есть же и такие, которые выглядят хуже, чем я, а я все-таки еще и служащий, и я могу еще влюбиться! —

Знаете ли... я *уже* влюбился. Или она просто понравилась, этого я не знаю. И она тоже еще этого не знает. Это та... я говорил раньше... из ансамбля в опере, эта молодая певица, Сара ее зовут...— Все это очень невероятно, но если... если когда-нибудь это зайдет так далеко, когда-нибудь, я буду настаивать на том, чтобы мы сделали это у нее. Или в гостинице. Или за городом, на природе, если не будет дождя...

Если он чего-то и не переносит, так это дождя, под дождем он умирает или растворяется, разбухает, он вообще его не переносит. Точно так же, как и холод. Когда холодно, он начинает морщиться. Тогда перед тем, как играть, его нужно часа два отогревать. Раньше, когда я был еще в камерном оркестре, мы через день играли в провинции, в каких-то замках и церквях, на зимних праздниках — вы даже не поверите, чего все это стоило. Во всяком случае, мне всегда приходилось выезжать на несколько часов раньше остальных, самому на «фольксвагене», чтобы успеть отогреть мой бас, в ужасных крестьянских домах или в ризнице у печи, словно больного старика. На это способна любовь, должен я вам сказать. Однажды мы зависли, в декабре 74-го, между Этталем и Оберау, в снежную бурю. Два часа мы ждали техпомощи. И я уступил ему свое собственное пальто. Согревал его собственным телом. На концерте *он* был уже отогрет, а во мне уже зарождался разрушительный грипп. Разрешите, я выпью.—

Нет, рождаются люди действительно не для контрабаса. Идут к нему обходными путями, через стечения обстоятельств и разочарования. Позволю себе сказать, что у нас в Государственном оркестре из восьми контрабасистов нет ни одного, кого бы жизнь изрядно не потрепала и

у кого бы удары, которые она ему нанесла, до сих пор не виднелись бы на лице. К примеру, типичная судьба контрабасиста — это моя собственная: доминирующий отец, служащий, немзыкальный; слабая мать, флейта, увлеченная музыкой; я, ребенок, безумно обожающий мать; мать любит отца; отец любит мою маленькую сестру; меня не любит никто — это субъективно. Из ненависти к отцу я решил стать не служащим, а музыкантом; из мести же к матери выбрал большой, неудобный, несольный инструмент; и чтобы ее так сказать смертельно обидеть и вместе с этим дать отцу еще один пинок над могилой, я все-таки стал служащим: контрабасистом в Государственном оркестре, третий пульт. В этом качестве я ежедневно в образе контрабаса, самого большого из женоподобных инструментов,— это в смысле его формы,— я насирую свою собственную мать, и этот вечный символический кровосмесительный половой акт оказывается, естественно, каждый раз моральной катастрофой, и эта моральная катастрофа просто-таки написана на лице у каждого из нас, контрабасистов. Это к психоаналитической стороне инструмента. Правда, это понимание помогает не много, потому что... конец с психоанализом. Это нам сегодня известно, что психоанализу пришел конец, и сам психоанализ тоже это знает. Потому что, во-первых, психоанализ ставит намного больше вопросов, чем он сам может дать ответов, подобно гидре,— это образно,— которая сама себе отбивает голову, и это внутреннее и никогда неразрешимое противоречие психоанализа, в котором она сама утонет, а во-вторых, сегодня психоанализ всеобщее достояние. Сегодня это знают все. Но в оркестре из ста двадцати шести музыкантов более половины в состоянии психоанализа. И тут вы можете себе представить, что сегодня то, что еще сто лет назад было бы сенсационным научным открытием или могло бы стать таковым, сегодня настолько обычно, что это не может больше взволновать ни одного человека.

Или может вас удивляет, что сегодня десять процентов находятся в состоянии депрессии? Это вас удивляет? Меня это не удивляет. Посмотрите. И для этого мне не нужен никакой психоанализ. Намного важнее было бы, — если уж мы об этом говорим, — если бы мы имели психоанализ сто или сто пятьдесят лет назад. Тогда бы от Вагнера нам бы что-нибудь да сэкономилось. Ведь человек это был сверхнервным. Произведение, как «Тристан», например, самое великое, что он произвел на свет, как же оно возникло? Только лишь благодаря тому, что он целый год занимался женой одного из друзей, который терпел его на протяжении многих лет. Многих лет. И этот обман, этот, как бы это лучше сказать, этот низкий способ отношений самому ему не давал покоя до такой степени, что он сам вынужден был сделать из этого якобы величайшую любовную трагедию всех времен. Тотальное вытеснение посредством тотальной сублимации. «Наивысшее желание» et cetera, да вы знаете. Крушение брака было в те времена еще чрезвычайным делом. А теперь представьте себе, что Вагнер пришел с этим к аналитику! Да — одно ясно: После этого «Тристан» бы не состоялся. Насколько это ясно, ибо для этого невроза явно бы не хватило. — Впрочем, он забил свою жену, этот Вагнер. Первую, конечно. Вторую нет. Ее явно нет. Но первую он забил. Совершенно неприятный человек. Чертовски любезным мог он быть, дьявольски очаровательным. Но неприятным. Мне кажется, что он сам себе не мог сочувствовать. Кроме того, у него на лице долго была сыпь, честно говоря... Отвратительно. Ну да. Но женщины хотели его, прямо-таки рядами. Сильно притягивал женщин этот мужчина. Непостижимо...

Он размышляет.

...Женщина в музыке играет подчиненную роль. В

творческой форме, имею я в виду, в композиции. Женщина играет подчиненную роль. Или, может быть, вы знаете *какую-нибудь* известную композиторшу? Одну единственную? Вот видите! Вы когда-нибудь хоть раз об этом думали? Подумайте как-нибудь об этом. Быть может, просто о роли женщины в музыке. Теперь, конечно, контрабас это женский инструмент. Несмотря на свой грамматический род, женский инструмент — но смертельно серьезный. Как и сама смерть — это ассоциативная чувственная величина — женский в таящемся в нем самом ужасе или — если хотите — в своей неизбежной запорной функции; с другой стороны, как комплементарий к жизненному принципу, плодородию, матери-земле и так далее, я прав? И в этой функции — говоря снова с музыкальной точки зрения — контрабас, как символ смерти побеждает абсолютное Ничто, в котором одинаково грозят утонуть и музыка, и жизнь. Мы, контрабасисты, видимся, так сказать, церберами в катакомбах этого Ничто, или, с другой стороны, Сизифом, который груз смысла всей музыки закатывает на своих плечах на вершину горы, пожалуйста, представьте это себе образно! отрешившись от всего, напрягшись, и с изрубленной печенью — нет, то был другой... это был Прометей — кстати: Этим летом мы со всем оркестром были в Оранже, в Южной Франции, на фестивале. Специальная постановка «Зигфрида», пожалуйста, представьте себе: В амфитеатре Оранжа, строении примерно двухтысячелетнего возраста, классическом произведении зодчества одной из самых цивилизованных эпох человечества, в присутствии императора Августа неистовствует германский народ готов, фыркает дракон, на сцене сражается Зигфрид, грубый, жирный, «боше», как говорят французы... — Мы получили по тысяче двести марок на человека, но мне все это представление показалось таким неприятным, что я едва сыграл максимум пятую часть нот. А потом — вы знаете, что

мы сделали потом? Мы все, из оркестра? Мы все напились, накачались, словно сапожники, горланили до трех часов ночи, настоящие «боше», пришлось приехать полиции, мы были так разочарованы. К сожалению, певцы напились тогда где-то в другом месте, они никогда не сидят вместе с нами, из оркестра. Сара — вы уже знаете, эта молодая певица — тоже сидела у них. Она пела Лесную птичку. Певцы жили даже в другой гостинице. Иначе мы наверное тогда встретились бы.

Один мой знакомый когда-то что-то имел с одной певицей, целых полтора года, но он был виолончелист. Конечно, виолончель не такая громоздкая, как бас. Она не стоит столь глухо между двумя людьми, которые друг друга любят. Или хотя бы любить. К тому же для виолончели имеется множество мест для соло, — сейчас о престиже, — фортепианные концерты Чайковского, Четвертая симфония Шумана, «Дон Карлос» и так далее. И тем не менее, скажу вам, что знакомый мой был полностью измотан своей певицей. Ему пришлось научиться играть на пианино, чтобы обеспечить ей музыкальное сопровождение. Она просто потребовала это от него, просто из любви — во всяком случае человек в самое короткое время стал концертмейстером женщины, которую он любил. К тому же, жалким. Когда они играли вместе, она превосходила его на целую голову. Формально она его унижала, это обратная стороны любви. При этом он был, что касается виолончели, лучшим виртуозом, чем она со своим меццо-сопрано, значительно лучшим, никакого сравнения. Но он обязательно должен был играть для нее сопровождение, он обязательно хотел играть вместе с ней. А для виолончели и сопрано написано не так уж много. Очень даже мало. Почти так же мало, как для сопрано и контрабаса...

Знаете ли, я очень часто бываю один. В основном я сижу один у себя дома, когда я не на работе, слушаю плас-

тинки, иногда репетирую, удовольствия это мне не доставляет, всегда одно и то же. Сегодня вечером у нас фестивальная премьера «Рейнгольда»; с Карло Мария Джиулини в качестве приехавшего на гастроли дирижера и премьер-министром в первом ряду; лучшее из лучшего, билеты стоят до трехсот пятидесяти марок, с ума сойти. Но мне на это наплевать. Я даже не репетирую. «Рейнгольда» мы играем ввосьмером, поэтому то, что играет один, это ерунда. Если ведущая партия играет более-менее, то все остальные играют вместе с ним... Сара тоже поет сегодня. Вельгунду. Прямо вначале. Для нее это большая партия, это может стать ее провалом. Конечно жалко, что провал этот должен произойти именно с Вагнером. Но здесь выбирать не приходится. Ни здесь, ни там. — Обычно с десяти до часу мы репетируем, а затем вечером с семи до десяти у нас выступление. Все остальное время я сижу дома, здесь, в своей акустической комнате. Из-за потери жидкости я выпиваю несколько стаканов пива. А иногда я усаживаю его туда, в плетеное кресло, прислоняю его к спинке, кладу смычок рядом с ним, а сам сажусь сюда, в кресло с высокой спинкой. И начинаю на него смотреть. И думаю: что за ужасный инструмент! Пожалуйста, взгляните на него! Взгляните на него хоть раз. Он выглядит, как жирная, старая баба. Бедра слишком низки, талия — совершенное несчастье, вырезанная слишком высоко и недостаточно тонкая; и к тому же эта узкая, висячая, рахитичная плечевая часть — просто с ума можно сойти. Это происходит потому, что контрабас — гермафродит, по природе своего развития. Внизу — словно большая скрипка, вверху — как большая гамба. Контрабас — это самый уродливый, самый неуклюжий, самый неэлегантный инструмент, который когда-либо вообще был изобретен. Леший среди инструментов. Иногда мне хочется его просто размозжить. Распилить. Разрубить. Разбить на мелкие кусочки, размолоть и распылить, как в

аппарате для сухой перегонки дерева... но сдуваю с него пыль! — Нет, сказать, что я его люблю, я на самом деле не могу. На нем и играть отвратительно. Для трех полутонов вам необходима вся ширина руки. Для трех полутонов! Например, это...

Он играет три полутона.

...А если я захочу сыграть на одной струне снизу доверху...

Он это делает.

...тогда мне придется одиннадцать раз изменить свое положение. Чистой воды силовой спорт. Каждую струну вы должны прижимать, словно ненормальный, посмотрите только на мои пальцы. Вот! Ороговевшая кожа на кончиках пальцев, вы гляньте, и канавки на них, очень твердые. Этими пальцами я больше ничего не чувствую. Как-то я сжег себе эти пальцы и, в конце концов, я не почувствовал ничего, а заметил это лишь учуяв вонь от моей собственной ороговевшей кожи. Самоувечье. Ни у одного кузнеца нет таких концов пальцев. Вместе с этим мои руки можно назвать даже нежными. Совершенно не созданы для этого инструмента. В юности мне пришлось быть и тромбонистом. Поначалу в моей правой руке было недостаточно силы, необходимой для того, чтобы работать смычком, без которой вам не удастся извлечь ни звука из этого чертова ящика, не говоря уже о благозвучном. Это значит, что благозвучного звука вам не удастся извлечь вообще, потому что благозвучных звуков в нем просто нет. Это... ведь это не звуки, а это... — не хочу показаться вульгарным, но я мог бы сказать вам, что это... самое неблагозвучное в области звуков! Никто не может красиво играть на контрабасе, если употребить это слово в прямом

КОНТРАБАС

смысле. Никто. Даже величайшие солисты не могут, это связано с физикой, а не с умением, потому что контрабас не имеет этих обертонов, он их просто не имеет, и поэтому звучит он всегда ужасно, всегда, и поэтому сольная игра на контрабасе — это величайшая глупость, и даже если техника за сто пятьдесят лет становилась все более совершенной, если существуют концерты для контрабаса, и сольные сонаты, и сюиты, и если в конце концов может быть когда-нибудь появится кудесник и сыграет на контрабасе шансоны Баха или каприччио Паганини — это есть и будет ужасным, потому что тембр есть и будет ужасным. — Вот, а теперь я сыграю вам *то* стандартное произведение, самое прекрасное, что есть для контрабаса, в определенной степени коронный концерт для контрабаса, Карла Диттерса фон Диттерсдорфа, теперь слушайте внимательно...

Он играет первую фразу Концерта ми-мажор фон Диттерсдорфа.

...Вот. Вот так. Диттерсдорф, Концерт ми-мажор для контрабаса с оркестром. На самом деле его звали Диттерс. Карл Диттерс. Жил он с 1739 по 1799 годы. Наряду с этим он был главным лесничим. А теперь скажите мне абсолютно честно, было ли это красиво? Хотите ли вы еще раз послушать? Сейчас не с точки зрения работы композитора, а только звучания! Каденция? Вы хотите еще раз прослушать каденцию? Но каденция, это просто смешно! Все это вместе звучит просто плачевно! К тому же с этим связан один первый солист, я сейчас не хочу упоминать его имени, потому что он действительно здесь ни при чем. И еще Диттерсдорф — Боже мой, в то время люди были вынуждены писать подобное, приказ сверху. Он написал безумно много, Моцарт по сравнению с ним дерьмо, более ста симфоний, тридцать опер, целая куча фортепианных

сонат и другой подобной мелочи, и тридцать пять сольных концертов, среди которых один для контрабаса. Всего в литературе существует более пятидесяти концертов для контрабаса с оркестром, все они написаны малоизвестными композиторами. Или может вам известен Иоганн Шпергер? Или Доменико Драгонетти? Или Боттесини? Или Зимандль, или Куксевички, или Хотль, или Ванхал, или Отто Гайер, или Хоффмайстер, или Оттмар Клозе? Вы знаете кого-нибудь из них? Для контрабаса это имена. В основе своей все такие же люди, как и я. Контрабасисты, которые в порыве отчаяния стали композиторами. И соответственны этому и концерты. Потому что порядочный композитор не пишет для контрабаса, для этого у него слишком хороший вкус. А если он для контрабаса пишет, то это ради смеха. Есть маленький менуэт Моцарта, 344 — со смеху можно умереть! Или у Сен-Санса в «Маскараде зверей», номер пять: «Слон», для соло контрабаса с фортепиано, аллегretto, помпозо, продолжительностью в полторы минуты — со смеху умереть можно! Или в «Саломее» Рихарда Штрауса, пятифразовый пассаж для контрабаса, когда Саломея заглядывает в цистерну: Как черно там внизу! Наверное ужасно, жить в таком темном аду. Это, как могила... — Пятиголосый пассаж для контрабаса. Эффект, полный ужаса. У слушателей волосы встают дыбом. У исполнителей тоже. Пробирает смертельный страх! —

Нужно играть больше камерной музыки. Это может даже доставлять удовольствие. Но кто же возьмет меня в квинтет с моим контрабасом? Это не стоит свеч. Если им и понадобится, они его просто наймут. Точно так же в септете или октете. Но не меня. В Германии есть два, три басиста, которые играют все. Первый, потому что у него свое концертное агентство, другой, потому что он из Берлинской филармонии, а третий — профессор из Вены. Против этого наш брат поделаться не может ничего. А ведь

есть прекрасный Квинтет Дворжака. Или Яначека. Или Бетховен, октет. Или наверное даже Шуберт, Форелленквинтет. Знаете ли, это было бы высшим счастьем — это в смысле музыкально-карьерном. Произведение мечты для любого контрабасиста, Шуберт... Но теперь это уже далеко, очень далеко. Я всего лишь туттист. Это значит, что я сижу за третьим пультом. За первым пультом сидит наш солист, а рядом с ним второй солист; за вторым пультом исполнитель второй инструментальной партии и его второй номер; а лишь потом следуют туттисты. С качеством это связано меньше, это дело рассадки. Потому что оркестр, вам нужно это себе представить, есть и должен быть строго иерархичным строением, являющимся отражением человеческого общества. Не какого-то определенного человеческого общества, а человеческого общества как такового:

Над всем этим парит ГМД, Генеральный музыкальный директор, затем следует Первая скрипка, затем первая вторая скрипка, затем вторая первая скрипка, затем остальные первые и вторые скрипки, альты, виолончели, флейты, гобои, кларнеты, фаготы, духовые — и в самом конце контрабас. После нас следует только лишь литавра, но только лишь теоретически, потому что литавра одна и сидит на возвышенности, так чтобы ее могли видеть все. Кроме того, звук ее намного объемнее. Когда литавра ударит всего лишь раз, это слышат все до самого последнего ряда, и каждый знает, ага, литавра. Обо мне ни один человек не скажет, ага, контрабас, потому что я сижу вместе со всеми внизу. Поэтому литавра стоит практически над контрабасом. Хотя, строго говоря, литавра совершенно не является инструментом с ее четырьмя тонами. Но бывает и соло для литавры, например в Пятом концерте для фортепиано Бетховена, последняя фраза в конце. Тогда все, кто не смотрит на пианиста, смотрят на литавру, а в большом зале это добрых тысяча двести — тысяча пятьсот че-

ловец. Столько человек не посмотрят на меня за весь сезон.

Не подумайте, что я завистлив. Чувство зависти для меня чуждо, потому что я знаю, чего я стою. Но у меня обостренное чувство справедливости, а многое в музыке совершенно несправедливо. Солиста забрасывают аплодисментами, зрители сегодня считают наказанием, если им нельзя хлопать столько, сколько они хотят; овациями засыпают дирижера: дирижер минимум дважды пожимает руку капельмейстеру; иногда со своих мест поднимается весь оркестр... — Контрабасист даже не может как следует встать. Как контрабасист — извините за выражение — вы с любой точки зрения последнее дерьмо!

И поэтому я говорю, что оркестр — это отображение человеческого общества. Потому что здесь, как и там, те, кто безоговорочно выполняет самую дерьмовую работу, сверху донизу презираются всеми остальными. Это даже еще хуже, чем в обществе, в этом оркестре, потому что в обществе, здесь я имел бы — это теоретически — надежду, что когда-нибудь я поднимусь по иерархической лестнице на самый верх и однажды посмотрю с самой вершины пирамиды на этот сброд внизу... Надежда, говорю вам, у меня бы была...

Тише.

...Но в оркестре, здесь надежды нет никакой. Здесь господствует ужасная иерархия умения, кошмарная иерархия однажды принятого решения, отвратительная иерархия одаренности, непреложная, соответствующая природным законам, физическая иерархия колебаний и звуков, никогда не идите ни в какой оркестр!..

Он горько смеется.

Конечно бывали и перевероты, так называемые. Последний был примерно сто пятьдесят лет назад, из-за раскладки. Тогда Вебер посадил духовиков за струнниками, это была настоящая революция. Для контрабасов это не дало ничего, мы так и так сидим сзади, как тогда, так и сейчас. С конца века генерал-басов, примерно с 1750 года, мы сидим сзади. И так это и останется. И я не жалею. Я реалист и могу смириться с обстоятельствами. Я могу смириться с обстоятельствами. Я этому научился, Бог свидетель!...

Он вздыхает, и пьет, и восстанавливает силы.

...И я скажу больше! Как оркестровый музыкант — я консервативный человек, признаю такие ценности, как порядок, дисциплина, иерархия и руководящий принцип.— Пожалуйста, не поймите меня сейчас неправильно! У нас, немцев, при слове руководящий всегда возникает ассоциация с Адольфом Гитлером*. При этом Гитлер был в высшей степени вагнерианцем, а я отношусь к Вагнеру, как вы уже знаете, весьма прохладно. Вагнер как музыкант — сейчас с точки зрения ремесла — я бы сказал: ниже лучших. Любая партитура Вагнера изобилует невозможностями и ошибками. Этот человек сам даже не играл ни на одном инструменте, кроме как плохо на пианино. Профессиональный музыкант чувствует себя, играя Мендельсона, не говоря уже о Шуберте, в тысячу раз возвышеннее и лучше. Кстати, Мендельсон был, о чем говорит уже его имя, евреем. Да. Гитлер же, со своей стороны, в музыке, кроме Вагнера, понимал не больше, чем ничего, и сам никогда не мечтал быть музыкантом, а архитектором,

* Игра слов. Руководящий принцип по-немецки «Führerprinzip». Поэтому ассоциация возникает не со словом «руководящий», а со словом «Führer» (прим. пер.).

художником, проектировщиком городов и так далее. У него было еще столько самокритики, несмотря на всю его... необузданность. К национал-социализму музыканты все равно не были особо восприимчивы. Пожалуйста, несмотря на Фуртвенглера и Рихарда Штрауса и так далее, я знаю, случаи проблематичные, но таким людям было навешано больше, потому что они не были нацистами в настоящем смысле, никогда. Нацизм и музыка — это вы можете прочитать у Фуртвенглера,— это просто несовместимо. Никогда.

Конечно, в то время тоже писали музыку. Это совершенно ясно! Ведь музыка так просто не заканчивается! Наш Карл Бем, например, ведь он тоже в то время оказался в водовороте кровавых лет. Или Караян. Его даже с ликованием встречали французы в оккупированном Париже; с другой стороны, и заключенные в концлагерях имели свои оркестры, насколько мне известно. Точно так же, как и позднее наши военнопленные в их лагерях для военнопленных. Потому что музыка — это человеческое. По другую сторону от политики и современной истории. Нечто общечеловеческое, сказал бы я, слившийся с человеческой душой и человеческим духом постоянный элемент. И музыка будет всегда, и везде, на Востоке и на Западе, в Южной Африке точно так же, как в Скандинавии, в Бразилии точно так же, как в Архипелаге Гулаг. Потому что музыка вместе с этим метафизична. Вы понимаете, мета-физична, то есть за или по другую сторону чисто физического существования, по другую сторону времени, и истории, и политики, и нищеты, и богатства, и жизни, и смерти. Музыка — вечна. Гёте говорил: Музыка столь высока, что ни один разум не может к ней приблизиться, и от нее исходит такое воздействие, которое покоряет все и которого никто не в состоянии избежать.

С ним я могу лишь согласиться.

Последние фразы он произнес очень торжественно, после чего встал, несколько раз взволнованно прошел взад и вперед по комнате, задумавшись, наконец вернулся.

...Я даже пошел бы дальше, чем Гёте. Я бы сказал, что чем старше я становлюсь и чем глубже я проникаю в настоящую сущность музыки, тем яснее мне становится, что музыка есть величайшая тайна, мистерия, и что чем больше о ней знаешь, тем меньше в состоянии сказать еще что-либо значимое. Гёте же был, при всем моем уважении, которым он пользуется по сей день — и вполне справедливо, — говоря откровенно, человек не музыкальный. В первую очередь он был лириком и как таковой, если хотите, ритмиком и языкомелодистом. Но все это не то, что музыкант. Иначе объяснить его гротесковые ошибочные суждения о музыкантах просто нельзя. — Но относительно мистического он понимал очень много. Я не знаю. Знаете ли вы, что Гёте был пантеистом*? Возможно. А ведь пантеизм находится в тесной связи с музыкой, он является в определенной мере следствием мистического мировоззрения, как это происходит в таоизме и в индийской музыке и так далее, проходит сквозь все средневековье и эпоху Возрождения и так далее, а затем, кроме всего прочего далее проявилось в масонском движении 18 века. И к тому же Моцарт тоже был масоном, да будет это вам известно. Моцарт еще в молодые годы присоединился к движению масонов, как музыкант, действительно, и это, по-моему, — и ему самому это должно было быть совершенно ясным — доказательство моего тезиса, что для него, Моцарта, музыка, в конце концов, тоже была таинством и он мировоззренчески в свое время не мог этого бо-

* Пантеист — сторонник пантеизма, религиозно-философского учения, отождествляющего Бога с природой и рассматривающего природу отождествлением Божества (*прим. пер.*).

лее осмыслить. — Сейчас я не знаю, не будет ли это вам слишком сложным, потому что вам, возможно, не хватает для этого предпосылок. Но сам я уже на протяжении многих лет занимаюсь материей, и я скажу вам только одно: Моцарта — на этом фоне — слишком переоценивают. Как музыканта Моцарта *слишком* переоценивают. Нет, действительно, — я знаю, что сегодня это звучит не очень популярно, но я хочу сказать, как один из тех, кто многие годы занимается этой материей и в силу своей профессии это изучал — что Моцарт, в сравнении с сотнями своих современников, которые сегодня совершенно незаслуженно забыты, совершенно, можно сказать, сварен на воде, и именно потому, что он уже ребенком в столь раннем возрасте проявил свою одаренность и уже в восьмилетнем возрасте стал сочинять музыку, он уже в самое короткое время себя исчерпал и пришел к своему концу. И основная вина лежит на его отце, вот это и есть скандал. Я бы своему сыну, если бы он у меня был, не позволил бы, будь он в десять раз одареннее, чем Моцарт, ибо этого быть не должно, чтобы ребенок сочинял музыку; каждый ребенок сочиняет музыку, если вы направите его на это, словно обезьяну, но это не произведение искусства, а издевательство, изымательство над ребенком, и это запрещено сегодня со всем правом, ибо ребенок сегодня имеет право на свободу. И это одно. Другое же то, что в то время, когда Моцарт сочинял свою музыку, практически написано не было еще ничего. Бетховен, Шуберт, Шуман, Вебер, Шопен, Вагнер, Штраус, Леонкавалло, Брамс, Верди, Чайковский, Барток, Стравинский... — всех я перечислить не могу, как раньше... девяносто пять процентов музыки, которую наш брат сегодня усвоил или должен был усвоить, я промолчу, как профессионал, ее в то время просто еще не было! Она появилась лишь *после* Моцарта! Моцарт об этом не имел ни малейшего представления! — Единственный, да?, кто был в то время знаменит, единственный —

это был Бах, и он был совершенно забыт, потому что он был протестантом, которого лишь мы снова вернули из небытия. И поэтому положение Моцарта в то время было несравненно проще. Необремененный. Любой мог просто так прийти и беззаботно, свежо играть оттуда и сочинять музыку — практически все, что ему хотелось. Да и люди в то время были намного благодарнее. В то время я бы стал всемирно известным виртуозом. Но Моцарт никогда бы этого не допустил. В отличие от Гёте, который все-таки был более честным. Гёте всегда говорил, что это было его счастьем, что литература в его время была, так сказать, чистым листом. Это было его счастьем. Свинство, как говорится. А Моцарт никогда бы этого не сказал. И это я ставлю ему в упрек. Потому что я свободен в суждениях и всегда говорю правду в глаза, ибо меня такие вещи злят. И — это только между прочим — то, что Моцарт написал для контрабаса — это вы можете забыть; забыть до самого последнего акта «Дон Жуана»; ошибочное мнение. Достаточно о Моцарте. Сейчас я хочу выпить еще глоточек...

Он встает, спотыкается о контрабас и кричит.

...Да забрали бы тебя черти! Всегда ты прямо на дороге, дурак! — Не скажете ли вы мне, почему мужчина тридцати пяти лет, а именно я, живет вместе с инструментом, который ему постоянно мешает?! С человеческой стороны, с общественной, с транспортной, с сексуальной и с музыкальной *маш* мешает?! Ни разу на него не надавив?! Вы мне можете это объяснить!? — Извините, что я кричу. Но здесь я могу кричать столько, сколько мне вздумается. Этого не слышит никто, благодаря акустическим плиткам. Ни один человек меня не слышит... Но я еще разобью его, в один прекрасный день я его разобью...

Он отходит, чтобы принести себе еще пива.

Моцарт, увертюра к «Фигаро».

Конец музыки. Он снова возвращается на свое место. В то время, как он наливает себе пиво.

...Еще словечко по поводу эротики: Эта маленькая певица — великолепно. Она довольно маленькая и у нее совершенно черные глаза. Быть может, она еврейка. Мне это было бы совершенно безразлично. Во всяком случае ее зовут Сара. Для меня она стала бы прекрасной женой. Знаете ли, я никогда не смог бы влюбиться в виолончелистку, в альтистку тоже не смог бы. Хотя — это исходя из инструмента, — контрабас с альтом музыкально сочетаются идеально — «Sinfonia concertante» фон Диттерсдорфа. Тромбон тоже подходит. Или виолончель. С виолончелью мы все равно чаще всего играем в унисон. Но в человеческих отношениях это не подходит. Для меня не подходит. Как контрабасисту мне нужна женщина, которая представляет полную противоположность тому, чем являюсь я: легкость, музыкальность, красота, счастье, слава, и еще у нее должна быть грудь...

Я сходил в музыкальную библиотеку и посмотрел, есть ли что-нибудь для нас. Две целые арии для сопрано и обязательной партии контрабаса. Две арии! И конечно же снова этого абсолютно никому неизвестного Иоганна Шпергера, умершего в 1812 году. И еще нонет Баха, Кантата №152, но нонет — это почти что целый оркестр. Значит, остаются два произведения, которые мы смогли бы исполнить лишь вдвоем. Это конечно же для базиса недостаточно. Разрешите, я выпью.

А что же тогда необходимо сопранистке? Не будем же себя обманывать! Сопранистке необходим концертмейстер. Приличный пианист. А еще лучше дирижер. Режиссер тоже еще бы подошел. Даже технический директор

был бы для нее более полезным, чем контрабас.— Мне кажется, что у нее что-то было с нашим техническим директором. При этом этот человек чистейшей воды бюрократ. Совершенно далекий от музыки тип функционера. Жирный, похотливый, старый козел. Кроме того еще и голубой.— А может быть у нее все-таки с ним ничего и не было. Честно говоря, я этого не знаю. Наверное мне это было и все равно. С другой же стороны, меня это заедало. Потому что с женщиной, которая спит с нашим техническим директором, я бы в постель лечь не смог. Я никогда не смог бы ей этого простить. Но до этого нам еще далеко. Поскольку вопрос еще в том, сможем ли мы зайти столь далеко, ибо она практически со мной вообще не знакома. Я даже не думаю, что она вообще хоть раз меня когда-нибудь заметила. В музыкальном смысле это уж точно, чего ради? В крайнем случае, в столовой. Внешне я выгляжу не так плохо, как я играю. Но в столовой она появляется редко. Ее часто приглашают. Старшие певцы. Приезжающие на гастроли звезды. В дорогие рыбные рестораны. Однажды я это видел. Камбала там стоит пятьдесят две марки. Такие вещи я считаю отвратительными. Мне кажется отвратительным, когда молодая девушка с пятидесятилетним тенором, скажу откровенно — человек этот получает тридцать шесть тысяч за два вечера! Знаете ли вы, сколько зарабатываю я? Одну восьмую чистыми зарабатываю я. Когда мы записываем пластинки или я где-то подрабатываю, тогда я кое-что зарабатываю дополнительно. Но обычно я зарабатываю чистыми одну восьмую. Столько сегодня зарабатывает младший служащий в офисе или студент на подработках. А чему они учились? Ничему они не учились. Я же четыре года учился в консерватории: у профессора Краучника я учился композиции, а у профессора Ридерера гармонии; с утра у меня по три часа уходит на репетиции, а вечером четырехчасовые концерты, а когда я свободен, то и тогда я во всеоружии и рань-

ше двенадцати спать не ложусь, а время от времени я еще должен репетировать, черт бы побрал еще раз, если бы я не был настолько одаренным, что все считывал прямо с листа, то мне пришлось бы упорно работать по четырнадцать часов в сутки! —

Но я мог бы пойти в рыбный ресторан, если бы я захотел! И я бы выложил пятьдесят две марки за камбалу, если бы этому суждено было случиться. И я бы глазом не моргнул, потому что вы меня плохо знаете. Но я считаю это отвратительным! Кроме того, все эти господа женились через банк. — Пожалуйста, если бы она пришла ко мне — правда, она со мной не знакома — и сказала бы мне: Давай, мой дорогой, пойдем покушаем камбалу! — я бы ответил: Конечно же, мое сокровище, почему бы и нет; мы покушаем камбалу, моя драгоценная, пусть даже это стоит восемьдесят марок, мне на это наплевать. — Потому что по отношению к даме, которую я люблю, я кавалер, с головы до пят. Но это отвратительно, когда эта женщина идет куда-то с другими мужчинами. Я считаю это отвратительным! Женщина, которую я люблю! Она не должна ходить с другими мужчинами в рыбный ресторан! Вечер за вечером!.. Правда, она меня не знает, но... но это *единственное*, что может уменьшить ее вину! Когда она меня узнает... когда она потом со мной познакомится... это не вероятно, но... когда мы узнаем друг друга, тогда — она запомнит это на всю жизнь, это я могу обещать вам уже сейчас, я обещаю вам в письменном виде, потому что... потому что...

Неожиданно он срывается на крик.

...я не стану терпеть, что моя жена лишь потому, что она сопранистка и однажды будет петь Дорабеллу или Аиду, или Баттерфляй, а я всего лишь контрабасист! — что она... поэтому... ходит в рыбные рестораны... я не стану этого... извините... Простите... мне нужно что-то... пос-

КОНТРАБАС

кромнее... мне кажется... скромнее... — вы думаете, что я... для женщины... вообще слишком требовательный?..

Он подошел к проигрывателю и поставил какую-то пластинку.

...Ария Дорабеллы... из второго акта... «Cosi fan tutte»...

Когда начинает звучать музыка, он начинает тихонько всхлипывать.

Знаете, когда слышишь, как она поет, то не веришь, что это поет она. Правда, пока что ей достаются лишь небольшие партии — вторая девушка-цветочница в «Парсифале», в «Аиде» певица в храме, Бася из «Баттерфляй» и тому подобное — но когда она поет, и когда я слышу, как она поет, я скажу вам, честно, что у меня так сжимается сердце, что я никак не могу выразить это иначе. И после этого девушка идет с какой-то заезжей звездой в рыбный ресторан! Есть дары моря! В то время как мужчина, который ее любит, стоит в звукоизолированном помещении и думает только о ней, не имея в руках ничего, кроме этого бесформенного инструмента, на котором он не может сыграть ни одного, ни единого звука из тех, что она поет!..

Знаете, что мне нужно? Мне всегда нужна женщина, которую я не смогу получить. Но сколь маловероятно, что я ее получу, столь же мало мне нужен кто-нибудь другой.

Однажды я хотел повернуть ход событий, во время репетиции «Ариадны». Она пела Эхо, это немного, всего несколько тактов, и режиссер всего один раз отправил ее вперед к рампе. Оттуда она могла бы меня увидеть, если бы она посмотрела, и если бы она не заметила ГМД... Я себе подумал, что, если я сделаю сейчас что-либо такое, если я привлеку ее внимание... если я разобью контрабас

или проведу смычком по сидящей передо мной виолончели или просто мерзко сфальшивлю — в «Ариадне» она наверняка бы это услышала, потому что там играют всего два баса...

Но затем я оставил эту мысль. Сказать всегда намного проще, чем сделать. А вы не знаете нашего ГМД, который в каждом фальшивом звуке усматривает личное оскорбление. А потом это мне и самому показалось совсем детски, завязать с ней отношения при помощи фальшивой ноты... и вы знаете, если вы играете в оркестре, вместе с вашими коллегами, и вдруг нарочно, я бы сказал, с осознанным умыслом, сфальшивили бы... — то есть, я этого не могу. В конце концов я все же где-то честный музыкант, и я себе подумал: Если ты должен сфальшивить, чтобы она вообще тебя заметила, то лучше уж будет, если она тебя не заметит. Видите, вот такой я.

Поэтом я попробовал играть просто вызывающе красиво, насколько это возможно на моем инструменте. И я себе подумал, что мне это должно стать знаком: Если я буду ею замечен с моей прекрасной игрой, и если она посмотрит сюда, на меня посмотрит — то тогда она именно та, кто сможет стать для меня женой на всю жизнь, моей Сарой навечно. Но если она не посмотрит сюда — то тогда все кончено. Тю, столь суеверным становишься в делах любовных. — И она все-таки не посмотрела. Не успел я начать свою красивую игру, как она, в соответствии с замыслом режиссера, встала и снова ушла назад. А в остальном никто ничего так и не заметил. ГМД не заметил, и Хаффингер за первым басом прямо рядом со мной не заметил; даже он не заметил, как вызывающе прекрасно я играл...

Вы часто ходите в оперу? Представьте себе, что вы идете в оперу, сегодня вечером, ради меня, торжественная премьера «Рейнгольда». Более двух тысяч человек в вечерних платьях и темных костюмах. Пахнет свежевывы-

тыми женскими спинами, духами и дезодорантами. Черный шелк смокингов блестит, украшения блестят, бриллианты сверкают. В первом ряду Премьер-министр с семьей, члены Кабинета, иностранные знаменитости. В директорской ложе директор театра со своей женой и своей подругой с ее семьей и своими почетными гостями. В ложе ГМД сам ГМД с женой и почетными гостями. Все ждут Карло Мария Джулини, звезду вечера. Двери тихо закрываются, огромная люстра поднимается вверх, лампы гаснут, все пахнет и ждет. Появляется Джулини. Аплодисменты. Он кланяется. Его свежeweымытые волосы развеваются. Затем он поворачивается к оркестру, последний кашель, тишина. Он поднимает руки, ищет зрительный контакт с первой скрипкой, кивок, еще один взгляд, самый последний кашель...—

И тогда, в этот возвышенный момент, когда опера превращается во Вселенную, в тот момент начала Вселенной, тогда, когда все напряженно замирают в наивысшем ожидании, затаив дыхание, три Рейнские дочери уже, словно прибитые гвоздями, стоят за кулисами — именно тогда, из заднего ряда оркестра, оттуда, где стоят контрабасы, крик влюбленного сердца...

Он кричит.

...САРА!!!

Колоссальный эффект! — На следующий день это попадает в газету, я вылетаю из Государственного оркестра, иду к ней с букетом цветов, она открывает дверь, видит меня в первый раз, я стою перед ней, словно герой, я говорю: Я тот человек, который вас скомпрометировал, потому что я вас люблю,— мы падаем друг другу в объятия, соединение, блаженство, наивысшее счастье, мир вокруг нас исчезает. Аминь! —

Я конечно же пробовал выбить Сару из головы. Быть может, что по-человечески она недостаточно совершенна; по характеру абсолютный ноль; духовно безнадежно недалекая; до мужчины моего уровня вообще не доросла...

Но потом я слышу ее на каждой репетиции, этот голос, этот божественный орган.— Знаете, красивый голос уже сам по себе духовен, а женщина может быть глупой, и я считаю, что это самое ужасное в музыке.

И потом опять-таки эротика. Поле, которого не может избежать ни один человек. Я бы сказал это так: Когда она, Сара, поет, это так западает мне в душу, входит в мою плоть, что это почти сексуально — пожалуйста, не поймите меня сейчас неправильно. Но иногда я просыпаюсь посреди ночи — крича. Я кричу, потому что во сне я слышу, как она поет, Боже мой! Слава Богу, что у меня звуконепроницаемая отделка. Я обливаюсь потом, а потом снова засыпаю — и снова просыпаюсь от своего собственного крика. И так продолжается всю ночь: она поет, я кричу, засыпаю, она поет, я кричу, засыпаю и так далее... Это и есть сексуальность.

Но иногда — если мы уж коснулись этой темы,— она является ко мне и днем. Конечно же, лишь в моем сознании. Я... это звучит сейчас смешно... я тогда себе представляю, что она стоит передо мной, совсем рядом, так, как сейчас контрабас. И я не могу сдержаться, я должен ее обнять... так... а другой рукой вот так... как будто смычком... по ее ягодицам... или с другой стороны, как с контрабасом, сзади, и левой рукой к ее груди, как в третьей позиции на струне «соль»... сольно... сейчас немного трудно представить — и правой рукой с наружной стороны смычком, так, вниз, а потом так, и так, и так...

Он отчаянно и путанно хватается руками контрабас, затем оставляет его, обессиленно сидит в своем кресле и наливает пиво.

...Я ремесленник. В душе я ремесленник. Я не музыкант. Я наверняка не более музыкален, чем вы. Я люблю музыку. Я смогу определить, когда струна неправильно настроена, и могу определить разницу между полутоном и тоном. Но я не могу сыграть *ни одной* музыкальной фразы. Я не могу красиво сыграть ни единого звука... — а она только открывает свой рот, и все, что исходит из него, прекрасно. И пусть она делает тысячу ошибок, это все равно великолепно! И дело вовсе не в инструменте. Вы думаете, что Франц Шуберт начал свою 8 симфонию с инструмента, на котором нельзя сыграть красиво? Плохо же вы думаете о Шуберте! — Но я этого не могу. Все дело во мне.

Технически я сыграю вам все. Технически я получил великолепную подготовку. Технически, если я захочу, я сыграю вам любую сюиту Боттесини, а это Паганини контрабаса, и существует немного таких, которые могли бы их сыграть вместе со мной. Технически, если бы я действительно когда-нибудь репетировал, но я никогда не репетирую, потому что для меня в этом нет никакого смысла, потому что у меня здесь не хватает субстанции, потому что, если вам это не слишком мешает, понимаете, во внутреннем, в музыкальном — и я могу об этом судить, потому что не столь уж ее не хватает, для этого ее еще вполне достаточно — и в этом я отличаюсь от других полуживо, — я обладаю контролем над собой, я еще знаю, слава Богу, что я собой представляю и чего я собой не представляю, и если я в тридцать пять лет, будучи пожизненным служащим, сижу в Государственном оркестре, то я не такой уж бестолковый, чтобы, как некоторые другие, думать, что я гений! Гений в личине служащего! Непризнанный, обреченный до смерти оставаться служащим ге-

ПАТРИК ЗЮСКИНД

ний, который играет на контрабасе в Государственном оркестре...

Я мог бы учиться игре на скрипке, если уж об этом зашла речь, композиции или дирижерству. Но желания для этого мало. Одного желания достаточно лишь для того, чтобы я скрипел на инструменте, который я терпеть не могу, так, что другие просто не замечают, насколько я плохо играю. Зачем я это делаю? —

Он неожиданно начинает кричать.

...Почему *нет!*? Почему мне должно быть лучше, чем вам? Да, вам! Вы бухгалтер! Экспортный консультант! Фотолаборантка! Вы дипломированный юрист!...

В своем волнении он подошел к окну и распахнул его настежь. Внутрь врывается уличный шум.

...Или вы, как и я, принадлежите к привилегированному классу тех, кто может еще работать своими руками? Возможно, что вы как раз один из тех, что по восемь часов ежедневно дробите вон там отбойным молотком бетонный пол. Или один из тех, кто постоянно, в течение восьми часов, бросает мусорные бачки в мусоровоз, чтобы встрясти из них мусор. Соответствует *это* вашим талантам? Было бы задето ваше самолюбие тем, что кто-то забрасывает мусорный бачок в мусоровоз лучше, чем вы? И вы так же наполнены идеализмом и самоотверженной отдачей на вашей работе, как и я? Я нажимаю на четыре струны пальцами левой руки до тех пор, пока на них не выступает кровь; и я вожу по ним смычком из конского волоса до тех пор, пока правая рука не онемееет; и этим самым я произвожу тот звук, который необходимо производить, звук. Единственное, что отличает меня от вас, — я постоянно надеваю на работу фрак...

Он закрывает окно.

...А фрак, его выдают. Только к рубашке, о которой я должен позаботиться сам. И после этого мне приходится переодеваться.

Извините. Я разволновался. Я не собирался волноваться. Я не хотел вас обидеть. Каждый стоит на своем месте и делает то, что умеет. И не нас нужно спрашивать, как он туда попал, почему он остался там и...

Иногда у меня возникают действительно свинские мысли, извините. Только что, когда я представил перед собой Сару, как контрабас, ее, женщину моей мечты представил перед собой, словно контрабас. Ее, ангела, который в музыкальном смысле так далеко впереди от меня... парит... представить ее себе в виде дурацкого ящика от контрабаса, который я трогаю своими дурацкими ороговевшими пальцами и глажу своим вшивым дурацким смычком... Тьфу, черт, это свинские мысли, они пронзают меня с упоением, иногда, когда я думаю, неотвратимо подталкивая к действию. Когда я думаю, моя фантазия подхватывает меня, словно крылатый конь, и несет галопом.

— Мышление,— говорит один мой друг — он уже двадцать два года изучает философию и теперь имеет ученую степень,— мышление — это слишком сложная вещь, чтобы каждый мог себе позволить в нем дилетантствовать.— Он — мой друг — тоже не стал бы садиться и играть бешеную сонату для фортепиано. Потому что он этого не может. Но каждый полагает, что он способен думать, и думает необузданно, беспрерывно, сегодня это большая ошибка, говорит мой друг, и поэтому происходят эти катастрофы, которые нас погубят, всех сразу. И я говорю: Он прав. Большого я не скажу. Сейчас мне нужно переодеться.

ПАТРИК ЗЮСКИНД

Он отходит, берет свою одежду и, одеваясь, продолжает говорить.

Я — извините, что я сейчас говорю несколько громче, но когда я пью пиво, я всегда говорю громче,— я как член Государственного оркестра являюсь квази-служащим и как таковой никому неизвестен. У меня определено количество рабочих часов в неделю и пять недель отпуска. Страховка на случай болезни. Раз в два года автоматическая прибавка к жалованию. Затем пенсия. Я имею все гарантии...

Знаете — это иногда меня так пугает, я... я... я иногда боюсь выйти из дому, настолько я всем гарантирован. Когда у меня есть свободное время — а у меня много свободного времени, — я предпочитаю оставаться дома, из страха, как сейчас, как бы это вам объяснить? Это подавленность, кошмар, у меня просто безумный страх от этих гарантий, это словно клаустрофобия, психоз штатного служащего — именно с контрабасом. Потому что свободного баса не существует вообще. Где же? Будучи басом вы на всю жизнь делаетесь служащим. Даже наш ГМД не имеет всех этих гарантий. У нашего ГМД контракт на пять лет. И если ему его не продлят, тогда он вылетит. Как минимум, теоретически. Или директор. Директор всемогущ — но он может вылететь. Наш директор — сейчас пример,— если он поставит оперу Хенце, то он вылетит. Не сразу же, но наверняка. Потому что Хенце коммунист, а государственные театры созданы не для этого. Или если бы возникла политическая интрига...

Но я не вылечу никогда. Я могу играть и пропускать все, что я хочу, я не вылечу. Хорошо, вы можете сказать, это спасает меня от риска; такое существовало всегда; музыкант оркестра всегда был в штате; сегодня — как государственный служащий, двести лет назад — как придворный служащий. Но тогда, по крайней мере, мог умереть

какой-нибудь князь, и тогда могло случиться, что придворный оркестр распускали, теоретически. Сегодня же это совершенно невозможно. Исключено. Здесь может произойти все, что угодно. Даже во время войны — я знаю это от старших коллег,— падали бомбы, все было разрушено, город, он лежал в руинах и пепле, опера горела, как свечка — но в подвале сидел Государственный оркестр, репетиция утром, в девять часов. От этого просто впадаешь в отчаяние. Конечно же я могу уволиться. Конечно. Я могу прийти и могу сказать: Я увольняюсь. Это было бы необычно. Так поступали очень немногие. Но я смог бы это сделать, все было бы по закону. И я стал бы свободным... Да, а потом!? Что я буду делать потом? Тогда я окажусь на улице...

Можно впасть в отчаяние. Обнищание. Так — или так...

Пауза. Он успокаивается. Продолжает шепотом.

...Если, конечно, сегодня вечером я не сорву спектакль и не крикну Саре. Это было бы подобно поступку Герострата. Перед лицом Премьер-министра. К ее славе и моему увольнению. Наверное, такого не бывало никогда. Вопль контрабаса. Может быть, возникнет паника. Или телохранитель Премьер-министра меня застрелит. По ошибке. Благодаря своей моментальной реакции. Или по ошибке застрелит гастролирующего дирижера. В любом случае, что-то да случится. Моя жизнь в корне изменится. Это стало бы переломным этапом в моей биографии. И даже если я не добьюсь этим Сары, она меня никогда не забудет. Я стану постоянным анекдотом на всю ее жизнь, на всю жизнь. Такова будет цена этого крика. И я бы вылетел... вылетел... как и директор.

ПАТРИК ЗЮСКИНД

Он садится на место, берет пиво и делает большой глоток.

Может быть я действительно это сделаю. Может быть я сейчас пойду туда так, как я есть, встану и издам этот крик... Господа!..— Другая возможность — это камерная музыка. Быть прилежным, быть старательным, тренироваться, много терпения, первый басист в каком-нибудь оркестре си-бемоль, маленькое объединение камерной музыки, октет, пластинка, быть надежным, гибким, сделать себе небольшое имя, со всей скромностью, и созреть до Форелленквинтета.—

Когда Шуберту было столько лет, сколько мне, то он уже три года, как умер.

Мне нужно уже идти. В половине восьмого начало. Я поставлю вам еще одну пластинку. Шуберт, квинтет для фортепиано, скрипки, альты, виолончели и контрабаса ля-мажор, написанный в 1819 году, в возрасте двадцати двух лет, по заказу какого-то директора шахты из Штирии...

Он ставит пластинку.

...А теперь я пойду. Я пойду в оперу и закричу. Если у меня хватит смелости. Вы сможете прочитать об этом завтра в газете. До свидания.

Его шаги удаляются. Он выходит из комнаты, щелкает замок входной двери. В этот момент начинает звучать музыка: Шуберт, Форелленквинтет, 1 часть.



История господина
Зоммера



В те времена, когда я еще лазил по деревьям — давно-давно это было, годы и десятилетия назад,— был я чуть выше одного метра ростом, носил обувь двадцать восьмого размера и был таким легким, что мог летать — нет, я не вру, я на самом деле мог бы летать — или, по крайней мере, почти мог, или скажем лучше: в то время летать действительно было в моей власти, если бы я на самом деле очень твердо этого захотел или попытался бы это сделать, потому что... потому что я точно помню, что один раз я чуть не полетел, а было это однажды осенью, в тот самый год, когда я пошел в школу и возвращался однажды из школы домой, в то время как дул такой сильный ветер, что я, не расставляя рук, мог опереться на него под таким же углом, как прыгун на лыжах, даже еще под большим углом, не боясь упасть... и когда я затем побежал против ветра, по лугу вниз со школьной горы — ибо школа находилась на небольшой горе за деревней — и слегка оттолкнулся от земли и расставил руки, ветер тут же подхватил меня и я смог без всякого труда совершать прыжки в два-три метра в высоту и в десять-двенадцать метров в длину — а может и не такие длинные, и не такие высокие, какое это имеет значение! — во всяком случае я *почти* летел, и если бы я только расстегнул мое пальто и взял бы в руки обе его полы и расставил бы их, как крылья, то ветер бы окон-

чательно поднял меня в воздух и я бы с абсолютной легкостью спланировал бы со школьной горы над долиной к лесу, а затем над лесом вниз к озеру, у которого стоял наш дом, где к безграничному удивлению моего отца, моей матери, моей сестры и моего брата, которые были уже слишком стары и слишком тяжелы для того, чтобы летать, заложил бы высоко над садом элегантный разворот, чтобы затем проскользнуть в обратном направлении над озером, почти достигнув противоположного берега, и, наконец, неторопливо проплыть по воздуху и все еще вовремя попасть домой к обеду.

Но я не расстегнул пальто и не взлетел на самом деле. Не потому, что я боялся полететь, а потому что я не знал, как и где, и смог ли бы я вообще снова приземлиться. Терраса перед нашим домом была для посадки слишком твердой, сад слишком маленьким, вода в озере слишком холодной. Взлететь — с этим проблем не было. Но как можно было спуститься назад?

С лазаньем по деревьям было точно так же: взобраться наверх составляло минимальную трудность. Я видел ветки перед собой, я чувствовал их в руках и мог проверить их крепость еще до того, как подтягивался на них и затем ставил на них ногу. Но когда я спускался вниз, я не видел ничего и был вынужден в большей или меньшей степени вслепую нащупывать ногой растущие ниже ветки, пока не находил твердую опору, а зачастую опора эта была весьма не твердой, а трухлявой или скользкой, и тогда я соскальзывал или проваливался, и если я тогда не успевал схватиться обеими руками за какую-нибудь ветку, я падал, подобно камню, на землю, в соответствии с так называемыми законами падения, которые уже почти четыреста лет назад открыл итальянский исследователь Галилео Галилей и которые еще действуют и сегодня.

Мое самое неудачное падение произошло в тот же мой первый школьный год. Оно произошло почти с четы-

ИСТОРИЯ ГОСПОДИНА ЗОММЕРА

рехполовинойметровой высоты с белой ели, совершилось в абсолютном соответствии с первым законом падения Галилея, который гласит, что расстояние падения равно половине величины земного притяжения, умноженного на время в квадрате ($s = 1/2g \times t^2$), и продолжалось вследствие этого ровно 0,9578262 секунды. Это чрезвычайно короткое время. Оно короче чем время, которое необходимо для того, чтобы сосчитать от двадцати одного до двадцати двух, да даже короче чем время, которое необходимо для того, чтобы аккуратно произнести это самое число «двадцать два»! Дело произошло со столь огромной скоростью, что я не смог ни расставить руки, ни растегнуть пальто и использовать его как парашют, что мне даже не пришла в голову спасительная мысль, что мне ведь совершенно не нужно падать, потому что ведь я мог летать — я совершенно не мог ни о чем думать в эти 0,9578262 секунды, и не успел я вообще сообразить, *что* я падаю, как грохнулся на лесную почву уже в соответствии со вторым законом падения Галилея ($v = g \times t$) с конечной скоростью более 33 километров в час, и причем так сильно, что сломал затылком сук толщиной с руку. Сила, которая была причиной этого, называется силой тяжести. Она не только связывает все внутри мира, но и имеет хитрое свойство, притягивать к себе все, будь то большое или еще маленькое, с грубой силой, и лишь пока мы покоимся в материнском чреве или скользим, ныряя, под водой, мы явно освобождаемся от ее оков. Вместе с этим элементарным пониманием от этого падения у меня осталась шишка. Она исчезла уже через пару недель, но с годами я стал чувствовать на том же самом месте, где когда-то была шишка, странные зуд и биение тогда, когда менялась погода, особенно перед тем, как начинал идти снег. И сегодня, почти сорок лет спустя, мой затылок служит мне надежным барометром, и я могу точнее, чем служба погоды, сказать, пойдет ли завтра дождь или снег, будет ли

светить солнце или поднимется буря. Я еще думаю, что определенное замешательство и несосредоточенность, которыми я страдаю в последнее время, являются поздними последствиями падения с той белой ели. Так, например, мне все труднее и труднее удается не уходить от темы, четко и коротко формулировать какую-то мысль, и если я рассказываю какую-нибудь историю наподобие этой, мне приходится прилагать адские усилия, чтобы не потерять нить повествования, иначе я от сотенных перейду к тысячным, и в конце я уже не знаю, о чем я вообще начинал говорить.

Итак, в те времена, когда я еще лазил по деревьям, — а лазил я много и хорошо, и не всегда я только падал! — я мог даже лазить на деревья, у которых внизу не было веток и по которым вследствие этого нужно было взбираться по гладкому стволу, и я мог еще перелазить с одного дерева на другое, и я строил себе на деревьях площадки, множество, а однажды построил себе на дереве настоящий дом, с крышей и окнами, с ковровым полом, посреди леса, на высоте в десять метров — ах, мне кажется, что большую часть времени в своем детстве я провел на деревьях: я ел, и читал, и писал, и спал на деревьях, я учил там английские слова и латинские неправильные глаголы, и математические формулы, и физические законы, как, например, уже упоминавшиеся законы падения Галилео Галилея, — все на деревьях; я делал на деревьях мои домашние задания, устные и письменные, и с пристрастием я писал с деревьев вниз, высокой дугой с шелестом сквозь иглы и листву.

На деревьях было спокойно, и никто этого покоя не нарушал. Никакие отвлекающие крики матери, никакие солдафонские приказы старшего брата сюда не доносились, здесь были только ветер и шелест листвы, и нежный скрип стволов... и вид, великолепный вид. Я мог смотреть не только поверх нашего дома и сада, я мог видеть поверх

ИСТОРИЯ ГОСПОДИНА ЗОММЕРА

других домов и садов, через озеро и через равнину за ним до самых гор, и когда вечером солнце садилось, я мог сверху, с моего наблюдательного пункта на дереве видеть даже солнце, уже зашедшее за горы, когда для людей внизу, на земле, оно уже давно село. Это было почти то же, что летать. Может быть, не так захватывающе и не так элегантно, но все же хороший заменитель полетов, особенно когда я постепенно становился старше, метр восемнадцать ростом и весил двадцать три килограмма, и был уже слишком тяжелым для того, чтобы летать, даже если бы вдруг подул настоящий ураган и я расстегнул бы свое пальто и распахнул бы его во всю ширь. Но лазить по деревьям... — так думал я тогда — я мог бы лазить всю жизнь. Даже если бы мне было уже сто двадцать лет и был бы я уже дряхлым трясущимся стариком, я бы сидел там наверху, на верхушке вяза, бука, ели, как старая обезьяна, покачиваясь тихонько на ветру, глядя поверх долины и поверх озера, доставая взором за самые горы...

Но что я тут рассказываю о полетах и о лазанье по деревьям! Болтаю о законах падения Галилео Галилея и о шишке-барометре на моем затылке, которая вводит меня в конфуз! Ведь я хочу рассказать что-то совершенно другое, а именно историю господина Зоммера — насколько это вообще возможно, ибо на самом деле не было никакой настоящей истории, а был только лишь этот странный человек, чей жизненный путь — или, может быть, правильнее стоит сказать: чей прогулочный путь? — переплелся несколько раз с моим. Но лучше всего, если я все-таки еще раз начну с самого начала.

В то время, когда я еще лазил по деревьям, в нашей деревне жил... — или, скорее, не в нашей деревне, не в Унтернзее*, а в соседней деревне, в Обернзее**, но это нель-

* Unternsee (нем.) — Нижнее озеро (прим. пер.).

** Obernsee (нем.) — Верхнее озеро (прим. пер.).

зя было разграничить четко, потому что Обернзее и Унтернзее и все остальные деревни не имели какой-то строгой границы, а чередовались друг за другом вдоль берега озера, не имея видимого начала или конца, как узкая цепь садов и домов, и дворов, и лодочных будок... В общем, в этой местности, меньше чем в двух километрах от нашего дома, жил человек по имени «господин Зоммер». Никому не было ведомо, как звали господина Зоммера по имени, Петер ли, или Пауль, или Хайнрих, или Франц-Ксавер, был ли он доктором Зоммером, или профессором доктором Зоммером — его знали только лишь и единственно под именем «господин Зоммер». Кроме того, ни одна душа не ведала, какой работой занимался господин Зоммер, была ли у него какая-нибудь профессия и имел ли он ее когда-либо вообще. Было известно лишь то, что *госпожа* Зоммер имела профессию, которой занималась, а именно профессию кукольника. Изо дня в день сидела она в квартире Зоммеров, в полуподвале дома мастера малярного цеха Штангльмайера, и мастерила там из шерсти, ткани и опилок маленькие детские куклы, которые она один раз в неделю, запакованные в большой сверток, относила на почту. На обратном пути с почты она по очереди заходила к лавочнику, к булочнику, к мяснику и к зеленщику, возвращалась домой с четырьмя туго набитыми сумками, не выходила из квартиры всю следующую неделю и мастерила новые куклы. Откуда появились Зоммеры, известно не было. Они просто когда-то однажды появились — она на автобусе, он пешком, — и с тех пор они просто были. У них не было детей, не было родственников, и к ним никто и никогда не приходил в гости.

Хотя о Зоммерах, а особенно о господине Зоммере, знали не больше, чем ничего, можно с полным правом утверждать, что господин Зоммер в то время был самым известным человеком во всем районе. В округе как минимум шестидесяти километров вокруг всего озера не было

ИСТОРИЯ ГОСПОДИНА ЗОММЕРА

человека, мужчины ли, женщины ли или ребенка — не было даже собаки, — которые не знали бы господина Зоммера, потому что господин Зоммер все время был в пути. С раннего утра до позднего вечера господин Зоммер куда-то носился. Не было в году ни дня, который господин Зоммер не проводил бы на ногах. Шел ли снег или падал град, бушевала ли буря или лило как из ведра, палило ли солнце или поднимался ураган — господин Зоммер был в пути. Зачастую он выходил из дома до восхода солнца, как рассказывали рыбаки, которые выезжали на озеро в четыре часа утра, чтобы вытащить свои сети, и зачастую он возвращался домой уже поздно ночью, когда луна стояла высоко в небе. Сделать в течение дня круг вокруг озера, что составляло примерно расстояние в сорок километров, не было для господина Зоммера чем-то особенным. Два или три раза в день пешком в районный город и обратно, десять километров туда, десять километров обратно — для господина Зоммера никакой проблемы! Когда мы детьми, по утрам, полусонные, шагали в школу, нам навстречу, свежий и бодрый, шел господин Зоммер, который был уже в пути не один час; шли мы в обед усталые и голодные домой, нас молодцеватым шагом обгонял господин Зоммер; а когда я вечером того же дня смотрел, собираясь идти спать, в окно, зачастую случалось, что внизу, на улице у озера, я видел тень высокой, худой фигуры господина Зоммера.

Узнать его было легко. Даже на расстоянии невозможно было его ни с кем спутать. Зимой он носил длинное черное, чрезвычайно широкое и удивительно твердое пальто, которое при каждом шаге подпрыгивало, словно слишком большая оболочка вокруг его тела, резиновые сапоги и одетый на лысину берет с помпоном. Летом же — а лето продолжалось для господина Зоммера* с на-

* Sommer (нем.) — лето (прим. пер.).

ПАТРИК ЗЮСКИНД

чала марта по конец октября, то есть большую часть года, — господин Зоммер носил плоскую соломенную шляпу с черной матерчатой лентой, полотняную рубашку карамельного цвета и короткие, карамельного цвета, штаны, из которых забавно торчали его тощие, длинные, твердые, состоявшие почти лишь из одних сухожилий и раздувшихся вен ноги, переходящие ниже в пару неуклюжих горных сапог. В марте эти ноги были ослепительно белыми, и вены отчетливо виднелись на них запутанной, чернильно-синей системой рек; но уже через несколько недель они принимали медовую окраску, в июле они светились карамельным цветом, как рубашка и штаны, а к осени они настолько выдубливались до темно-коричневого цвета солнцем, ветром и дождем, что на них нельзя было различить ни вен, ни сухожилий, ни мышц; а ноги господина Зоммера выглядели словно суковатые отростки старой, лишенной коры сосны до тех пор, пока они не исчезали в ноябре под длинными штанами и под длинным черным пальто, скрытые от всех взглядов до следующей весны, когда они снова показывались в своем первозданном молочном сиянии.

Две вещи были у господина Зоммера с собой как летом, так и зимой, и ни один человек не видел его без них: одной из них была его палка, другой был его рюкзак. Палка его не была обычной палкой, с которой гуляют, а была длинной, слегка кривой жердью, достающей господину Зоммеру до плеч, служащей ему своего рода третьей ногой, без помощи которой он никогда не смог бы достигнуть столь необычной скорости и не смог бы преодолевать столь немыслимые расстояния, намного превосходившие отрезки, которые мог осилить нормальный пешеход. Каждые три шага господин Зоммер с силой выталкивал палку правой рукой вперед, упирал ее в землю и изо всех сил подтягивался на ней на ходу вперед так, что это выглядело, будто его собственные ноги служили ему

ИСТОРИЯ ГОСПОДИНА ЗОММЕРА

только для скольжения, в то время как настоящий толчок порождался силой правой руки, которая при помощи палки переносилась на землю — подобно некоторым лодочникам на реках, которые толкают свои плоские челноки по воде при помощи длинных палок. Но рюкзак всегда был пустым или почти пустым, потому что в нем, насколько это было известно, не было ничего больше, кроме бутерброда господина Зоммера и его сложенной резиновой накидки до бедер, с капюшоном, которую господин Зоммер одевал, когда его в пути застигал дождь.

Но куда вели его пути? Какова была цель его бесконечных хождений? Ради чего и зачем носился господин Зоммер торопливым шагом по окрестностям по двенадцать, четырнадцать, шестнадцать часов в сутки? Этого никто не знал.

Вскоре после войны, когда Зоммеры поселились в деревне, эти походы еще никому особенно в глаза не бросались, потому что тогда все люди ходили с рюкзаками по дорогам. Не было ни бензина, ни автомобилей, и только один раз в день приезжал автобус, нечем было топить, нечего было есть, и чтобы достать где-то несколько яиц, или муку, или картошку, или килограмм брикета*, или даже только писчую бумагу, или лезвия для бритвы приходилось зачастую совершать многочасовые переходы и затем тащить раздобытое домой на тачках или в рюкзаках. Но уже через несколько лет все снова можно было купить в деревне, стали привозить уголь, автобус курсировал уже пять раз в день. И уже через несколько лет у мясника снова появился собственный автомобиль, а потом у бургомистра, а потом и у зубного врача, а мастер малярного цеха Штангльмайер ездил на мотоцикле, а его сын на мопеде, автобус все еще курсировал три раза в день, и никому теперь не могло прийти в голову идти четыре часа

* Имеется в виду брикет для отопления (прим. пер.).

пешком в районный центр, если возникала необходимость сделать там покупки или получить новый паспорт. Никому, кроме господина Зоммера. Господин Зоммер по-прежнему ходил пешком. Рано утром он застегивал ляжки рюкзака на плечах, брал в руки свою палку и уходил торопливым шагом, через поля и луга, по большим и малым дорогам, сквозь леса и вокруг озера, в город и обратно, от деревни к деревне... до позднего вечера.

Но самым странным было то, что он никогда не делал каких бы то ни было покупок. Он ничего не выносил и ничего не покупал. Его рюкзак был и оставался пустым, за исключением бутерброда и накидки. Он не ходил на почту и не ходил в районную управу, все это он оставлял своей жене. Кроме того, он ни к кому не заходил и нигде не останавливался. Когда он отправлялся в город, то никуда не заворачивал, чтобы что-то поесть или хотя бы выпить стаканчик, он даже ни разу не присел на скамейку, чтобы несколько минут передохнуть, а просто на ходу поворачивал и снова торопился домой или куда-нибудь еще. Когда его спрашивали: Откуда вы идете, господин Зоммер? — или — Куда вы идете? — он раздраженно покачивал головой, как будто ему на нос садилась муха, и бормотал что-то невнятное, что нельзя было понять вообще или понималось отчасти, и это звучало примерно так: ...какразоченьспешусейчассверхнашкольнуюогору... быстропройтивокругозера... ещесегодняпрямосейчасобязательнопопастьвгород... оченьспешуоченьпрямосейчассовершеннонетвремени... — и еще до того, как можно было успеть спросить: Что? Извините, не расслышал. Куда? — он уже ускользал прочь, усиленно шкрябая своей палкой.

Один единственный раз я услышал от господина Зоммера целую фразу, ясно, четко произнесенную фразу, смысл которой нельзя было не понять, которую я не забуду никогда и которая по сей день звучит у меня в ушах. Это случилось воскресным днем, в конце июля, во время

ИСТОРИЯ ГОСПОДИНА ЗОММЕРА

ужасной грозы. Тот день, залитый солнцем, с совершенно безоблачным небом, начался прекрасно, и к обеду было все еще так жарко, что больше всего хотелось непрерывно пить холодный чай с лимоном. Мой отец взял меня с собой на скачки, как это часто случалось по воскресеньям, потому что он ходил на скачки каждое воскресенье. В общем-то, не для того, чтобы делать ставки — я хотел упомянуть об этом между прочим, — а просто из любви к предмету. Он был, хотя сам ни разу в жизни не сидел на лошади, страстным любителем лошадей и их знатоком. Он мог, например, наизусть назвать всех немецких победителей дерби с 1869 года по годам и в обратном порядке и даже основных победителей английских дерби, и французского Prix de l'Arc de Triomphe с 1910 года. Он знал, какая лошадь любит рыхлую, а какая сухую почву, почему старые лошади берут барьеры, а молодые никогда не бегут больше 1600 метров, сколько фунтов весил жокей и почему жена владельца заплела вокруг своей шляпки ленту красно-зелено-золотистых цветов. Его библиотека, посвященная лошадям, насчитывала свыше пятисот томов, и в конце своей жизни он даже стал владельцем собственной лошади — скорее половины, — которую он к ужасу моей матери приобрел по цене в шесть тысяч марок, чтобы та участвовала в скачках под его цветами — но это совершенно другая история, которую я собираюсь рассказать в другой раз.

Итак, мы были на скачках, и когда день уже стал катиться к закату и мы ехали домой, было все еще жарко, даже еще более жарко и более душно, чем в обед, но небо уже затягивалось тонким слоем дымки. На западе появились свинцово-серые тучи с гнойно-желтыми краями. Через какие-то четверть часа мой отец был вынужден включить фары, потому что тучи нависали уже так, что завесили весь горизонт, словно занавес, и отбрасывали на землю мрачные тени. Затем с холмов сорвались несколько поры-

вов шквального ветра и широкими полосами упали на хлебные поля, и казалось, что кто-то эти хлебные поля причесывает, а деревья и кустарники от этого испугались. Почти одновременно с этим начался дождь, нет, еще не дождь, а сначала стали падать отдельные большие капли, такие толстые, как виноградины, которые то здесь, то там с силой шлепались на асфальт и разбивались о радиатор и о ветровое стекло. И тут разразилась гроза. Газеты позднее писали, что это была самая сильная гроза в нашей местности за последние двадцать два года. Так ли это на самом деле, я не знаю, потому что в то время мне было всего семь лет, но я наверняка знаю, что такую грозу второй раз в жизни мне переживать не приходилось, тем более в машине, на безлюдном шоссе. Вода падала уже не каплями, она лилась с неба сплошным потоком. За несколько минут дорога оказалась залитой. Машина пахала по воде, по обеим сторонам вздымались фонтаны, они стояли, словно стены из воды, и через ветровое стекло было видно, как сквозь быстро текущую воду, хотя стеклоочистители торопливо бились в одну и в другую стороны.

Но гроза стала еще ужаснее. Чем дальше, тем больше дождь переходил в град, это было слышно еще до того, как стало видно, по изменению шума дождя, переходящего в жесткий, громкий треск, и это чувствовалось по морозному холоду, проникавшему теперь в машину. Наконец можно было уже видеть градины, сначала маленькие, как булавочные головки, но затем увеличивающиеся до размера с горошину, с шарик для игры в бабки, и наконец по крышке радиатора забарабанили несметные рои гладких белых шариков, снова отскакивая от ее поверхности, в такой дикой, бурлящей неразберихе, что от этого просто могла закружиться голова. Было совершенно невозможно проехать дальше и метра, мой отец остановился у обочины — ах, как это я сказал об обочине, если не было видно уже даже самой дороги, а еще меньше была видна ее обо-

ИСТОРИЯ ГОСПОДИНА ЗОММЕРА

чина или поле, или дерево, или еще что бы то ни было, ибо было невозможно увидеть ничего дальше двух метров, а в этих двух метрах не было видно ничего, кроме миллионов ледяных бильярдных шаров, заполнивших все вокруг и барабанивших по машине с ужасным шумом. Внутри машины стоял такой грохот, что мы даже не могли друг с другом разговаривать. Мы сидели, словно в барабане огромной литавры, по которой некий великан бьет барабанными палочками, и мы лишь смотрели друг на друга и мерзли, и молчали, и надеялись, что наш спасительный корпус не будет разнесен в щепки.

Через две минуты все закончилось. Внезапно град прекратился, ветер утих. И только мелкий, спокойный, морозящий дождь продолжал падать с неба. Хлебное поле рядом с дорогой, по которому чуть ранее прошелся шквал, лежало, словно растоптанное. От бывшего кукурузного поля чуть в отдалении остались стоять лишь голые стебли. Сама же дорога выглядела так, словно на нее специально набросали мусор. Насколько хватало глаз — сбитые листья, ветки, колосья. И в самом конце дороги сквозь нежную дымку морозящего дождя я увидел фигуру человека, который куда-то шел. Я сказал об этом отцу, и мы оба стали смотреть на далекую маленькую фигурку, и нам показалось просто чудом, что какой-то человек может ходить там на открытой местности, что после такого убийственного града вообще еще что-то стояло на ногах, когда все вокруг лежало на земле поломанное и разметанное. Мы двинулись вперед под шуршание слоя градин. Когда мы приблизились к фигуре, я узнал короткие штаны, длинные, узловатые, блестящие от воды ноги, черную резиновую накидку, на которой дрябло висел рюкзак, сутловую походку господина Зоммера.

Мы его догнали, отец сказал мне опустить окно — воздух снаружи оказался холодным, как лед.

ПАТРИК ЗЮСКИНД

— Господин Зоммер! — крикнул он в окно, — садитесь в машину! Мы вас подвезем!

Я перебрался на заднее сиденье, чтобы освободить ему место. Но господин Зоммер ничего не ответил. Он даже не остановился. Даже не удостоил нас взглядом. Торопливыми шагами, отгалкиваясь своей ореховой палкой, он шел дальше по усыпанной градом дороге. Отец поехал за ним.

— Господин Зоммер — крикнул он в открытое окно, — так садитесь же в машину! При такой-то погоде! Я доведу вас домой!

Но господин Зоммер никак не отреагировал. Он неутомимо шагал дальше. Мне даже показалось, что у него слегка пошевелились губы и он пробурчал себе под нос один из своих невразумительных ответов. Но я ничего не услышал и поэтому возможно, что это просто его губы дрожали от холода. Тогда отец свернул направо и открыл, продолжая ехать вплотную к господину Зоммеру, правую дверь, крикнув в нее:

— Так садитесь же, черт бы вас побрал! Вы же совершенно промокли! Вы же накличете на себя смерть!

В общем-то выражение «Вы накличете на себя смерть» было совершенно нетипичным для моего отца. Я еще никогда не слышал, чтобы он кому-нибудь всерьез говорил: «Вы накличете на себя смерть!»

— Это выражение просто стереотип, — старался он объяснить, когда где-то слышал и вычитывал выражение «Вы накличете на себя смерть». — А стереотип — запомните это раз и навсегда! — это выражение, которое так часто слетает с уст всякого сброда, что оно в конце концов уже ничего не значит. Это точно так же, — продолжал он, потому что здесь он попадал на своего конька, — это точно так же глупо и ничего не значаще, как когда слышишь фразу: «Выпейте чашку чая, моя дорогая, это вам поможет!» — или — «Как дела у нашего больного, господин

ИСТОРИЯ ГОСПОДИНА ЗОММЕРА

доктор? Вы думаете, он выкарабкается?» — Такие фразы берутся не из жизни, а из плохих романов и из дурацких американских фильмов, и поэтому — запомните это раз и навсегда! — я никогда не хочу слышать их от вас!

Так высказывался мой отец по поводу фраз, типа «Вы накличете на себя смерть». Но тогда, под морозящим дождем, на покрытой градинами полевой дороге, двигаясь рядом с господином Зоммером, мой отец выкрикнул в открытую дверцу машины точно такой же стереотип: «Вы накличете на себя смерть!» И тут господин Зоммер остановился. Мне кажется, он остановился и замер именно при словах «накличете смерть» и причем так резко, что отец должен был тут же затормозить, чтобы не проехать мимо него. И тогда господин Зоммер взял ореховую палку из правой руки в левую, повернулся в нашу сторону и с какой-то своеобразной торопливо-отчаянной жестикующей, громким и ясным голосом изрек фразу: «Так оставьте же меня в конце концов в покое!» Больше он не сказал ничего. Лишь только эту фразу. С этими словами он захлопнул открытую для него дверцу, переложил палку в правую руку и зашагал дальше, не глядя больше по сторонам и не оглядываясь.

— Этот человек совершенно не в своем уме,— сказал отец.

Когда мы его обгоняли, я смог через заднее стекло посмотреть в его лицо. Он опустил взор в землю и поднимал голову через каждые несколько шагов, чтобы на какое-то мгновение посмотреть вперед широко открытыми, как будто полными ужаса глазами и убедиться в правильности направления. Вода стекала по его щекам, она капала с носа и подбородка. Рот его был слегка приоткрыт. И мне снова показалось, что его губы пошевелились. Может быть, он, когда шел, разговаривал сам с собой.

ПАТРИК ЗЮСКИНД

— Этот господин Зоммер страдает клаустрофобией,— сказала моя мать, когда мы все сидели за ужином и говорили о грозе и случае с господином Зоммером.— У этого человека тяжелая клаустрофобия, и это такая болезнь, при которой больной не может больше спокойно сидеть даже в своей комнате.

— По сути говоря, клаустрофобия означает...— сказал мой отец.

—...что больной не может сидеть в своей комнате,— сказала моя мать.— Мне это очень подробно рассказал доктор Лухтерханд.

— Слово «клаустрофобия» имеет латинско-греческое происхождение,— сказал отец,— что наверняка должно быть известно господину доктору Лухтерханду. Оно состоит из двух частей, «claustrum» и «phobia», где «claustrum» значит примерно «закрытый» или «запертый» — как это, например, в слове «Klausе»*, или в названии города «Клаузен», в итальянском «Chiusa», или во французском «Vaucluse». Кто из вас может назвать мне еще какое-нибудь слово, где проявляется слово «claustrum»?

— Я,— сказала моя сестра,— я слышала от Риты Штангльмайер, что господин Зоммер все время вздрагивает. Он подергивается всеми частями тела. У него мышечная дрожь, как у неврастеника, говорит Рита. Стоит ему лишь только сесть на стул — он уже подергивается. И только когда он идет, он не дрожит, и именно поэтому ему необходимо все время ходить, чтобы никто не увидел, что он дергается.

— В этом он похож на годовалую лошадь,— сказал мой отец,— или на лошадь-двухлетку, которая точно так же вздрагивает и дрожит и трясется всем телом от нервозности, когда она в первый раз подходит к старту на скачках. И тогда у жокея только и заботы, чтобы заставить ее

* Klausе (нем.) — скит, келья (прим. пер.).

ИСТОРИЯ ГОСПОДИНА ЗОММЕРА

нестись. Позднее это происходит само собой, или же на нее надевают шоры. Кто из вас может мне сказать, что здесь значит «заставить нестись»?

— Ерунда! — сказала моя мать. — У вас в машине господин Зоммер мог бы спокойно вздрагивать. Это совершенно никому бы не помешало, если бы он слегка подергивался!

— Боюсь того, — сказал мой отец, — что господин Зоммер потому не сел к нам в машину, что я употребил один стереотип. Я сказал: «Вы накличете на себя смерть!» Я совершенно не могу понять, как это получилось. Я уверен, что он бы сел, если бы я выбрал менее банальную формулировку, например...

— Чушь, — сказала моя мать, — потому что он не сел из-за того, что он страдает клаустрофобией и потому что он из-за этого не может сидеть не только в какой-то комнате, но и в закрытом автомобиле. Спроси доктора Лухтерханда! Как только он оказывается в закрытом помещении — будь то машина или комната, — у него начинаются припадки.

— А что такое припадки? — спросил я.

— Наверное, — сказал мой брат, который был на пять лет старше меня и уже прочитал все сказки братьев Гримм, — наверное с господином Зоммером происходит то же самое, что и со скороходом в сказке «Шестеро идут по всему миру», который за день мог обежать вокруг всей Земли. Когда он приходил домой, он должен был одну из ног крепко перевязывать кожаным ремнем, потому что иначе он не мог устоять на месте.

— Конечно, существует и такая возможность, — сказал мой отец. — Возможно, у господина Зоммера действительно одной ногой больше, чем надо, и поэтому он все время должен куда-то бегать. Надо попросить доктора Лухтерханда, чтобы он перевязал одну из его ног.

— Чушь, — сказала моя мать, — у него клаустрофобия